

Лос секоде етседе охтсекоде асеа есеа сеоде
длоа охсеа сеа охсеа охсеа охсеа охсеа
Ллоам етсеа сеа етсеа Ллоа сеоа ох
о сеа етсеа охсеа о сеа етсеа сеа
сеа сеоам етсеа Ллоа сеа охсеа охсеа
сеа етсеа сеа сеоа сеа етсеа сеа
оу о етсеа сеа етсеа о сеа етсеа
охсеа етсеа сеа охсеа сеа сеа
Ллоам сеа етсеа етсеа сеа сеа
охсеа сеа етсеа сеа етсеа охсеа сеа
Ллоа сеа сеа
сеа сеа сеа
охсеа сеа охсеа

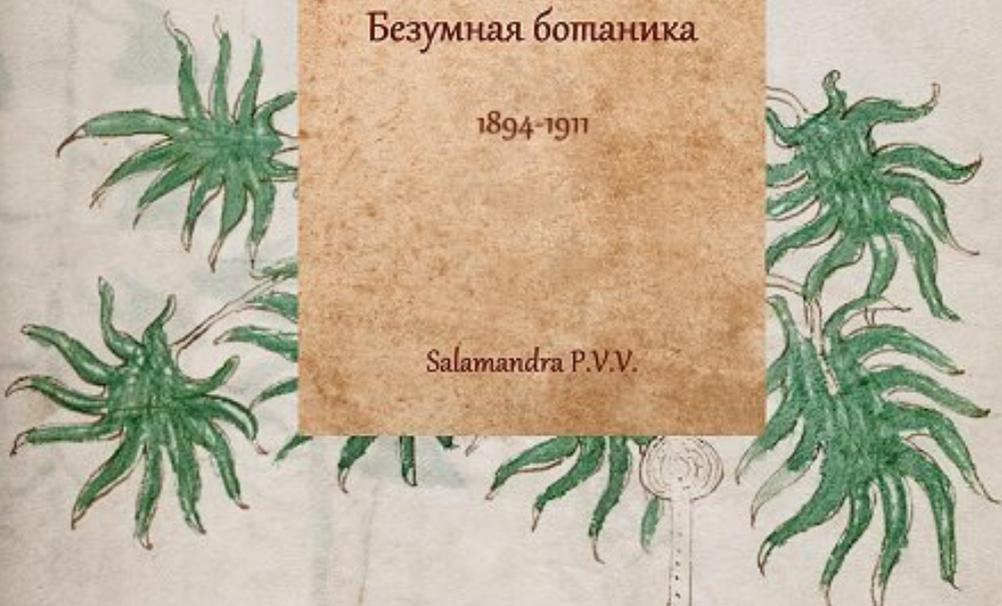


ЦВЕТЫ ЗЛА

Безумная ботаника

1894-1911

Salamandra P.V.V.



POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CDXXII



Salamandra P.V.V.

ЦВЕТЫ ЗЛА

Безумная ботаника

1894-1911

Salamandra P.V.V.

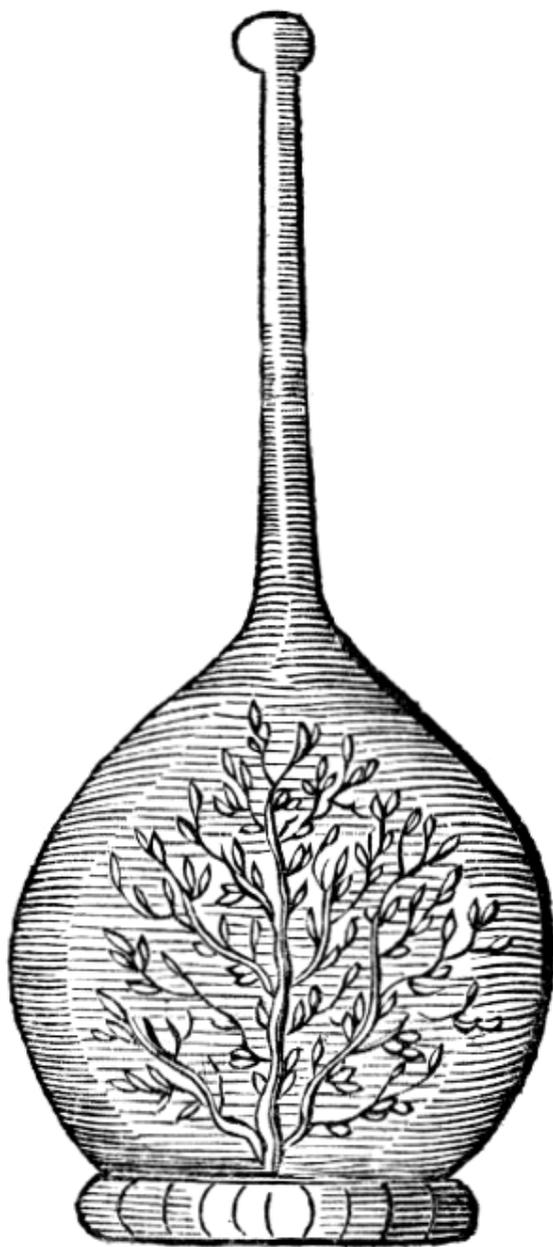
Цветы зла: Безумная ботаника. 1894-1911. Сост. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2023. — 306 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CDXXII).

Настоящая книга представляет собой второй том антологии, посвященной теме растений в фантастической, научно-фантастической и приключенческой литературе. В начале 1900-х гг. к этой теме обращаются мастера «странных» и «ужасных» рассказов (Г. Майринк, Г. Г. Эверс, Э. Блэквуд и др.), авторы описывают появление на Земле разумных космических растений и нашествие страшной травы на Лондон. Не забыты, конечно, и уже знакомые деревья-людоеды и смертоносные орхидеи.

© Translators, переводы, 2023

© A. Sherman, состав, комментарии, 2023

© Salamandra P.V.V., оформление, 2023



ЦВЕТЫ ЗЛА

Рели де Турмон

Магнолия

Они вышли из двери дома скорби — Арабелла, красавица, и Бибиана, старуха, две сестры: Арабелла, полная прелести юности, и Бибиана во всем безобразии старости, Арабелла, дитя, и Бибиана, мать.

Они вышли из дома горестей и остановились под магнолией, волшебным деревом; никто не помнил, кто посадил его, но оно царственно выросло близ печального дома. Магнолия, подобно всем магнолиям, цвела дважды в год: сперва весною, когда появлялись острые зеленые ростки, после же осенью, прежде чем тяжелые листья утрачивали свой цвет; и весною, и осенью благородные соцветия волшебного дерева походили на священные цветы лотоса, и среди снежной россыпи белых лепестков жизнь сверкала в сердцевине цветов красными каплями крови.

Опираясь на материнскую руку доброй Бибианы, терпевшей все ее капризы, Арабелла стояла под магнолией и думала:

«Он умрет вместе с осенним цветом магнолии, тот, кто должен был напитать меня, цветок, каплей живой крови. Ах! я буду вечно бледна, так уж суждено!»

— Остался еще один цветок, — сказала Бибиана.

То был нераспустившийся цветок, бутон, поднимавшийся среди восхищенных его прелестью листьев, как совершенное воплощение невинности.

— Последний! — произнесла Арабелла. — Он украсит мой свадебный наряд. Последний? О, нет. Взгляни, Бибиана, вот еще один, увядший и почти мертвый. Это мы!.. Мы обе! Ах! меня охватывает ужас, я дрожу, видя нас на ветке. Цветы эти так явственно отражают нашу судьбу! Я сорву себя... Вот я и сорвана, гляди, Бибиана! Мне тоже предстоит умереть?

Молчаливая Бибиана с любовью обняла дрожащую сестру и, сама охваченная страхом, увела ее с печального двора, подальше от магнолии, лишенной своего последнего украшения.

Они вошли в дом напрасных радостей и преждевременного горя.

— Как он? — спросила Бибиана, снимая с плеч Арабеллы плащ, в который куталась бледная невеста.

И когда Арабелла уселась, кроткая, как ребенок, смущенно разглядывая зажатый в пальцах цветок, мать умирающей ответила:

— Поспешим, ибо он умирает, поспешим исполнить его последнее желание. Пойдем, Арабелла, дочь моя, невеста предсмертных вздохов, красота, что овеет любовью четки заупокойных молитв. Смерть ждет тебя, Арабелла! увы! увы! о горе! погребальный поцелуй осенит лоб невесты, и похоронная улыбка всеильной тьмы ответит эхом в ночи прелестному рассветному сиянию твоих чарующих глаз, милая Арабелла! Сын мой умрет, он умирает, и мертвого отдам я тебе, увы! увы! о горе! столь полной жизни, тебе — гниение могилы, тебе, рожденной для ложа душистых цветов, увы! увы! о горе!

Пришли люди, дабы засвидетельствовать неоспоримое право смерти обвенчаться с жизнью; все плакали; прибыл священник, не знавший, благословить ли нерушимые узы или помазать елеем лоб, грудь, руки и ноги умирающего.

Они поднимались в тишине, гулкой, как тяжелые шаги по мощеному камнем двору; он лежит там в постели, говорили люди, что в гробу, приодетый к свадьбе, будто для похорон.

Они боязливо поднимались, но мать торопила их, твердя:

— Поспешим, ибо он умирает, и должны мы исполнить его последнее желание.

В комнате они опустили на колени, Арабелла же, стоявшая у брачного ложа в подвенечном наряде, казалась одетой в саван, и когда она, в свою очередь, преклонила колени, опустив лоб на край подушки, сердцамаи всех овладела тревога, словно очаровательной головке предстояло навеки остаться там, во власти смерти; правая рука невесты покорно лежала в худой и костлявой руке умирающего, левая прижимала к губам нераспустившийся цветок магнолии, совершенное воплощение невинности.

Таинство свершалось в благословении слов; все смотрели на сына, которого поддерживала мать. У него было зловещее, измученное лицо, отражавшее отчаянную, сатанинскую агонию, — уязвленное до глубины души жаждой уходящей жизни и ревнивой завистью к покидаемой любви; цветущая

красота Арабеллы возжигала ненависть в беспомощном фосфоре его запавших глаз, и все думали: «Как он страдает!»

Он еще немного приподнялся, и слова полились из лилового рта, обведенного белой загробной каймой, в то время как мужчины улыбались, слушая предсмертный бред, а испуганные женщины рыдали, как плакальщицы:

— Прощай, Арабелла! Ты принадлежишь мне. Я уйду, но ты придешь. Я буду ждать. Я буду ждать тебя каждую ночь под магнолией, ибо не должна ты познать иную любовь, Арабелла, лишь мою, и никого другого! О, я докажу тебе мою любовь! Какое доказательство! Какое доказательство! Ибо ты — душа, что нужна мне!

И с улыбкой, дьявольски исказившей тени на его изможденном лице, он повторил, преодолевая хрипение, те же слова, быть может, лишённые смысла, а может, полные таинственного значения и вдохновленные нечестивым потусторонним знанием:

— Под магнолией, Арабелла, под магнолией!

Каждый день и почти каждую ночь потрясенная скорбью Арабелла с болью в сердце смотрела на магнолию, и по вечерам, когда ветер шуршал мертвыми листьями оголенного дерева, а луна светила волшебными ясными лучами меж тяжелых октябрьских туч, — Арабелла начинала дрожать и прикивала к Бибиане, восклицая:

— Он здесь!

И он был там, под магнолией, тень среди опавших листьев, вздымаемых ветром.

Однажды вечером Арабелла сказала Бибиане:

— Мы любили друг друга. Он не причинит мне вреда! Он здесь. Я пойду.

— Мы должны подчиняться мертвым, — ответила Бибиана. — Ступай и не бойся. Я оставлю дверь открытой и прибегу, если ты позовешь. Иди, он здесь.

И он в самом деле был там, среди опавших листьев, тень, гонимая ветром. И когда Арабелла приблизилась к магнолии, тень простерла к ней руки, гибкие, длинные, змеиные

руки, и две эти адские, извивающиеся, шипящие змеи легли на плечи Арабеллы.

Бибиана услышала громкий крик и кинулась к магнолии. Арабелла лежала под деревом. Бибиана внесла ее в дом; на шее Арабеллы виднелись две отметины, словно отпечатки пальцев костяных рук.

Ее прекрасные безжизненные глаза сияли от ужаса, и в стиснутых пальцах сестры Бибиана разглядела увядший цветок брачного утра, печальный и бесполезный цветок, из жалости оставленный ими на дереве — цветок, что был Другим и истинным посмертным цветком.

Густав Майринк
Растения доктора
Синдереллы

Вон видишь ту маленькую, почерневшую от времени бронзу между канделябрами? Она-то и есть причина тех загадочных наваждений, которые преследуют меня на протяжении последних лет.

С неумолимой последовательностью звеньев одной цепи сплетены эти сосущие из меня жизнь эксцессы, и когда я, звено за звеном, возвращаюсь в прошлое, то неизбежно прихожу к одной и той же исходной точке — к этой бронзе.

И даже если, пытаясь обмануть самого себя, я выдумываю другие причины, все равно — рано или поздно она встает на моем пути подобно роковой вехе.

А куда этот путь ведет: к свету прозрения или дальше, в еще более кромешный мрак кошмара, — я не знаю, да и знать не хочу, судорожно цепляясь за те немногие дни, когда мой злой рок оставляет меня в покое до следующего потрясения...

В Фивах нашел я ее — выкопал в песке пустыни... Так, совершенно случайно, ковырнул тростью... Но с той секунды, когда я впервые увидел эту статуэтку, меня охватило болезненное любопытство: что же она означает? А ведь я никогда не отличался особой любознательностью!

Для начала я опросил специалистов, всех подряд, — безрезультатно.

Лишь один старый арабский антиквар как будто что-то уловил: «Имитация египетского иероглифа, а странное положение рук фигуры, видимо, указывает на какое-то неизвестное экстатическое состояние».

Эту бронзовую статуэтку я взял с собой в Европу, и не было вечера, чтобы, размышляя над ее таинственным значением, я не путался в головоломных лабиринтах своих мыслей.

При этом меня не оставляло жуткое предчувствие: я копаюсь в чем-то ядовитом, враждебном, с каким-то коварным удовлетворением, слой за слоем, снимаю с безжизненной мумии набальзамированные пелены, чтобы потом она, подобно неизлечимой болезни, впилась в меня и превратилась в черного вампира моей жизни. И вот однажды — я занимался чем-то посторонним — разгадка так внезапно и с такой си-

лой пронзила мой мозг, что я вздрогнул.

Озарения — как метеоры, рассекающие темный небосклон нашей души. Мы не знаем их родины, мы только отмечаем их белое раскаленное свечение и фиксируем место падения...

Сначала — почти всегда — ужас... потом — что-то неуловимо вкрадчивое, так... так, словно какой-то пришелец... Что же я хотел сказать? Извини, с тех пор, как моя левая нога парализована, на меня, бывает, находит... Так вот, ответ был до предела прост: *имитация!*

Это слово обрушило дамбу, и через мое сознание прокатилась мощная приборная волна, сметающая на своем пути все сомнения; имитация — вот истинный ключ ко всем загадкам нашего бытия!

Скрытая, бессознательная, постоянная, она — невидимый рулевой всех живых существ!

Всемогущий таинственный инкогнито, лоцман под темной маской, который молча, в зыбких предрассветных сумерках, всходит на палубу человеческой жизни. Тот, который является из тех бездн, куда наша душа заглядывает лишь тогда, когда глубокий сон накрепко смыкает створки дневных врат! И может быть, там, глубоко внизу, на дне потустороннего, воздвигнута бронзовая статуя демона, который возжелал, чтобы мы, люди, стали его образом и подобием...

Этот зов «ниоткуда», прозвучавший для меня словом «имитация», указал путь, на который я и вступил, не мешкая ни секунды. Я выпрямился, поднял руки над головой, как у статуэтке, и стал опускать пальцы до тех пор, пока мои ногти не коснулись макушки.

Но ничего не произошло.

Никаких перемен — ни во мне, ни вне меня...

Чтобы не допустить ошибки в позе, я всмотрелся в фигурку внимательнее и заметил, что ее глаза закрыты, как во сне.

Я прервал свои экзерсисы и стал дожидаться ночи. Убрал подальше тикающие часы и улегся, воспроизведя положение рук статуэтке.

Минуты шли, но сон не приходил — по крайней мере,

мне так казалось.

Внезапно послышался какой-то гул, он доносился изнутри, из глубин моей души, и непрерывно нарастал, как будто огромный валун скатывался вниз.

Мое сознание сорвалось и устремилось вслед за ним по бесконечной лестнице, перепрыгивая сначала через две, потом через четыре, восемь и далее через все большее и большее количество ступенек, — в какой-то момент все мои воспоминания о жизни подверглись полной диссолюции и прирзак летаргии накрыл меня...

О том, что наступило потом, рассказывать не буду, об этом не говорят.

Может быть, кто-то и посмеется: как, из тысяч египтян и халдеев, посвященных в великие мистерии, охраняемые змеем Уроборосом, не нашлось ни одного, кто бы проговорился? Значит, и говорить было не о чем.

Ведь все мы уверены, что нет клятв, которых бы нельзя было нарушить.

Когда-то и я так думал, но в то мгновение пелена упала с глаз моих...

За всю историю человеческого существования до нас не дошло ни единого свидетельства подобного таинства, которое бы *последовательно*, без каких бы то ни было пробелов, лакун и фигур умолчания описывало мистериальную церемонию, и дело здесь не в клятве, «роковой печатью сковывающей уста», — нет, просто неопыт, даже если б захотел, не смог бы ничего сказать, ибо тайна доверена темной, ночной стороне его сознания; достаточно одной только мысли о том, чтобы попытаться облечь сокровенное в слова здесь, по сю сторону, — и гадюки жизни уже поднимают, шипя, свои головы.

Воистину, таинство сие велико настолько, что выразить его может лишь молчание, — имеющий уши да слышит! — вот потому-то и суждено ему остаться тайной до тех пор, пока «мир сей пребудет»...

Но все это имеет косвенное отношение к тому ожогу, боль от которого мне уже никогда не загасить. Ведь и внешняя, обыденная судьба человека меняет свои ориентиры, ес-

ли хоть на мгновение его сознание превысит предел, установленный смертным.

Факт, живым примером которого являюсь я.

С той ночи, когда я впервые вышел из своего тела — по-другому назвать это я не могу, — траектория моей жизни — такой раньше уютной! — изменилась и стала меня кружить от одного загадочного, внушающего ужас наваждения к другому, сужая круги над темной неведомой целью.

Казалось, какая-то дьявольская рука ведет меня от кошмара к кошмару, которые с каждым разом становились все более невыносимыми, а паузы между ними — все более краткими. Действуя расчетливо и чрезвычайно осмотрительно, она словно экспериментировала, синтезируя во мне некий новый, неизвестный вид безумия, который бы никто извне даже не заподозрил, и лишь жертва осознавала бы его в припадках несказанных мук.

На следующий же день после моей первой попытки имитации я стал замечать такие явления, которые принял поначалу за обман чувств.

Странные посторонние шумы — грохочущие или пронзительно свистящие — врывались вдруг в повседневный звуковой фон, фантастические краски, которых я раньше никогда не видел, мерцали у меня перед глазами. Загадочные существа возникали передо мной и совершали в призрачных сумерках какие-то непонятные манипуляции.

Они произвольно меняли свою внешность, падали вдруг замертво, потом длинными слизистыми кишками ускользали в водосток или в дурацком отупении сидели нахохлившись в темных прихожих.

Такое состояние обостренной чувствительности не было постоянным — оно, подобно луне, проходило через различные фазы, погружая меня иногда в настоящий транс. А почти полная потеря интереса к людям, чьи надежды и чаянья доносились до меня как далекое эхо, свидетельствовала, что моя душа совершает какое-то таинственное паломничество в сторону, прямо противоположную человеческой природе.

Вначале я лишь прислушивался к шепоту наполнявших

меня голосов, вскоре же повиновался ему, как зашоренная кляча...

Как-то ночью этот шепот погнал меня на улицу; бесцельно кружа по тихим переулкам Малой Страны, я восхищался фантастическими старинными дворцами этого самого мрачного в мире городского квартала.

В любое время суток — днем и ночью — здесь царит вечный сумрак.

Какое-то смутное свечение, как фосфоресцирующая дымка, оседает с Градчан на крыши домов.

Сворачиваешь в какой-нибудь переулок, сразу погружаясь в омут мрака, и вдруг из оконной щели тебе в зрачок вонзается длинная колдовская игла призрачного света.

Потом из тумана выплывает дом с надломленными плечами и покатым лбом; как давно околешшее животное, бессмысленно таращится он в небо пустыми люками крыши.

А рядом выворачивает шею другой, жадно кося горящими окнами вниз, на дно колодца: быть может, сын золотых дел мастера, который утонул сто лет назад, еще там. А ты идешь дальше, спотыкаясь на горбатом булыжнике мостовой, и если вдруг резко обернешься, то можно побиться об заклад, что встретишься глазами с какой-нибудь бледной расплывшейся мордой, глядящей тебе вслед из-за угла — и не на высоте человеческого роста, нет, много ниже, на уровне головы крупной собаки...

На улицах никого.

Мертвая тишина.

Древние ворота молчат, закусив потрескавшиеся губы.

Я свернул в Туншенский переулок, к дворцу графини Моржины.

Там, во мгле, притаился узкогрудый, в два окна дом — зловещее, чахоточное строение; меня что-то остановило, и я почувствовал, что погружаюсь в транс.

В таких случаях, марионетка чужой воли, я действую молниеносно и даже не подозреваю, что случится в следующую секунду.

Я толкнул слегка притворенную дверь, уверенно, как будто этот дом принадлежал мне, прошел по коридору и спу-

стился по лестнице в подвал.

Внизу невидимые нити, которые направляли меня, ослабли, и я остался во мраке с мучительным сознанием своей подневольной зависимости.

Зачем я спустился в это подземелье, почему мне никогда не приходило в голову положить конец болезненному наваждению? Я болен, просто болен, а следовательно, и речи не может быть ни о каком таинственном потустороннем влиянии.

Но тут я вспомнил, как открыл дверь, вошел в дом, спустился по лестнице — ни разу не споткнувшись, как тот, кто отлично знает каждый свой шаг! — и все мои надежды враз улетучились.

Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и я осмотрелся.

Там, на ступеньках лестницы, кто-то сидел. Как же я его не задел, когда проходил мимо?! Смутно вырисовывалось скрюченное тело.

Черная борода спадала на обнаженную грудь. Голые руки.

Лишь ноги, казалось, были закутаны в какие-то лохмотья.

В положении рук было что-то странное — выкрученные в локтях в обратную сторону, они торчали почти под прямым углом к предплечьям.

Я долго рассматривал сидящего на ступеньках человека. Трупная окоченелая неподвижность была настолько противоестественна, что его фигура казалась просто контуром, который навечно въелся в темную стену.

Меня знобило от ужаса, и я двинулся дальше, следуя изгибам подземного хода.

В одном месте, нащупывая стену, я схватился за ветхую деревянную решетку, какие обычно употребляют при разведении вьющихся растений. Как оказалось, они здесь росли в изобилии — я почти повис в сетях лианоподобных зарослей.

Меня только смущало, почему эти растения — или то, что там было, — такие тугие и теплые и почему при их ося-

зании появлялось ощущение живой человеческой плоти?

Я стал ощущать один из стеблей, и вдруг мои пальцы сжали что-то выпуклое, величиной с желудь, холодное и склизкое. Я испуганно отдернул руку.... Ядовитый жук?

В этот момент впереди мигнул какой-то слабый отблеск и на секунду осветил стену.

Страх, ночные кошмары — все, что у меня раньше связывалось с подобными понятиями, — было ничто по сравнению с этим мгновением. Каждая фибра моего существа вопила в неопишемом ужасе.

Неслышимый вопль парализованных голосовых связок, который ледяным клинком пронзает человека сверху донизу.

Вся стена до самого потолка была опутана густой сетью кроваво-алых вен, как ягодами усыпанной сотнями вытаращенных глаз.

Один, который только что выскользнул из моих пальцев, еще покачивался на кровавом стебле и злобно косился в мою сторону.

Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота, и, теряя равновесие, сделал еще два-три шага дальше во мрак; в ноздри ударил тяжелый тучный дух перегноя, запах грибов и айлантов.

Колени подгибались, и я бешено замахал руками, пытаясь удержаться на ногах. И тут я увидел перед собой маленький тлеющий нимб — гаснущий фитиль масляной лампы; в следующее мгновение он полыхнул снова.

Я бросился к лампе и дрожащими пальцами вывинтил фитиль — крошечный коптящий огонек был спасен.

Я резко обернулся, словно для защиты выставив лампу...

Помещение было пусто.

На столе, где стояла лампа, лежало что-то продолговатое, тускло отсвечивающее.

Моя рука потянулась к нему, как к оружию. Но в моей ладони оказался легкий чешуйчатый предмет.

Ничто не шелохнулось, и стон облегчения вырвался из моей груди.

Осторожно, стараясь не загасить пламя, я стал освещать стены...

Повсюду тянулись деревянные шпалеры, увитые сложными сплетениями вен — очевидно, искусственно сращенных; густая темная кровь пульсировала в них.

Жутко мерцали грозди бесчисленных глазных яблок, растущие вперемешку с какими-то отвратительными, похожими на малину наростами; когда я проходил мимо, они провожали меня настороженным взглядом. Глаза, большие и маленькие, всех цветов и оттенков. С чистой, ясной радужной оболочкой, и рядом — водянисто-голубой лошадиный глаз, с мертвым, направленным вертикально вверх взглядом.

Некоторые, сморщенные и почерневшие, напоминали засохшие дикие вишни.

Стволы артерий, которые пышно ветвились каскадами сосудов, оплетенных тончайшими паутинками синеватых капилляров, росли из наполненных кровью колб, каким-то непонятным образом всасывая в себя алую влагу.

Я наткнулся на чаши; беловатые кусочки жира лежали в них, облепленные целыми колониями красных, обтянутых прозрачной кожей мухоморов. Грибы из кровоточащего мяса, которые нервно вздрагивали при малейшем прикосновении.

Все это были кровеносные системы, взятые из живых организмов и привитые друг к другу с непостижимым искусством; всякое человеческое, одушевленное начало в них было уничтожено, низведено на чисто вегетативный уровень существования.

Но жизнь присутствовала в них, я это понял, когда поднес к глазам огонек лампы и увидел, как зрачки сразу сузились. Кем был тот inferнальный садовник, который заложил эту кошмарную оранжерею?!

Я вспомнил человека на лестнице...

Инстинктивно сунул руку в карман в поисках какого-нибудь оружия и наткнулся на продолговатый предмет, который нашел на столе. Он топорщился, как рыба чешуя... Это была шишка из розовых человеческих ногтей!

Содрогнувшись от ужаса, я бросил ее на землю и стиснул зубы: прочь отсюда, прочь, даже если человек на лестнице очнется и накинется на меня!

И вот я уже рядом с ним и готов к схватке, но тут замечаю, что он мертв — желт, как воск.

Из пальцев выкрученных рук вырваны ногти. Небольшие надрезы на груди и висках свидетельствовали, что неизвестный подвергался вскрытию.

Проходя мимо, я задел его. Или мне померещилось? Но он, соскользнув на две ступеньки, внезапно выпрямился, поднял руки, а ладони опустил к макушке.

Та же поза — та же поза! Имитация египетского иероглифа!

Потом — провал, помню только, как погасла лампа, как резким ударом я распахнул входную дверь и как демон каталепсии сжал в своих ледяных пальцах мое трепещущее сердце...

Позже, немного придя в себя, я начал что-то понимать — локти человека были привязаны к потолку веревками, которых, когда он сидел, не было видно, но стоило ему соскользнуть вниз, и его тело, повиснув, выпрямилось... а потом — потом меня кто-то тряс: «Пройдемте к господину комиссару...»

Я вошел в плохо освещенную комнату, у стены — курительные трубки, на вешалке — служебный китель. Полицейское управление.

Какой-то шуцман поддерживает меня.

За столом сидит комиссар; глядя куда-то мимо, он бормочет:

— Вы записали его анкетные данные?

— При нем была визитная карточка, — ответил шуцман.

— Что вы делали в Туншенском переулке — у входной двери, открытой настежь?

Продолжительная пауза.

— Эй! — толкнул меня шуцман.

Я залепетал что-то об убийстве в подвале Туншенского переулка...

Шуцман вышел.

Комиссар, по-прежнему не глядя на меня, произнес какую-то длинную реплику.

Я расслышал только:

— Ну что вы такое говорите? Доктор Синдерелла — известный египтолог, ученый; создал новые сорта плетоядных растений — непентий, дрозерий или как их там — не знаю... Сидели бы вы лучше, господин хороший, дома, а не шлялись ночью по чужим подвалам...

За мной открылась дверь, я обернулся... На пороге стоял высокий человек с клювом цапли — египетский Анубис!..

У меня потемнело в глазах. Анубис поклонился комиссару и, подходя к нему, почтительно кивнул мне:

— Честь имею кланяться, доктор Синдерелла...

И тут я вспомнил что-то очень важное из моего прошлого и — и тут же снова забыл...

Когда я посмотрел на Анубиса снова, он уже превратился в писаря — правда, в лице у него осталось что-то птичье... Он вернул мне мою визитную карточку, на которой черным по белому значилось: доктор Синдерелла.

Комиссар вдруг посмотрел прямо на меня и сказал:

— Стало быть, это вы и есть! Доктор Синдерелла собственной персоной... И все же рекомендую по ночам оставаться дома.

Писец помог мне выйти из комнаты, но, проходя мимо вешалки, я задел служебный мундир.

Он медленно соскользнул и повис на рукавах.

Его тень на выбеленной стене подняла руки над головой, беспомощно пытаясь повторить позу египетской статуэтки...

Ну вот и все. Это последнее наваждение случилось со мной три недели назад. С тех пор меня разбил частичный паралич: я приволакиваю левую ногу и мое лицо теперь состоит как бы из двух независимых половин...

А того узкогрудого чахоточного дома я так и не нашел, и в комиссариате никто ничего не знает о той ночи.

Товард Тарис

*Растение-модоед
профессора Джонкина*

РАСТЕНИЕ-ЛЮДОЕД

ПРОФЕССОРА

ДЖОНКИНА

После того, как профессор Джонкин умудрился вывести дерево, которое приносило по очереди яблоки, апельсины, персики, фиги и кокосовые орехи, все решили, что теперь-то он отдохнет. Но нет.

Профессор Джонкин и не собирался отдыхать.

Профессору хотелось вывести что-нибудь совершенно новое. И, зная об этом, Бредли Эдемс не очень удивился, узнав, что его друг трудится в оранжерее.

— Ну, что теперь? — спросил Эдемс. — Фиалки с шипами или тыквы, которые будут расти гроздьями?

— Ни то, ни другое, — холодно ответил профессор, морщась от игривого тона Эдемса. — То, о чем вы говорите, вывести проще простого. Взгляните-ка лучше сюда.

Он указал на небольшое растение с блестящими ярко-зелеными листьями, усеянными красными крапинками. На нем было три цветка, каждый размером с флокс, но один из лепестков цветка был длиннее других и нависал над чашечкой, будто приоткрытая крышка. В центре цветка темнел уходивший вглубь канальчик, стенки которого были покрыты тонкими волосками. На дне канальчика поблескивала капля жидкости.

— Странный цветок, — сказал Эдемс. — Что это такое?

— Саррацения непентес, — не без гордости ответил профессор.

— Это что, французское название подсолнечника или латинское обозначение душистого горошка? — спросил не-

винно Эдемс.

— Это латинское название растения-хищника, одного из любопытнейших представителей южноамериканской флоры, — сказал профессор, выпрямившись во весь свой огромный рост. — Оно относится к тому же семейству, что и дионейя мускипула, росянка болотная, дарлингтония, пингуикула, альдрованда, в то время как...

— Простите, профессор, — перебил его Эдемс. — Я верю, что их много. Лучше расскажите мне еще что-нибудь об этом цветочке. Это, должно быть, чертовски интересно.

— Еще бы, — ответил профессор, — оно же пожирает насекомых.

— Как?

— Сейчас покажу.

Профессор открыл маленькую коробочку, стоявшую на полке, и выпустил оттуда несколько мух. Мухи усиленно жаждали, радуясь обретенной свободе. Потом некоторые из них, привлеченные запахом, подлетели к цветку, опустились ниже, сели поближе к темному канальчику... И тут волоски вздрогнули, схватили мух и потянули внутрь. Верхний лепесток, между тем, прикрыл сверху выход из канальчика.

— Это же самая настоящая мухоловка! — воскликнул пораженный Эдемс.

— Совершенно верно. Растение питается насекомыми, переваривает их, а стоит ему проголодаться — ловит новых.

— Где вы раздобыли такого злодея?

— Мне его прислал коллега из Бразилии.

— Надеюсь, вы его здесь не оставите.

— Наоборот, именно это я и намереваюсь сделать.

— Догадываюсь. Вы собираетесь обучить его обращению с вилкой и ложкой, как полагается настоящему джентльмену.

— Манерам его научить нетрудно. Я поставил себе куда более трудную задачу, — обрезал владелец хищного цветка.

Почувствовав, что его шутки не встречают должного понимания, Эдемс замолчал и вынужден был выслушать длинную лекцию по ботанике, в которой особое внимание

уделялось насекомоядным растениям.

Сказать по правде, он предпочел бы полакомиться каким-нибудь новым гибридом профессора, но когда понял, что надеяться на это не приходится, воспользовался первой же паузой и заявил, что у него срочное свидание.

Прошло несколько месяцев, прежде чем Эдемс снова увидел профессора. Ботаник был по горло занят в оранжерее и сутками не выходил из-за перегородки, за которой хранил милую своему сердцу саррацению. Он даже оставил на время опыты по выращиванию клубники размером с арбуз и давнишнюю свою мечту вывести яблоки без кожуры.

Но однажды профессор позвонил Эдемсу и пригласил его в оранжерею.

Профессор сам открыл дверь, и Эдемс замер в удивлении. Единственным растением в этой части оранжереи был экземпляр саррацении непентес. Но растение достигло таких невероятных размеров, что попервоначально Эдемсу показалось, что он сходит с ума.

— Ну, что вы скажете, голубчик, о новом достижении науки? — спросил не без гордости профессор.

— Уж не хотите ли вы сказать, что это тот самый невзрачный бразильский мухолов?

— Он самый.

— Но... но...

— Но он подрост. Вы это хотели сказать?

— Как вам удалось этого добиться?

— Специальной диетой. Мой мухолов съедает три окорока в день, окорок на завтрак, окорок на обед и окорок на ужин. Правда, за ужином иногда не доедает.

Эдемс не мог оторвать глаз от растения. Он помнил его размером чуть больше ландыша, теперь же цветок доставал до потолка оранжереи, а высота ее была метров десять. Сам «колокольчик» цветка был длиной в три метра.

Цветок был тяжел, и стебель не мог удержать его. Поэтому профессор соорудил вокруг растения леса, на вершину которых вела приставная лестница с платформой на уровне лепестков.



— Пора кормить мою крошку, — сказал профессор так, будто речь шла о любимом котенке. — Хотите подняться со мной и посмотреть, как оно будет кушать?

— Нет, спасибо, — вежливо ответил Эдемс. — Предпочитаю не иметь дела со сверхъестественными чудовищами.

Профессор снисходительно улыбнулся, поднял окорок и втащил его по лестнице на платформу.

Эдемс с любопытством наблюдал за его действиями. Вот Джонкин нагнулся и опустил окорок в разинутую пасть саррацени. И вдруг... профессор нелепо взмахнул руками и, как бы притянутый неведомой силой, упал прямо в центр цветка.

Растение содрогнулось под тяжестью жертвы, но леса выдержали. Некоторое время ноги профессора болтались среди лепестков, потом исчезли.

Эдемс даже не понял сначала, смеяться ему или ужасаться.

Он вскарабкался на лестницу и замер в изумлении перед результатами эксперимента Джонкина, перед цветком, выросшим в сотни раз.

Эдемс почувствовал странный одуряющий запах, его потянуло ко сну, но он поборол это желание. Нагнувшись, он увидел, как щупальца в трубе — бывшие волосики в канальчике — яростно зашевелились. Эдемс мог разглядеть в глубине подошвы ботинок профессора. Ботинки вздрагивали, но с каждой секундой все слабее. Щупальца обвивались вокруг ног, сжимая их в железных объятиях.

Вдруг верхний лепесток опустился, закрыв внутренность цветка. Профессор полностью исчез внутри гигантского мухолова. Растение-хищник стало людоедом и поглотило человека, который его вырастил.

На какое-то мгновение ужас охватил Эдемса. Он не знал, что же делать. Но потом опасение за своего друга вернуло Эдемса к жизни.

— Профессор! — закричал он. — Профессор, вы еще живы? Вы меня слышите?

Молчание.

— Профессор!

— Я вас отлично слышу, — донесся до Эдемса заглушенный голос. — Этот озорник меня поймал.

За этими словами последовала серия конвульсивных движений внутри цветка, заставивших всколыхнуться стебель.

— Я вас спасу! — крикнул Эдемс. — Где топор? Я его изрублю в мелкие кусочки!

— И не думайте, — послышался ответ.

— Чего не думать? — не понял Эдемс.

— Не вздумайте повредить мое сокровище. Этой потери наука не переживет.

— Сокровище? Ничего себе сокровище! Оно вас медленно переваривает, а я должен ждать? Нет, я вас все-таки спасу! Где топор?

— Остановитесь! Еще не все потеряно. Попробуйте воспользоваться хлороформом.

— Что?

— Хло-ро-фор-мом. На второй полке слева.

Эдемс понял мысль профессора. Одурманить растение, заставить его расслабить чудовищные объятия.

Он скатился с лестницы, бросился к рабочему шкафчику профессора и отыскал большую бутылку с хлороформом. Оглядевшись, он нашел полотенце, схватил его и взбежал по лестнице.

Трудно было поверить, что внутри цветка находится профессор. Только по дрожи лепестков можно было догадаться, что его друг еще жив.

По правде говоря, Эдемс предпочел бы расправиться с людоедом с помощью самого обыкновенного топора, прорубив отверстие в стебле. Но, уважая старшего друга, он не посмел ослушаться его.

Смочив полотенце хлороформом и зажав левой рукой нос, чтобы самому не потерять сознания, он прижал мокрое полотенце к тому месту, где верхний лепесток сомкнулся с остальными.

Через минуту он заметил, что лепесток чуть отстал, и тогда Эдемс плеснул из бутылки в образовавшуюся щель.

Несколько минут Эдемс ждал. Подействует ли хлороформ на мухолова? Успеет ли он освободить профессора, прежде чем того переварят?

Опять его охватил ужас. Он готов был броситься вниз и отыскать все-таки топор.

Но вот лепестки начали расходиться. Верхний отвалился и снова открыл вход в канал. Щупальца бессильно повисли и отпустили ноги профессора.

Эдемс наклонился, дотянулся до одного из профессорских ботинок и, поднатужившись, вытянул профессора из цветка. Профессор был одурманен парами хлороформа, но в остальном он не очень пострадал, во всяком случае, меньше, чем его костюм.

— Да, в общем вам повезло, — сказал Эдемс.

— Согласен. Не окажись вы поблизости, он мог бы меня съесть.

— Правда, в крайнем случае вы могли бы прорезать

стенку канала ножом. — Только сейчас Эдемс заметил, что профессор так и не выпустил из рук ножа, которым обычно отстругивал куски окорока.

— Что? Вы хотите сказать, что я мог бы собственными руками уничтожить плоды моего эксперимента? Испортить самый большой мухолов в мире? Нет, лучше бы он меня съел.

— В будущем называйте его каннибалом, а не мухоловом,— мрачно сказал Эдемс.

— Ну уж нет, — возразил профессор, отойдя на некоторое расстояние, чтобы убедиться, что мухолов не пострадал. — Но я его накажу. Он у меня ничегошеньки не получит на ужин... И пожалуй, на завтрак тоже. Будет знать, как себя положено вести.

— Все понятно, — сказал Эдемс. — Разрешите на прощание дать вам один совет. Следующий раз возьмите вилы и кормите его с вил. Это, по крайней мере, безопаснее.

— Неплохая идея. Я так и сделаю, — в голосе профессора прозвучала искренняя благодарность.

Так он с тех пор и делает.

Оуэн Оливер

Серая трава

(Извлечение из лондонской «Таймс», 8 февраля 1909 г.)

В связи с безвременной смертью профессора Ньютона, чьей мудрости и мужеству мир обязан своим спасением, меня попросили написать для первой газеты новой эры нечто вроде отчета о появлении ужасного сорного растения, которое заполонило землю и угрожало уничтожить человечество.

Профессор намеревался выяснить происхождение сорной травы, ее отношение к обычным растениям, характер ее видимого роста и окончательную форму, которую приняла бы поросль. К сожалению, его заметки по этим вопросам сильно сокращены, полны технических деталей и остаются мне непонятны; кроме того, лично я не обладаю достаточными знаниями для рассмотрения научных аспектов дела. Поэтому мне придется ограничиться простым описанием событий, свидетелем которых я был.

В девять часов вечера 10 ноября 1908 года я вышел из своей конторы на Норфолк-стрит, воспользовавшись запасным ключом, полученным от швейцара. Сначала я подумал, что идет снег; но когда я протянул руку и поймал несколько «снежинок», то увидел, что это были хрупкие белые семена, чем-то похожие на семена дыни, только менее плотные. Там, где они лежали на дороге кучами, показавшимися мне сугробами, их цвет казался серым. В конце улицы, на набережной, «сугробы» были выше; подойдя ближе, я обнаружил, что это были не семена, а поросль серой сорной травы. Трава обвилась вокруг моих ботинок, когда я попытался переступить через нее.

Я наклонился и взял отросток, чтобы рассмотреть его; но когда я попытался сорвать его, он растянулся, как эластичная резина, не отломившись. Усики были круглыми и в нерастянутом состоянии имели около четверти дюйма в диаметре. На них виднелись шедшие через равные промежутки сферические выпуклости, напоминавшие на расстоянии маленькие ягоды. Они, по-видимому, состояли из того же ве-

щества, что и усики. Отросток начал обвиваться вокруг моих пальцев, и мне лишь с некоторым трудом удалось их разжать. Улица и набережная были пустынно, но три или четыре лошади на стоянке извозчиков испуганно шархнулись в сторону, когда трава обвилась вокруг их ног. За те несколько минут, что я наблюдал за ней, она заметно выросла. Чувствуя некоторую тревогу, я направился обратно по Норфолк-стрит.

Сорняк распространился и там; я заметил, что в тех местах, где падало белое семечко, с поразительной быстротой всходило свежее растение. На Стрэнде трава была почти в ярд высотой. Водители конок нахлестывали своих испуганных лошадей в тщетных попытках проехать по ней. Пешеходы не могли пошевелиться, за исключением какого-то крупного сложения мужчины, который маленьким топориком прорубил проход в зарослях для себя, своей жены и дочери — хорошенькой девушки лет девятнадцати.

Они спустились к набережной, но я предупредил их, что там все густо заросло травой. Молодая леди предложила спрятаться в одном из домов, и я пригласил их в свою контору. Отростки хватали людей, тянули их вниз и накрепко обвивали, как мух в паутине. Мы слышали крики и вопли по всему Стрэнду. Лошадь упала и билась, перевернув карету. Пока мы разговаривали, трава распространилась по Норфолк-стрит и стала цепляться за наши ноги, когда мы бросились бежать. Дама споткнулась и упала. Щупальца растения немедленно схватили ее, и только с большими усилиями нам удалось ее освободить. Войдя в дом, мы не смогли запереть дверь, пока не обрубили тянувшиеся к нам усики.

Я включил электрический свет в коридорах и повел новых друзей в свой кабинет на пятом этаже. Старшая из дам была очень слаба, и я дал ей немного бренди, содовой и бисквитов. К счастью, этого у меня было в избытке.

Джентльмена звали Джордж Бейкер, его жену — Мэрилин Бейкер, а девушку — Вива. Семья покупала антикварные диковинки на Стрэнде; им повезло, так как среди покупок оказался и топорик мавританской работы с грубой гравировкой. Некоторые встреченные ими на улицах люди

рассказали, что сорняк растет по всему Лондону и что гвардейцы получили приказание его выпалывать. Один ученый пожилой джентльмен предположил, что семена были атомами какой-то распавшейся планеты или элементами некоего будущего мира, и что они содержали первичные зародыши жизни, заставлявшие их расти, когда они вступали в контакт с подходящей материей.

— Это прямо дьявольщина! — яростно воскликнул мистер Бейкер. — Приходским советам следовало бы разослать цистерны с раствором средства от сорняков или... или еще что-нибудь. Я не знаю, что следует делать, но они должны хоть что-то сделать.

Он взволнованно вытер лицо носовым платком.

— Дьявольщина! — повторил он. — Трава прорастает сквозь каменные плиты, деревянную брусчатку, буквально через все. Она... она хватает людей!

— Да, хватает людей! — повторила его жена, заламывая руки. — Мы это видели.

— Растение прилипает к вам, — дрожащим голосом добавила девушка. — *Цепляется* за вас. О, если трава продолжит расти!..

Ее мать пронзительно вскрикнула, а отец застонал.

— Если так будет продолжаться и дальше!.. — сказали они вместе.

— Этого не произойдет, — заверил я их, принимая спокойный и уверенный вид. — Такого никогда не бывает, если растение развивается стремительно, как... как грибы. Вскоре оно высохнет на глазах и отпустит людей. Я не думаю, что они на самом деле ранены, только испуганы. Примерно через час вы будете возвращаться домой и смеяться над случившимся; а я буду благодарить нашу... грибницу за приятное знакомство. Я считаю все это маленькой вечеринкой-сюрпризом.

Девушка вытерла глаза и выдавила из себя улыбку.

— Пусть будет маленькая вечеринка-сюрприз, — согласилась она. — Чем вы собираетесь нас развлекать, мистер Адамсон? Я видела ваше имя на дверной табличке.

— Генри Адамсон, — сказал я. — Я к вашим услугам, мисс

Вива. У меня есть карты, но...

Я с сомнением замолчал. Ее мать подняла дрожащую руку, а отец покачал головой.

— Никаких дурацких игр, — сказал он. — Будем беседовать.

Мы с Вивой нашли в себе силы лишь на отрывистые фразы, а ее мать и отец отделялись односложными словами. Все продолжали поглядывать на окно, но в течение почти часа ни у кого не хватало смелости поднять жалюзи. Потом мы открыли окно и выглянули наружу. Трава достигала шести футов в высоту под окнами и была еще выше на Стрэнде. Отростки заплели конку, стоявшую внизу. Если внутри и были люди, они также оказались в плену.

— Кажется, это не больно, — сказал я. — Теперь уже не слышно криков.

Я вздрогнул, как только произнес это.

— Криков не слышно, — повторила Вива. — Я думаю, они... они все...

Ее голос сорвался. Отец резко захлопнул окно и оттащил ее в сторону.

— К утру все закончится, — заявил он, — как... как сказал наш друг. Боюсь, нам придется воспользоваться вашим гостеприимством на ночь, мистер Адамсон.

— О, вы вовсе не навязываетесь, — заверил я его. — Не могу выразить, как я рад вашей компании.

Мы соорудили кушетку для дам, положив несколько каминных ковриков на стол в комнате клерков и постелив на них два моих ковра. Мы с мистером Бейкером задремали в креслах у камина в моем кабинете. Ближе к утру я заснул более крепким сном. Когда я проснулся, он уже поднял жалюзи.

— По меньшей мере пятнадцать футов в высоту, — сказал он мне. — На полпути к окнам второго этажа. Да поможет нам Бог!

Я присоединился к нему и увидел, что проезжая часть заросла морем серых сорняков. Они были похожи на каучуковый тростник. Самые большие отростки были толщиной с мой мизинец, а выпуклости — размером с терносливки. Мы

открыли окно и прислушались. Вскоре зритель распахнул окно в доме напротив и позвал свою жену.

— Какое веселье, Мэри, — крикнул он со смехом. — Камыши растут прямо на улице! Сегодня нас не будут донимать клерки.

Женщина присоединилась к нему, и они вместе рассмеялись, радуясь выходному дню. Они отнеслись к происшедшему как к шутке и, очевидно, не поверили нам, когда мы рассказали им об ужасных событиях предыдущей ночи. Мы закрыли окно и позвали дам. Я заварил чай на своей горелке, и мы позавтракали бисквитами. Дамы избегали подходить к окну, и я тоже, но мистер Бейкер выглядывал каждые несколько минут. Всякий раз он шептал мне, что трава продолжает расти. Миссис Бейкер, казалось, была в ступоре, но Вива изо всех сил старалась подбодрить нас. Она напевала себе под нос обрывки песенок, пока мыла чайные чашки, и даже сказала, что все это очень забавно. Ее губы задрожали, когда я укоризненно посмотрел на нее.

— Мама так нервничает, — прошептала она. — Мне приходится притворяться, чтобы приободрить ее. Как вы думаете, оно будет... и дальше расти?

— Одному Богу известно! — сказал я. — Но вы очень храбрая.

После этого мы с ней сидели у окна, наблюдая, как усики разрастаются, беспрестанно цепляясь за воздух. Сперва я подумал, что они колышутся на ветру, но никакого ветра не было. Кроме того, в их движениях чувствовалась неопишуемая целеустремленность. Несколько длинных ветвей поползли к окну напротив. Они перестали раскачиваться и настойчиво давили на стекло, пока, наконец, не высадили его с глухим треском. Миссис Бейкер упала в обморок, и муж перенес ее на диван. Вива вцепилась в мою руку. Злобные отростки кусок за куском выламывали оконную раму и медленно расползались по комнате, обвиваясь вокруг столов и стульев.

— Если бы там кто-нибудь был! — хрипло воскликнула Вива. — Если... если...

Она посмотрела на меня округлившимися от испуга глазами.

— Наверное, они... э-э... власти... что-то делают, чтобы остановить это, — сказал я. — Как бы выяснить? Я попробую телефон.

После нескольких телефонных звонков мне ответил девичий голос. По словам девушки, она и пятеро других людей провели всю ночь на бирже. Они поддерживали связь с полицией и правительственными учреждениями. С прошлого вечера на улицы вывели солдат; те пробились от казарм Челси до Виктория-стрит, а по ней почти до Вестминстерского моста. Солдаты намеревались добраться до Уайтхолла и Стрэнда, но трава росла почти так же быстро, как ее вырубали, и одолела многих из них. Более сотни человек были раздавлены насмерть; послали за взрывчаткой, чтобы попытаться расчищать путь взрывами в качестве последнего средства. По телеграфу сообщили, что растение было замечено по всей Англии и на континенте. Оно также поднималось со дна моря. Пролив местами зарос, и отростки травы опутали несколько судов в виду побережья.

— Оно разумное! — взывала девушка. — Разумное! Его глаза наблюдают за нами через окна! (Выпуклости были похожи на глаза.)

Я еще несколько раз пробовал звонить по телефону, но никто не отвечал. К часу дня трава уже затянула окна третьего этажа. Самые толстые отростки были диаметром с флорин, а выпуклости по размеру и форме напоминали чрезвычайно крупные сливы. Стебли и выпуклости, казалось, состояли из единого однородного материала. Не было видно ни листьев, ни плодов, ни цветов, но от основных стеблей начинали прорастать ветви. На первый взгляд, стебли не сообщались друг с другом; но, согласно заметкам профессора Ньютона, коммуникация несомненно имела место в корнях, которые сплетались так, что образовывали гигантскую нервную систему или мозг.

Мы перекусили чаем с бисквитами. Миссис Бейкер словно оцепенела от ужаса, а ее муж, очевидно, был охвачен тревогой за нее и почти не разговаривал. Мы с Вивой попытались заговорить с ними, но наши голоса оборвались на полуслове. Мы тщетно прислушивались, ожидая взрывов, и при-

шли к выводу, что попытка военных провалилась. К четырем часам дня сорняк добрался до подоконника. Миссис Бейкер лежала в обмороке. Ее муж сидел рядом с ней, подперев голову рукой. Он не поднял глаз, когда я предложил вынести ее на крышу.

— Холод разбудит ее, — сказал он. — Лучше оставить все, как есть. По-моему, вы хороший парень. Сделайте все, что в ваших силах, для моей маленькой девочки.

Я надел пальто, набил карманы бисквитами, захватил фляжку и убедил Виву подняться со мной на крышу, чтобы поискать для нас и ее родителей способ спастись. Больше мы их не видели.

Несколько человек из соседних домов уже искали спасения на крышах — два старика-сторожа, мужчина и мальчик. На других улицах мы видели на крышах еще около двадцати человек. Некоторые из них бредили и распевали песни. Смотритель и его жена, которые разговаривали с нами утром, распахнули окно. Они смеялись так, словно были пьяны. Они принесли две кастрюли кипятка и вылили его на сорняки. Раздался тихий шипящий звук. Затем два... четыре... шесть дрожащих отростков медленно потянулись к ним. Мужчина и женщина казались зачарованными. Они не пытались пошевелиться, только кричали. Усики схватили их, обвилились вокруг них. Вива положила голову мне на плечо, и я закрыл глаза. Прошло, по-моему, с полминуты, прежде чем крики оборвались. Затем раздалась грохочущие звуки — трава выбивала окна. Похоже, у нее были свои пристрастия.

— Отведи меня обратно к маме и папе, — взмолилась Вива. — Мы сможем умереть все вместе — если ты не против умереть с нами.

— Да. Я бы предпочел умереть вместе с тобой, Вива, — сказал я. — Ты бы мне очень понравилась, останься мы в живых.

Мы вернулись к люку, но лестница была забита сорняками. Она показалась нам ямой, заполненной извивающимися серыми змеями. Мы позвали чету Бейкеров, но ответа не было. Вива хотела броситься в траву, но я удержал ее и отнес обратно на крышу. Сорняки начали расплзаться по

водосточным трубам. Длинные отростки, напоминавшие веревки, окружали людей, находившихся на крышах. Те прижались друг к другу и не пытались бежать. Усики охватывали и обвивали их. Мне кажется, что почти все они потеряли сознание. Раздался только один крик.

Отростки хлестали друг друга и дрались за свою добычу. В борьбе они издавали отталкивающий, скрежещущий звук, похожий на тот, что раздается при поглаживании шелка, но более громкий. Слышался хруст костей.

Я не замечал, как сорняки сомкнулись вокруг нас, пока Вива не схватила меня за руку.

— Обними меня, — взмолилась она. — Держи меня крепче! Я думала, жизнь только начинается...

Я поддержал ее одной рукой и попятился к дальнему концу крыши, выходящему на Стрэнд, где сорняки пробивались не так густо. Мы наткнулись на чердачное окно. Чердак внизу был пуст. Я открыл раму, опустил Виву и спрыгнул следом за ней. Мы забились в угол и стали смотреть в окно. Прошла одна-две минуты. Затем серый отросток с глазами-выпуклостями надавил на окно. Осколки стекла посыпались на пол. Я поднял Виву на руки — она была слишком слаба, чтобы идти, — и вынес ее на лестничную площадку.

Освещение было плохим, но я не увидел сорняков, пока мы не спустились к следующей площадке. Трава потянулась к нам из разбитой оконной рамы. Дюжина серых веревок поползла к нам с лестницы, когда мы приблизились к ним. Дверца лифта была открыта. Я втокнул Виву внутрь, прыгнул за ней, сдвинул железную решетку и привел лифт в движение. Когда мы тронулись с места, один из отростков вцепился в лифт. Я услышал, как он шелкнул, разрываясь.

От волнения я слишком быстро опустил лифт. Нас отбросило к стенке и едва не оглушило, когда он остановился. Здесь едва пробивался свет, и мы не знали, достигли ли мы дна шахты или же увязли в растительной массе. Мы долго прислушивались и ничего не услышали. Затем мы вышли и стали ощупью продвигаться вперед — не более чем на несколько дюймов с каждым шагом. Похоже, мы находились в холле нижнего этажа. На столе мы обнаружили поднос с пе-

ченьем и молоком. Мы выпили молоко, и Вива набила карманы печеньем, так как мои были полны. Из соседнего окна лился тусклый, едва различимый свет. Мы вгляделись сквозь решетку в заросли огромных сорняков. Стволы, достигшие величины молодых вязов, лишь слегка покачивались, но ветви над ними беспрестанно изгибались. Вива вздрогнула, увидев их, и я отвел ее в сторону.

— Здесь, внизу, мы в безопасности, — заверил я ее, но она зажала мне рот рукой.

— Тише, — прошептала она. — Тише! Оно может услышать.

Мы бродили в темноте, пока не нашли комнату швейцара. Мы сидели там на диване, держась за руки. Не знаю, как долго мы просидели, не размыкая рук. Казалось, прошли годы. Было очень тихо, но до нас доносился звук эластичного, как резина, движения. Раз или два нам почудились человеческие крики. Где-то пискнула мышь, и паук с глухим шорохом упал на диван рядом с нами. Мы не переставали прислушиваться.

Спустя какое-то время мы ощупью добрались до судомойки и набрали воды. Едва успев напиться, мы слышали звук ползущих по стенам резиновых щупалец. Что-то вцепилось мне в руку. Что-то схватило Виву за юбку. Она порвалась, когда я дернул девушку к себе. Что-то мешало захлопнуть дверь. Оно потянулось за нами из комнаты в коридор. Мы ощупывали стены в поисках двери, которая, как нам казалось, вела в подвал — нашли ее — заперли за собой — ощупью спустились по лестнице. Здесь было темнее, чем наверху, — темнота была словно осязаема. Мы наткнулись на кучу угля — и из темноты донесся грубый, хриплый голос.

— Дайте мне руку, командир, — сказал неизвестный, — просто прикоснитесь ко мне. Я провел здесь в одиночестве... тысячу лет!

Что-то, пошатываясь, приближалось к нам — споткнулось о нас; и огромная грубая рука схватила меня за руку.

Я встал между ним и Вивой и сжал ее руку, требуя тишины. Голос и хватка не были обнадеживающими, и я надеялся, что незнакомец не ощутил присутствия девушки.

— Вот моя рука, — сказал я.

— И моя, — пылко добавила Вива. — Вы ведь друг — конечно, вы друг. Да благословит вас Бог.

— Да благословит вас Бог, леди. — Грубый голос странно смягчился. — Я... я прошу прощения, если вам помешал.

Он немного отодвинулся от нас и сел. Я не мог видеть его, но слышал, как он дышит. Прошло еще какое-то время. Потом Вива прошептала, что хочет пить.

— Здесь есть ведро с водой, — сказал незнакомец. — Попробую его найти.

Он задвигался в темноте, пока случайно не пнул ведро ногой. Потом он принес воду нам. Мы выпили и съели несколько бисквитов. Я предложил ему немного, но он сказал, что у него осталась корка хлеба. Мы с Вивой исследовали подвал и нашли лопату и кирку. Я сказал, что мы можем попытаться пробить дорогу в соседний подвал, так как надеялся найти там еду; но Вива и незнакомый мужчина боялись, что трава может нас услышать.

Мы с Вивой сели на пустой упаковочный ящик, она положила голову мне на плечо и заснула. Через некоторое время я тоже заснул. Незнакомец разбудил нас.

— Там что-то движется, командир, — хрипло сказал он. — Я думаю, что оно растет из пола. Зажгите спичку и дайте мне лопату.

Из-под пола, как мы обнаружили, поднимались сорок или пятьдесят сорняков. Некоторые неизвестный уничтожил лопатой, но другие схватили его за ноги. Он был сильным, грубоватым на вид мужчиной и яростно сопротивлялся, но они повалили его на землю. Я отдал Виве спички и бросился к нему на выручку с киркой. Сорняки схватили и меня, но он освободил нас обоих, орудуя складным ножом, и в конце концов мы покончили со всеми сорняками.

При свете спички мы увидели, что стена в одном месте треснула, и решили пробиться сквозь нее. Незнакомец выбил киркой несколько кирпичей, и мы стали вытаскивать другие, пока наши пальцы не начали кровоточить, а последняя спичка не погасла.

Наконец ему удалось пролезть внутрь.

— Вы следующий, сэръ, — предложил он. — Леди может меня испугаться.

— Дорогой друг, — сказала Вива, — я нисколько вас не боюсь.

Итак, он помог ей пройти, и я последовал за ним. Мы обнаружили проход, а затем еще один дверной проем — и людей. Я не помню, что мы говорили, когда нашли друг друга в темноте, — только чувство радости.

Их было около двадцати — мужчин, женщин и детей. Перед тем, как спрятаться в подвале, они запаслись едой и водой. Среди них был и профессор Ньютон. Похоже, они признали его в качестве своего руководителя, и он предложил меня в качестве заместителя. Он шепнул мне, что ему нужна помощь умного и образованного человека в борьбе с сорняками.

— Мы *должны* бороться с ними, — заявил он, постукивая меня пальцем по руке, — но я не знаю, как. Не... знаю... как! Я даже не могу понять, что это такое — и еще меньше, во что оно превратится. Возможно, это просто растительная жизнь, растение-людоед. Или грубая животная жизнь — *плотоядное* животное! Может быть, это разум — дьявольский разум. Чем бы оно ни было, оно будет развиваться по мере роста, вырабатывать новые органы и новые способности, новую силу и новые слабости. Мы должны нанести удар именно там. Какие слабости? Ах-х! Я не знаю! Оно может перерасти само себя и засохнуть. Может погибнуть от крошечных земных микробов, как марсиане в романе Уэллса. *В свое время* мы думали, что это праздная фантазия. Оно может вырасти в разумного дьявола! Возможно, сейчас ему просто не хватает органов, чтобы полностью реализовать свою злую волю. С другой стороны, его злоба может быть бесцельной — слепое беспокойство, от которого оно избавится... после того, как мы задохнемся во тьме у его ног. Но мы все равно обязаны бороться. Чтобы бороться, мы должны понять. Чтобы понять, мы должны изучить... Вы готовы рискнуть жизнью вместе со мной?

— Да, — сказал я.

Вива тихо заплакала, когда я сказал ей, что должен идти; но она не пыталась удержать меня от выполнения моего долга. Мы с профессором поползли вверх по лестнице в подвал и, ничего там не обнаружив, в темноте поднялись на лифте наверх. Мы слышали, как на второй лестничной площадке зашевелилась трава. Я выскочил, включил электрический свет и снова прыгнул внутрь. Отростки последовали за мной и вцепились в решетку, однако не смогли ее сломать. Мы отрубали перочинными ножами самые настойчивые усики, пролезавшие внутрь. Из них вытекал маслянистый сок. Они яростно колотили по решетке. Профессор спокойно изучал фрагменты растения с помощью карманного микроскопа. Выпуклости показались ему зачаточными глазами. Он также сказал, что некоторые перистые побеги, прорастающие из них, являются рудиментами органов, подобных рукам. Я не знаю, был ли Ньютон прав, но он всегда утверждал, что у сорняков должны развиваться органы чувств. Так или иначе, свойства растения явно менялись. Оно стало тверже и суше, но не потеряло своей гибкости и прочности.

Спустя некоторое время профессор решил, что мне пора вернуться к остальным. Спустив меня, он снова поднялся наверх. Вива ждала меня в темноте, прямо у лифта.

Я нашел несколько свечей. Мы зажгли одну и воткнули ее в бутылку. Никогда не забуду эту кучку людей в низком, широком подвале, сбившихся вместе на ящиках или на полу. Мужчина, которого мы встретили первым, нянчил больного ребенка. Леди Эвелин Энджелл укрыла своим оперным плащом юную цветочницу. Полицейский перевязывал носовым платком раненую руку. Дрожащий старый продавец спичек кутался в изношенное пальто. Вива посадила к себе на колени маленького мальчика и рассказывала ему сказку о Джеке и бобовом стебле. Стил — карточный шулер, как я узнал позже — неумоимо помогал всем и болтал с леди Эвелин. Несколько бедно одетых молодых людей завернулись в мешковину. Нарумяненная и безвкусно одетая женщина матерински заботилась о нескольких женщинах помоложе. Я слышал, что она утешала Виву, пока меня не было, и даже

предложила ей вместе отправиться на поиски нас с профессором, но остальные убедили их, что они будут нам только помехой.

Через пару часов — я снова завел часы — профессор появился снова. Его одежда была разорвана, а лицо и руки в крови.

— Побегі наконец сломали решетку, — объяснил он, — но я сбежал. Боже милостивый, как растет эта трава! Пока что я ничего определенного сказать не могу.

Спустя какое-то время, когда большинство из нас дремало, обвалилась часть крыши и одной из стен. Как предположил профессор, рост корней под улицей привел к избыточному давлению земли. Слабый свет струился в отверстие сквозь высокие сорняки. Ветви над головой все еще шевелились, но стебли внизу казались неподвижными. Профессор собрался на разведку. Я пошел с ним. Между стеблями оставалось достаточно места, и мы могли свободно пройти.

Все дома на другой стороне улицы были разрушены, как и многие на Стрэнде. На Флит-стрит мы увидели ту же картину. Огромные сорняки, видимо, сдавливали стены, и дома превращались в развалины. Так случилось и со зданиями Королевского суда. Часы с башни валялись среди зарослей. Местами ветви пробивались сквозь окна и стены уцелевших домов. Раз или два мы слышали человеческие крики. В дебрях травы мы встретили женщину с ребенком и собакой и взяли их с собой.

Свет, пробивавшийся сквозь колышущиеся ветви над головой, был слабым и неравномерным, и в какой-то момент мы заблудились. В конце концов мы вышли на Норфолк-стрит; но когда мы шли по ней, несколько усиков, которые, казалось, яростно сражались друг с другом вверху, обломились и упали к нашим ногам. Они извивались на земле, как огромные серые змеи, обвивались вокруг стеблей и бились вслепую. Один из них схватил женщину и прижал ее к стволу. Мы оттащили ее от усика, когда он стал дергаться не так сильно, но она была мертва. Младенец не пострадал и все еще спал. Я понес его на руках.

Мгновение спустя сломанный отросток упал прямо на со-

баку. Она громко взвыла и в испуге укусила цельный усик, свисавший с дерева (таких было довольно много, но до сих пор нам удавалось избегать их). Отросток затрясся, словно от ярости и боли, обхватил продолжавшую выть собаку и поднял ее в воздух. Сотни усиков потянулись к нему, стараясь отнять собаку. Они продолжали сражаться и после того, как вой оборвался; другие щупальца потянулись вниз, задвигались во все стороны вокруг нас, будто ища новую добычу. Профессор пристально наблюдал за ними, забыв об опасности.

— Теперь они издают другой звук, — рассеянно заметил он. — Это больше не скрежет липкой резины — они *шуршат*. Не похоже на разложение. Они становятся сильнее — еще сильнее. Но в избытке всегда есть слабость, даже в избытке силы. Дайте мне подумать!

— Быстрее! — воскликнул я. — Быстрее! Они приближаются. Бегите!

Мы принялись быстро петлять между стволами сорняков. Профессор отставал, и мне пришлось подталкивать его. Отросток за отростком с шелестом опускались вниз, и сами стволы раскачивались. Два из них чуть не зажали профессора. Будучи крепким человеком, он начал отбиваться, и я вытащил его.

Верхний свет был полностью перекрыт опускающимися щупальцами, и мы, вероятно, заблудились бы, если бы в одном из домов не горела электрическая лампа. В любом случае, отростки скорее всего поймали бы нас, но они были слишком заняты сражением между собой. Вокруг падали и бешено извивались оторванные куски, и нам приходилось уворачиваться от них. Один из них вцепился мне в ногу и стащил с меня ботинок, пока я убегал. Другие задели нас, когда мы спускались по обломкам в подвал — и последовали за нами.

Несколько человек закричали. Некоторые упали в обморок. Остальные сбились в кучу и с широко раскрытыми глазами попятились к самой дальней стене. Леди Эвелин стояла перед детьми, протягивая руки, словно желая защитить их. Стил подошел и встал перед ней.

— Дорогая леди, — сказал он, — краткие дни нашего знакомства были лучшим временем в моей жизни. Я был бы другим, хорошим человеком, если бы встретил вас раньше.

Она очень мило улыбнулась ему.

— Вы мне очень нравитесь, мистер Стил, — сказала она.

Накрашенная женщина забрала у меня ребенка, и я попытался оттащить профессора назад, но он не тронулся с места. Вива выбежала из толпы и обняла меня. Отростки подбирались все ближе и ближе. Некоторые ползли по потолку, свесив головы, как змеи. Другие извивались на полу, приподнимаясь и как будто собираясь броситься на нас. Я не знаю, видели ли они нас, слышали или обоняли, не могу объяснить, как они узнали, где мы находимся; но они *знали*.

Они были уже в ярде от профессора, а он по-прежнему не шевелился, только вынул горящую свечу из бутылки и проклинал их, точно они могли слышать. Я подумал, что он сошел с ума.

— Неужели ты считаешь, что человек ничему не научился за тысячу поколений? — закричал он наконец. — Что ты можешь за несколько дней сокрушить его грубой силой? Что ж, иди и посмотри! Иди и посмотри!

Переднее щупальце обвилось вокруг него и начало поднимать его в воздух. Он осторожно ощупал его руками.

— Оно сухое! — воскликнул он. — Сухое!

А потом он поднес к щупальцу свечу!

Была пустыня белого света. Затем фиолетовая тьма. Я услышал, как профессор упал. Когда наши глаза оправались от своей ошеломляющей слепоты, сорняк полностью исчез. Дневной свет струился в отверстие в стене. Профессор поднялся с пола. Его волосы и борода были сильно опалены, бровей не было.

— Оно высохло слишком быстро, — сказал он со странным сердитым смешком. — В этом была его слабость. Оно высохло... высохло...

Он продолжал повторять это слово скучным, безжизненным тоном. Остальные безучастно повторяли то же самое. Вива была первой, кто заговорил связно — тихим шепотом мне на ухо.

— Мой дорогой! — сказала она. — *Мой дорогой!*

Вслед за ней заговорила леди Эвелин — обращаясь к бывшему карточному шулеру Стилу.

— Мир начинается заново, — сказала она. — И... вы встретили меня, мистер Стил.

Слезы катились по их щекам, и они стояли, улыбаясь друг другу.

— Да, мир начинается заново, — громко провозгласил профессор. — Пойдемте со мной и сделаем этот мир лучше.

Он шагнул к свету, но некоторые отшатнулись.

— Трава! — робко воскликнули они.

— Сорняк исчез — сгорел в одно мгновение, от края до края земли! — заверил он. — Следуйте за мной.

Мы последовали за ним из темноты на солнечный свет. День был приятный, теплый, ясный для ноября.

Сорняки исчезли без следа, как и предсказывал профессор; в целом пожар был слишком быстрым, чтобы причинить значительный вред, но многие дома обрушились после внезапной гибели подкопавшихся под них корней. Кое-где загорелись дома и склады; во многих районах огонь распространился и продолжался несколько дней.

Статистические данные нового Департамента по делам службы народу, которым я имею честь руководить, еще не полностью собраны; но я могу упомянуть, что к северу от Темзы разрушенными оказались семнадцать процентов зданий, а к югу — девяносто три процента, так как ветер дул преимущественно в этом направлении; в общей сложности разрушение имущества в Великобритании и Ирландии приблизительно оценивается в пятьдесят пять процентов.

Приключения нашего маленького отряда после того, как мы выбрались из нашего укрытия, едва ли относятся к моему рассказу; но я должен описать несколько событий, вписанных красными буквами в наш календарь после нашествия Серой травы.

В первый же день мы узнали, что есть и другие выжившие — на что мы не смели надеяться. В одном из подвалов мы обнаружили мужчину, женщину и ребенка, чуть не умерших от голода и ужаса. Мы сразу же разбились на неболь-

шие группы и принялись обходить уцелевшие дома Лондона, и звонили в церковные колокола, и трубили в трубы, и били в барабаны, и звали всех выживших. Тут и там испуганные кучки бледных, изголодавшихся, оборванных людей откликались на призыв. Когда наше число увеличилось, мы отправили отряды прочесывать подвалы и другие укрытия и спасли немало людей, находившихся на пороге смерти. Общее число выживших в Лондоне, где процент смертей был самым высоким, составляет около 35,000.

На второй день мы получили несколько ответов на наши обращения по телеграфу в провинции; на следующий день мы установили телеграфную связь с большинством районов Соединенного Королевства и даже с континентом. Почти во всех городах по крайней мере нескольким людям удалось спастись. В некоторых регионах Серая трава оставила нетронутыми открытые пространства или ряд домов, где люди смогли спрятаться, и только часть из тех, кто добрался до них, умерла от голода. В нескольких случаях трава, как рассказывали, воздержалась от нанесения телесных повреждений тем, с кем вступила в контакт. Кроме того, ей не удалось уничтожить многие захваченные на море корабли — морская поросль, как правило, оказывалась менее опасной. Судя по нашим цифрам на данный момент, мы надеемся, что выжила почти одна восьмая населения Европы.

На четвертый день был отправлен первый поезд из провинции в Лондон, и несколько кораблей, которые заросли не причинившими им вреда сорняками, вошли в порт. После этого движение было быстро восстановлено.

Две недели спустя было создано наше нынешнее временное правительство. Профессор, которого все приветствовали как избавителя человечества, отказался от государственных постов, однако по его настоянию я был назначен на должность, которую сейчас занимаю. Несколько человек из нашей маленькой группы также заняли важные посты, в том числе Стил, ныне известный под другим именем и женатый на леди Эвелин, и Вива, которая в преддверии нашей свадьбы руководит лондонскими сиротскими приютами. Послезавтра начинает выходить газета.

Мы неустанно работали над восстановлением социальной и коммерческой жизни страны и достигли определенных успехов. У нас мало предметов роскоши, но нет потребности в них; меньше работников, но нет трутней; меньше тех, кого мы любим, но этих людей мы любим сильнее. Я думаю, теперь в мире все будет хорошо, потому что мы так сильно любим друг друга.

— Серая трава решила проблемы бедности, зависти, преступности и раздоров, которые веками бросали вызов человечеству, — сказал профессор перед смертью. — Не плачь, маленькая Вива. Ах! Что это, я чувствую слезу на своей руке? Тебе не о чем плакать, дитя мое. *Они* ушли, и я ухожу, но *ты* научилась любить. Все к лучшему!

— Все... к... лучшему, — повторил он затем и улыбнулся.

Таким было его послание вам, к кому я обращаюсь, дорогие друзья.

Эдвард Уоллес

Phalaenopsis Gloriosa

Двое мужчин сидели за напитками и сигарами в большой библиотеке загородного дома Дрисколла. Был прохладный апрельский вечер, и огромные сосновые поленья, пылавшие в камине перед ними и отбрасывавшие яркие отсветы на книги, картины и тяжелую мебель черного дерева, почти не рассеивали холод в неиспользуемой комнате.

Три высоких французских окна справа выходили на запад, на акры лужаек, спускающихся к широкой реке, в то время как с юга вид скрывали густые заросли вечнозеленого кустарника, виноградные лозы и лианы, чьи гирлянды нежной листвы во всех направлениях заплели окна. Громадный вяз, стоявший на страже у этого угла дома, раскачивал ветви на весеннем ветру и нервно постукивал в ближайшее окно.

Дом, несмотря на свое богатство и красоту, производил впечатление одиночества. Жилище отражает повседневную жизнь обитателей таким же неосязаемым образом, как человек несет на себе отражение своей жизни, написанное крупными буквами на лице и фигуре; и у этой величественной комнаты был вид человека, который увидел своих умерших и застыл потрясенный и опустошенный. Из более отдаленных уголков дома время от времени доносился скрип половиц или хлопанье ставни на ветру, и при каждом звуке старший из двоих с плохо скрываемым беспокойством поворачивался в направлении шума. Наконец его собеседник стряхнул пепел с сигары в огонь и повернулся к хозяину.

— Боб, старина, что с тобой такое? Ты дергаешься, как моя бабушка! Что тревожит твою юную душу — призрак или белая горячка? Говори, парень, в чем дело?

Услышав эти слова, Дрисколл встал и, чуть ли не крадучись подойдя к двум дверям, ведущим из комнаты, задвинул массивные засовы в гнезда; затем он вернулся к камину, налил себе немного бренди, выпил и придвинул кресло поближе к Ларчеру.

— Ларчер, мы с тобой вместе охотились на крупную дичь. Вон та шкура тигра рассказывает одну историю, шкура леопарда у нас под ногами — другую. Но я позвал тебя сюда сегодня вечером, чтобы ты помог мне убить или поймать са-

мое дьявольское существо, которое когда-либо ходило по земле. Ты — единственный, чьему разуму, нервам и мускулам я могу доверять.

— Хорошо! — сказал Ларчер. — Это человек или зверь?

— Не зверь, но едва ли человек, — ответил другой. — Однако, мне следует вернуться назад и рассказать тебе историю этого проклятого существа, появившегося здесь. Как ты знаешь, моим хобби долгое время были орхидеи, и я не раз жаловался, как трудно найти способного работника для ухода за моими любимицами. Большинству из этих ребят известны лишь несколько распространенных коммерческих разновидностей, а я всегда интересовался более редкими видами. Полгода назад судьба коллекции привела меня в такое отчаяние, что я решил было полностью отказаться от разведения орхидей: надоело видеть, как привезенные издалека растения умирают у меня на руках. Но однажды, вслед за моим объявлением в «Геральд», ко мне в офис явился человек, казавшийся как нельзя более подходящим. Я не мог точно определить его национальность; он сказал, что много лет провел в тропиках, собирая орхидеи для одной крупной английской фирмы-импортера, и загорелое лицо вроде бы подтверждало его слова. Мы быстро обсудили все детали и договорились, что он приедет сюда и немедленно приступит к работе. Я спросил, есть ли у него семья, и он ответил, что его жена приедет с ним на следующий день.

Когда он поднялся, собираясь выйти из кабинета, я сказал:

— Еще кое-что, Херстон. Я надеюсь, вы разбираетесь в выращивании *Phalaenopsis Gloriosa*. Это мои любимые орхидеи, и я держу их в специальной оранжерее.

Готов поклясться, Ларчер, при упоминании названия орхидеи парень позеленел под своим загаром. Он ухватился за спинку стула, словно пытаясь удержаться на ногах, и ответил как-то странно: дескать, он не умеет с ними обращаться. Затем он добавил, как будто сказал больше, чем намеревался:

— Глориозы крайне сложно выращивать в неволе, сэр.

Я улыбнулся, услышав сравнение орхидей с плененны-

ми дикими зверями, распрощался с ним и на время позабыл о нашем разговоре.

Короче говоря, они приехали на следующий день и вскоре устроились в хорошеньком маленьком домике на склоне холма рядом с теплицами. Я посетил имение несколько недель спустя, нашел, что все идет хорошо, и Херстон представил меня своей жене. Ты знаешь, что с тех пор, как умерла Молли, женщины практически ушли из моей жизни, и на меня нелегко произвести впечатление хорошеньким личиком, но я никогда не забуду экзотическую красоту этой женщины.

Какие бы сомнения ни возникали по поводу его национальности, ее национальность можно было определить безошибочно. Она была чистокровной индианкой и происходила из высшей касты Восточной Индии. Ты знаешь этот тип: высокая, стройная, с изысканными чертами лица и глазами, напоенными полуночным колдовством. Глядя на нее, я подумал, что ее, как и мои орхидеи, окутывает та же тонкая аура духовности и великолепия. Она ни слова не понимала по-английски и, пока мы разговаривали, стояла рядом с Херстоном, глядя на него своими темными, непостижимыми глазами с бесконечным обожанием. Было понятно, что она преклонялась перед своим мужем. Ты помнишь красивую собаку породы колли, которая жила у меня здесь; этот прекрасный пес жил в соответствии со своими идеалами так, что мог пристыдить большинство людей. Он никогда не спешил заводить дружбу с чужаками, хотя и был предан старым слугам в поместье. Так вот, он прибежал к нам и, к моему удивлению, не обратил на меня никакого внимания, но начал вилять хвостом у ног миссис Херстон, ласкаясь к ней с величайшей нежностью.

— У вашей жены появился достойный друг, — заметил я Херстону. Тот улыбнулся и согласился, и тема была закрыта.

Мы провели остаток дня, вместе осматривая теплицы, и я обнаружил, что не ошибся в своем работнике. Такое знание орхидей, их местных условий произрастания и климата, а также традиций Восточной Индии было для меня открове-

нием.

Теплицы были значительно изменены и расширены с тех пор, как ты видел их в последний раз; главным дополнением является огромное круглое здание у подножия холма. Здесь я собрал тысячи прекрасных цветков *Phalaenopsis Gloriosa*. Вместо обычных скамеек я срубил на этом месте несколько деревьев и установил их в земле через неравные промежутки со всех сторон оранжереи, а затем подвизал к ним проволокой орхидеи снизу вверх, вперемежку с папоротниками, утопающими во мху. Вокруг деревьев были густо посажены высокие пальмы; сотни орхидей свисали на проволоке с крыши. Весь ансамбль напоминал уголок тропических джунглей. Несмотря на все мои старания, орхидеи чувствовали себя неважно, и мне не терпелось получить совет моего нового ботаника.

К моему немалому удивлению, жена Херстона сопровождала нас во время обхода, но у двери оранжереи фаленописов отступила назад, бледная и дрожащая. Он быстро произнес несколько слов — полагаю, на ее родном языке — и она повернулась и села на табурет под навесом снаружи. Он пробормотал какие-то извинения, сказав, что его жена устала, и последовал за мной в теплицу. Если раньше он был разговорчивым, то здесь сделался странно тихим и нервным. Мы побыли там около пяти минут, и все это время он не сводил глаз со стройной маленькой фигурки под навесом. Я ничего не смог из него вытянуть по поводу разведения фаленописов и приписал очевидное смущение Херстона его невежеству в этом вопросе. Мы осмотрели другие теплицы и тем же вечером я вернулся в город.

Я вдаюся во все эти утомительные подробности, Ларчер, в надежде, что ты, с твоим многолетним опытом жизни в Индии и знанием восточного характера, возможно, сумеешь разглядеть какой-то проблеск света во мраке последовавших затем таинственных событий.

Ларчер нетерпеливо кивнул, и Дрисколл продолжил рассказ:

— Прошло шесть недель, и отчеты Херстона были в целом удовлетворительными. По прошествии этого времени я по-

лучил от него любопытное письмо. Он просил прислать в поместье частных охранников и приказать им днем и ночью обходить территорию, причем был, похоже, в полном ужасе и настаивал, что дело срочное. Мы находимся достаточно далеко от главной дороги, и нас редко беспокоят бродяги. Тем не менее, я рассудил, что новый садовник заслуживает моего доверия и в тот же день нанял несколько человек в качестве сторожей. На следующий день было воскресенье, и я, все еще немного обеспокоенный необычным тоном письма Херстона, сел на дневной поезд и приехал сюда. Я никому не телеграфировал о своем приезде, так что на станции меня никто не ждал. Я прошел мило до поместья в унылых и, казалось, заметно сгущавшихся февральских сумерках.

Спустившись по изгибу подъездной аллеи и обогнув южный угол дома, я остановился, пораженный красотой открывшегося вида. На горизонте громоздились огромные багровые облака, словно охваченные чудовищным пожаром, в то время как угрюмые красные полосы, поднимавшиеся почти до зенита, бросали зловещий отблеск на реку и лужайки. Я никогда не видел, чтобы это место приобретало такую зловещую неземную красоту — подходящая декорация для грядущей трагедии! Группа карликовых норвежских сосен у этого угла дома выделялась на фоне злобного неба каким-то тончайшим узором, и пока я стоял, восхищаясь их симметрией и изяществом, ветка менее чем в двадцати футах от меня отодвинулась назад, и из-за дерева выглянуло лицо.

Отвратительное лицо, какое может привидеться в лихорадочном кошмаре, желтое, квадратное монгольское лицо, испещренное тысячью морщин, и каждая складка полна греха. Ларчер, я видел это лицо так же ясно, как вижу тебя сейчас. Секунды три я стоял неподвижно, глядя прямо на эту ухмыляющуюся маску. Возможно, я был загнипнотизирован этими блестящими глазами-бусинками, пристально смотрящими в мои. Затем ветка опустилась на место, и я, освободившись от чар, бросился вперед, к тому месту, где только что видел маску. Она исчезла, как сон. Я рыскал в кустах с

полчаса или больше, но в конце концов в отчаянии сдался и вошел в дом.

Пока старая миссис Мэйхью подавала мне обед, я воспользовался случаем, чтобы осторожно расспросить ее о бродягах или незнакомцах в имении. Она ответила, что за всю зиму здесь не видели ни одного бродяги. Накануне вечером некоторые слуги как раз это обсуждали. Тем самым письмо Херстона становилось еще более необъяснимым, и после обеда я послал за ним, намереваясь откровенно поговорить на эту тему. Он пришел, и я вздрогнул, увидев его лицо. Он был бледен и изможден, с какой-то затравленной свирепостью в глазах и беспокойством в манерах, и выглядел совершенно изменившимся. Дальнейших объяснений, похоже, не требовалось, и я приписал все это неудачному воздействию виски. Я никогда не бью человека, когда он падает на землю, и не проповедую воздержание пьянице с похмелья; поэтому я, игнорируя очевидное состояние Херстона, рассказал ему о получении его письма и о мерах, которые я принял для охраны поместья.

— Они должны действовать быстро, мистер Дрисколл, — прервал меня Херстон. — Пусть поторопятся. Ради Бога, сэр, немедленно пришлите их сюда!

Он в волнении подошел ближе и сжал мою руку. Я вздрогнул от его прикосновения — его рука была такой холодной! Глаза Херстона со страстным нетерпением впились в мои, и тогда я осознал свою ошибку. Не выпивка изменила этого человека; то был чистый, ясный, холодный, безысходный ужас!

— Херстон, — сказал я, — здесь что-то не так. Я хочу, чтобы вы откровенно рассказали мне, чего вы боитесь.

Не успел он ответить, как ночь разорвала череда резких криков, похожих на визг страдающего от боли животного. За ними последовал пронзительный вопль. Услышав его, Херстон вскочил и выбежал на веранду. Я почти тотчас последовал за ним и также выбежал наружу. Херстон, как подстреленный, мчался по лужайке к своему коттеджу. Я со всех ног побежал следом, поражаясь скорости его бега. Через секунду я оказался рядом с ним; он склонился над своей женой,

лежавшей в глубоком обмороке на веранде коттеджа. Когда я наклонился, чтобы рассмотреть тень у ног женщины, из темноты донесся жалобный тихий стон.

Кто-то принес фонарь, и при его свете я увидел, что там лежит мой колли Дональд. Его светлая шерсть была вся перепачкана кровью из смертельной ножевой раны в боку. Прекрасные, преданные глаза пса поднялись на мои, когда я опустился рядом с ним на колени, затем остекленели, и его маленькая жизнь угасла. Вдвоем мы подняли миссис Херстон, занесли ее в дом и положили на кровать. Херстон, обезумев от волнения, склонился над ней, умоляя меня сделать что-нибудь — что угодно. Спустя несколько минут она пришла в сознание, но при виде нас впала в состояние беспомощной истерики. И садовник, и его жена были вне себя и не могли ничего рассказать мне о случившемся.

Херстон расхаживал взад и вперед, как сумасшедший, заламывая руки, в то время как его жена лежала, безостановочно смеясь и рыдая. Гибель собаки подсказала мне, что здесь происходит что-то серьезное; подумав, что Херстон и его жена, вероятно, не будут в безопасности, оставаясь одни в коттедже, я предложил им провести ночь в доме. Херстон охотно согласился, и они пошли со мной в дом. Мэйхью поселила их в комнате на первом этаже — она одно время использовалась как гостевая, когда дом бывал переполнен. Комната находится в этом же крыле, но с другой стороны, и выходит окнами на теплицы. Я убедился, что они удобно устроились, велел Мэйхью проследить, чтобы у миссис Херстон было все необходимое, и пожелал им спокойной ночи.

В тот вечер я долго сидел у камина, тщетно пытаюсь догадаться о причине странного поведения Херстона и смерти моей собаки. Не могу описать, как все это меня угнетало; я ощущал себя несчастным и был полон зловещих предчувствий, как ни старался от них избавиться. Должно быть, я задремал, и мне приснился удивительно яркий сон. Я был на лужайке в лунном свете, преследуя непонятную фигуру, которая убегала от меня, ускользая все дальше, когда я приближался, и продолжала издавать визг, похожий на пред-

смертный крик собаки.

Тот человек все убегал, и я бежал еще быстрее, любопытным образом увеличивая скорость, как бывает во сне; наконец, я настиг его и схватил за плечо. Он повернулся в моих руках, и я снова увидел отвратительное желтое лицо, очерченное на фоне кустарника. Ужасающий крик пронзил мой мозг и заставил меня вскочить на ноги. Я знал, что все остальное мне приснилось, но мог бы поклясться, что крик был настоящим. Я бросился к двери и распахнул ее. В холле было темно и тихо. Я открыл окно, решив, что звук мог раздаться снаружи, но и в могиле не могло быть тише. Проклиная свое нервное воображение за пережитый испуг, я поднялся к себе и лег спать.

На следующее утро я проснулся рано и, горя желанием разобраться при свете дня с неприятными событиями минувшей ночи, послал Хендрикса в комнату Херстона, велел ему сказать садовнику, что я хотел бы увидеться с ним как можно скорее. Слуга вернулся и сказал, что несколько раз стучал в дверь Херстона, но не смог его разбудить. В этот миг я вновь ощутил весь смутный ужас прошедшей ночи. В той комнате есть два таких же высоких, как эти, французских окна, выходящих на северную веранду. Я отправил Хендрикса на веранду произвести разведку снаружи. На этот раз он вернулся почти сразу же и сказал, что одно из окон было распахнуто настежь. Он заглянул внутрь: в комнате царил беспорядок, Херстон и его жена ушли. Мне пришло в голову, что они, возможно, встали пораньше и вернулись в коттедж. Я в третий раз отправил Хендрикса передать мое сообщение. Он вернулся и сказал, что в коттедже их нет. Я сам отправился в коттедж. С прошлого вечера там ничего не изменилось. Я окликнул одного из садовников, шедшего на работу, и спросил, не видел ли он Херстона.

— Нет, — ответил он. — Может быть, он в оранжереях.

— Возможно, — сказал я. — Мы должны найти его. Вы с Хендриксом возьмете на себя первую теплицу, а я вторую, и так мы поочередно осмотрим их все.

Я начал обход теплиц, громко выкрикивая имя Херстона. Я надеялся, что с ним было все в порядке, но во мне креп-

ло зловещее предчувствие.

Я добрался до оранжереи фаленопсисов у подножия холма, продолжая звать Херстона, открыл дверь и вошел внутрь. После яркого утреннего солнца зеленый интерьер показался мне тусклым. Закрыв дверь, я увидел, как что-то приближается ко мне из лесного полумрака. Сначала я подумал, что это дог Броутона — собака почти все время проводит в оранжерее — но это нечто встало на дыбы, выпрямилось и, что-то бормоча, бросилось на меня из зеленых теней! Я подскочил к двери и захлопнул ее за собой, и оно тяжело ударилось о дверь и покатилось по полу. Это был Херстон, Херстон с белоснежными поседевшими волосами и горящими глазами. Херстон, и он был безумен — безумен!

— А женщина?

— Никаких следов! Как будто земля разверзлась и поглотила ее... Мы схватили Херстона после ужасной борьбы; от него ничего нельзя было добиться. Каждый дюйм этого места был обыскан снова и снова, но мы по-прежнему не обнаружили никаких следов! И, Ларчер, это покажется тривиальной вещью, жалкой и пустой фантазией, и все же...

— Говори!

— С ночи этого таинственного ужаса гладиолусы, кажется, обрели новую жизнь! С каждого растения свисают со всех сторон огромные стебли, переплетаясь, как какая-то странная паутина. Бутоны развились, но не распускаются! Месяц назад я сказал одному садовнику:

— Завтра вся оранжерея будет белой от цветов.

Он посмотрел на меня с любопытством.

— Так я и думал, сэра, неделю назад.

— Значит, они были недостаточно развиты, — ответил я.

— Нет, сэра, они были точно такие, как сейчас.

— Ну, этого просто не может быть, — воскликнул я. — Посмотрите на них, они готовы лопнуть.

— Как скажете, сэра, — сдержанно ответил он.

— Но вы со мной не согласны? — спросил я.

— Нет, сэра, они были точно такими же десять дней назад; можно было бы сказать, сэра, что они были готовы расцвести, но... они будто чего-то ждали!

Это правда! С тех пор я наблюдаю за бутонами. В этом месте царит мрачная, гнетущая атмосфера, от которой я не могу избавиться. Неопишуемый ужас нависает над ним, и я никогда не хочу видеть его снова.

Ларчер, с горящим от волнения лицом, поднялся на ноги и встал спиной к огню, глядя сверху вниз на Дрисколла.

— А мотив, подсказка, объяснение всему этому? Что говорят люди? Что они думают?

— Все и ничего! С женщиной покончено — но кто с ней расправился? Конечно, сам Херстон! Другие говорят: «Ба! Этот человек любил ее, она его не боялась». Был третий, которого оба боялись, — лицо в соснах.

— А другие мужчины в поместье?

— Все вне подозрений! Их комнаты расположены над каретным сараем, и все были там в ту ночь. Говорят, Херстон был хорошим парнем, преданным своей жене. Она каждый день сопровождала его в оранжереи и он всегда казался недовольным, если ее не было рядом. Выяснилось также, что на протяжении десяти дней, предшествовавших трагедии, Херстон выглядел странно возбужденным и нервным, но был совершенно трезв и вменяем. И еще одно: с тех пор, как в имении появился Херстон, здесь не видели ни бродяг, ни других подозрительных лиц.

— Ты рассказал полиции о желтолицем человеке?

— Да. Но больше никто его не видел; у меня не было никаких осязаемых доказательств, и общее мнение, по-видимому, свелось к тому, что это была галлюцинация, вызванная чрезвычайным напряжением нервов.

— Что стало с Херстоном?

— Он находится или, вернее, еще два дня назад находился в клинике для душевнобольных. Она примерно в трех милях отсюда — ты можешь видеть ее башню прямо за деревьями с западной стороны. Врачи с самого начала говорили, что его состояние было совершенно безнадежным. Когда его доставили туда, он был почти неуправляем; затем он погрузился в угрюмое молчание и едва говорил. Два дня назад старший инспектор полиции известил меня, что Херстон сломал тяжелые железные решетки на своем

окне и сбежал. Меня попросили немедленно сообщить, если мне станет что-либо известно о его местонахождении. Полиция, сказали мне, будет следить за поместьем, считая вполне вероятным, что Херстон вернется сюда.

Услышав все это, я немедленно приехал, но до сих пор его не видел. Вчера днем мне стало одиноко и я занервничал. Я провел в доме весь день и, решив, что небольшая прогулка пойдет мне на пользу, направился по дорожке к воротам. Когда я возвращался, уже темнело, и я невольно присматривался к кустарнику. На мне была старая пара теннисных туфель, которую я нашел здесь, у себя в комнате, и мягкие подошвы почти бесшумно ступали по гравию дорожки. По пути мне показалось, что я услышал какое-то шуршание, как будто кто-то пробирался сквозь кусты справа от меня. Я выгнул револьвер и постепенно зашагал медленнее, собираясь пропустить неизвестного вперед.

Движение в кустах тоже замедлилось, и я понял, что за мной наблюдают. Я шел дальше, пока мы не добрались до места, где кустарник вдоль дорожки поредел; здесь я внезапно развернулся и нырнул сквозь кусты в направлении звука. Незванный гость бросился прочь и увеличил расстояние между нами, так что я смог лишь смутно различить высокую гибкую фигуру в одеянии из какой-то темной материи, обмотанную вокруг талии шарфом. Я думал, что это Херстон. Но это был не он, так как незнакомец оглянулся перед тем, как исчезнуть, и я снова увидел злодейское желтое лицо и глаза-бусинки! Я побежал за ним, на бегу разряжая револьвер. Выстрелы разнеслись в сгущающейся ночи, однако он вторично ускользнул от меня. Сегодня утром я отправил тебе телеграмму. Ты здесь. Вот и все.

— Дрисколл, ты говоришь, что лицо, которое ты видел в кустах, ухмылялось? Ты заметил что-нибудь необычное, связанное с зубами этого незнакомца?

Дрисколл вскочил на ноги, сдавленно выругавшись.

— Ларчер, ты его видел! Где?

— Не видел, Боб, честное слово!

— Тогда откуда ты знаешь, что у него не было зубов? По крайней мере, я заметил только два резца в углах челюсти;

они были длинные и желтые, как волчьи клыки! Откуда ты узнал единственную деталь, о которой я умолчал?

— Садись, и я тебе расскажу. Я не вспоминал об этой небольшой истории долгие годы, — ответил Ларчер, закуривая новую сигару. — Кстати, раз уж ты так откровенно признаешься, что носишь оружие, я могу с таким же успехом на время избавиться от своего. Я никогда не остаюсь в цивилизованном мире достаточно долго, чтобы привыкнуть во все обходиться без оружия. Положу-ка я револьвер здесь, на стол, если не возражаешь. Что ж, как ты помнишь, около семи лет назад я работал в Британской Ост-Индской географической комиссии. Возможно, ты также помнишь, что нашей главной миссией в то время было исследование некоторых притоков реки Меконг. Британское правительство так распахало Индию плугами и бородами своей армии и гражданской администрации, что кажется, будто там не осталось никаких диких мест; и однако, все еще существуют огромные пространства неизвестных и почти непроходимых территорий, где в высшей степени пышно всходят сорняки местных обычаев. Вероятно, на пригодной для жизни части земного шара нет другого региона, находящегося под номинальным контролем цивилизованной нации, о котором было бы так мало известно, как о долине реки Меконг. Громадные многовековые леса простираются на сотни миль, скрывая в сырых, непроходимых болотах и джунглях диких, свирепых людей, которые их населяют.

Мы добрались до реки Лам-Нам-Си у ее слияния с Меконгом и отправились вдоль нее к истоку. Через три дня пути до нас дошли слухи о тиграх, и я решил оставить партию в Менатконге и немного побродить по окрестностям в надежде раздобыть одну-две шкуры. Я рассчитывал присоединиться к остальным в условленном месте примерно через неделю. Они заявили, что не дадут за мою жизнь и фартинга, если я отправлюсь в одиночку; поэтому я пошел на компромисс, взяв с собой Харанью Ватани, туземца, который преданно заботился о группе и сопровождал нас в качестве гида. Первый день ничего нам не принес, и в сумерках, преследуемые по пятам тропической бурей, мы оказались непо-

далеку от уединенной туземной деревни.

Это было единственное место на многие мили вокруг, где можно было найти человеческое жилье и укрыться от бури — но, несмотря на это, Харанья попытался увести меня прочь от деревни. Это только разожгло мое любопытство, так что я взял бразды правления в свои руки, и мы остались там на ночь. Нас приняли вежливо, поскольку толстая физиономия Ватани служит своего рода пропуском в эту часть вселенной; но на следующий день, когда самые сильные порывы бури утихли, один из жителей дал Ватани понять, что с нашей стороны было бы тактичнее двинуться дальше. Соответственно, мы так и сделали. После того, как мы покинули деревню, Ватани рассказал мне о причине такой сдержанности местных обитателей. Название деревни — Конг-Сатру. Тебе, несомненно, известно, что практически все гладиозы родом оттуда.

— Нет, я думал, они прибыли из Пном-Пеня, как указано в счетах.

— Это речной порт, где их упаковывают для отправки. Орхидеи похищают из лесов вокруг Конг-Сатру отважные искатели приключений, которым, очевидно, не очень дорога жизнь. По ночам, тайком, они переправляют их вниз по Меконгу к морю. Холмы вокруг Конг-Сатру поросли самыми великолепными лесами, какие только можно вообразить, и изобилуют этим сортом орхидей. По словам Хараньи, туземцы скорее продадут своих детей, чем растение гладиозы, которое для них абсолютно священо. Эти люди одновременно ужасным и гротескным образом смешивают свою религию с культивацией растений. За цветами ухаживает кучка местных жрецов, и они к тысячам других восточных идей прибавляют еще одну, самую жуткую из всех.

Они говорят... — и Ларчер наклонился через стол к Дрисколлу и задумчиво уставился в ночь, продолжая: — Они говорят, что в орхидеях должна быть кровь, человеческая кровь, и потому незадолго до сезона цветения растений жрецы выбирают жертву из числа жителей деревни.

— А потом? — спросил Дрисколл, когда Ларчер, погрузившись в воспоминания, замолчал, все еще глядя мимо

него в окно.

— Прости, я думал о той ночи, когда Харанья рассказал мне эту историю. Мы сидели в маленькой палатке посреди джунглей, менее чем в 30 милях от Конг-Сатру, вокруг нас бушевал шторм, а Ватани дрожал от страха, что его рассказ подслушают. В Индии считается, что обсуждать религию соседей невежливо и вредно для здоровья.

— Так что же потом?

— Наше появление прервало праздник цветов, и я невольно оказался в самом близком соседстве со смертью. Так вот, в это апрельское полнолуние в Конг-Сатру проходит карнавал, и жрецы уносят жертву в леса над деревней — и кормят цветы!

— И затем?

— И затем орхидеи расцветают, но не раньше! Так сказал мне Харанья. Жрецы — мерзкого вида люди с желтой, как пергамент, кожей. Зубы у них не исчезли, как ты описываешь, но четыре передних зачернены так, что на расстоянии их не видно. В этих жрецах много китайской крови, если они на самом деле не чистокровные монголы, что отличает их от остального населения, относящегося к ариям.

— И ты думаешь, что жена Херстона...

— Была избрана на роль жертвы! Полагаю, Херстон собирал фаленопсисы в окрестностях деревни и либо видел ее раньше, либо познакомился с ней, когда она пыталась сбежать. Благодаря знанию страны ему удалось доставить ее в какой-то прибрежный городок, откуда они отправились в Англию. Потом они приехали сюда и жили в свое удовольствие, пока рядом с ними не появился фанатик, неумолимый, как судьба. Лично я думаю, что эти жрецы оказывают на людей какое-то гипнотическое влияние. Ты ведь слышал крик девушки, когда он пришел к ней той ночью? Как же иначе жрец сумел внушить Херстону и его жене благоговейный трепет, покорность и молчание, что последовали за этим?

— Теперь я понимаю. Должно быть, жрец и убил мою бедную собаку.

— Не оплакивай пса, Боб; он умер, пытаясь защитить нежную душу, которая была добра к нему, и никакая смерть не

может быть благороднее. Я думаю, что жрец держит девушку в укрытии, под гипнозом. Он ждет своего часа. И время настало! Сегодня апрельское полнолуние, день праздника цветов. Если девушку можно спасти, это должно произойти сейчас. У нас будет умелый помощник.

Дрисколл вскочил на ноги.

— Кто?

— Херстон! Он выслеживает жреца. Я наблюдал за ним последние полчаса.

— Где он?

— Вот! Смотри! Видишь изможденную фигуру, которая скорчилась в тени колонны на крыльце? Сначала я подумал, что это жрец, и приготовил револьвер; затем он слегка пошевелился, и лунный свет упал на его седые волосы и изорванное одеяние. Поверь, Дрисколл, Херстон тоже видел это лицо фанатика из окон своей тюрьмы, и железо прогнулось, как олово, под напором безумной силы, вышедшей убивать. Смотри! Он наблюдает за кем-то, кто идет по лужайке с юга на север. Я могу сказать это по его движениям. Там не может быть никто другой, кроме жреца. Гляди, садовник приподнимается! Ты вооружен? Тогда пойдём.

Ларчер бесшумно открыл французское окно и вышел на веранду. Дрисколл последовал за ним. Человек, шедший впереди них, осторожно пробирался вперед, переходя из тени одного дерева в тень другого, пока не добрался до зарослей кустарника, откуда открывался вид на большую каменную лестницу, поднимавшуюся террасами на холм рядом с теплицами. Здесь он остановился, пристально наблюдая за лестницей. Ларчер и Дрисколл замерли чуть поодаль.

— Он потерял его из виду, — прошептал Дрисколл, но Ларчер покачал головой. Мгновение спустя жрец выскользнул из кустов, окаймлявших лестницу почти у самого подножия холма. Гибкая фигура на секунду замерла в свете полной луны, чернея на фоне белизны каменной кладки и прислушиваясь. Ничего не услышав, жрец поманил рукой, и стройная белая фигурка скользнула вслед за ним, когда он открыл дверь оранжереи и исчез.

Через мгновение Херстон уже направился к ступенькам; Дрисколл и Ларчер, как и прежде, следовали за ним по пятам. В движениях Херстона не было ни колебаний, ни излишней поспешности; так же бесшумно и неумолимо, как прилив набегаёт на берег, он преодолевал расстояние между собой и жрецом. Добравшись до двери оранжереи фаленописов, он растворился в черноте стены. Когда дверь открылась, до ушей двоих друзей донеслось низкое монотонное пение.

— Китайский язык, клянусь всем святым! Боб, он поклоняется цветам!

Миг спустя Дрисколл и Ларчер добрались до двери и заглянули внутрь.

Это была странная сцена! Отвесные стволы деревьев высотой в сорок и более футов были покрыты нежной зеленью папоротников, выделявшейся среди более темных оттенков орхидей. Тысячи полураскрытых цветов наполняли оранжерею тонким и изысканным ароматом.

Жрец стоял в центре оранжереи, спиной к двери. Он сбросил с себя рясу и, обнаженный, если не считать набедренной повязки, раскачивался взад и вперед в религиозном экстазе, простирая руки к цветам над собой и распевая при этом. У его ног стояла на коленях женщина, белая, невидящая, завороченная!

Позади него, безмолвный и ужасный, скорчился Херстон, ожидая удобного момента для прыжка.

— Херстон безоружен! — выдохнул Дрисколл.

— Да, как горилла! Пусть будет так! Добыча принадлежит ему.

Накопец жрец сделал паузу в своем пении. Момент настал. Херстон протянул левую руку, взялся за дверной засов и с грохотом, сотрясшим оранжерею, подвинул его на место. Это был одновременно вызов и ультиматум, и жрец повернулся на шум, чтобы встретить свою смерть лицом к лицу!

Он вскинул одну руку вверх чуть ли не повелительным жестом, но в тот же миг руки Херстона сомкнулись вокруг него, как стальной обруч, сдавливая его с медленной, непреодолимой силой.

Монгол мог бы сразиться и с более сильным соперником, и теперь он извивался в руках Херстона, отчаянно стараясь высвободиться. Могучие мускулы перекачивались под желтой кожей, как сворачивающаяся и разжимающаяся кобра. Он отчаянно рванул свою набедренную повязку, и его свободная рука взметнулась вверх с кривым ножом, который дважды неудачно опустился, не причинив Херстону вреда.

Люди снаружи навалились на зарешеченную дверь с такой силой, что стекло в верхней половине разлетелось вдребезги. Засов, однако, выдержал. Ларчер просунул руку сквозь оставшиеся осколки, отодвинул засов, и они вдвоем ворвались внутрь.

Внезапно, сделав последнее невероятное усилие, жрец выпрямился во весь рост, едва не сбив Херстона с ног. Снова свет задрожал на ноже, когда лезвие поднялось и опустилось, и мертвый жрец упал навзничь, увлекая за собой Херстона с ножом, застрявшим в спине.

Дрисколл склонился над распростертыми телами, тщетно пытаясь разжать пальцы Херстона, все еще сжимавшие жреца. Крик сорвался с губ девушки, стоявшей рядом с ними, и двое друзей обернулись и посмотрели на нее.

Она стояла, глядя на Херстона с невыразимым чувством; крик, который вырвался у нее, был протяжным, низким индийским плачем по умершим. Ларчер наклонился и опытной рукой вытащил нож, затем повернулся к девушке.

— Не горюй, — сказал он на ее родном языке. — Он будет жить, раз он сумел вернуть тебя.

При этих словах Херстон отпустил священника, повернулся и протянул руки к девушке. Пламя в его глазах погасло — этот человек снова был в здравом уме!

— Дрисколл, — воскликнул Ларчер странно бесцветным голосом, — посмотри вверх, посмотри на свои орхидеи, они думают, что их собираются покормить!

Дрисколл перестал рассматривать поверженного жреца и огляделся по сторонам.

Он побледнел, глядя на происходящее, и оперся рукой о ближайшее дерево, чтобы не упасть.

Множество огромных белых цветов покачивалось на каждой ветви, хрустящих, только что распустившихся! Широко раскрытые, с расправленными лепестками и нетерпеливыми стебельками, они, как счастливые цветы поворачиваются к солнцу, вытянули свои лица к мертвому жрецу на полу.

Амброз Бирс

Лоза у дома

Примерно в трех милях от Нортон, небольшого городка в Миссури, у дороги, ведущей в Мейсвилл, стоит старый дом, в котором раньше жила семья, носящая фамилию Хардинг. С 1886 года в нем никто не живет, и непохоже, что кто-нибудь собирается поселиться там снова. Время и неприязнь живших поблизости людей превратили его мало-помалу в живописные развалины. Человек, незнакомый с историей дома, вряд ли отнес бы его к разряду «домов с привидениями», но именно такая слава шла о нем в округе. В окнах не было стекол, в дверных проемах — дверей, в кровле зияли дыры, а полинявшие обшивочные доски приобрели грязно-серый цвет. Эти безошибочные приметы «плохих» домов частично скрывала и уж точно смягчала обильная зелень, пущенная мощной лозой и полностью опутавшая дом. Какому растению принадлежала лоза — на этот вопрос не смог бы ответить ни один ботаник, но именно она сыграла важную роль в истории этого дома.

Семейство Хардинга состояло из самого Роберта Хардинга, его жены Матильды, ее сестры мисс Джулии Уент и двух маленьких детей. Роберт Хардинг был молчаливый, закрытый человек, не имевший друзей среди соседей, да и не стремившийся их иметь. Сорокалетний мужчина, трудолюбивый и экономный, жил на доход с небольшой фермы, теперь густо заросшей кустарником и ежевикой. Хардинга и его свояченицу соседи не одобряли, считая, что те много времени проводят вместе, хотя никакой особенной вины за ними не было и они совсем не таились. Но моральный кодекс сельских жителей Миссури взыскателен и суров.

Миссис Хардинг была добрая женщина с печальными глазами, и у нее отсутствовала левая ступня.

В 1884 году стало известно, что она поехала погостить к матери в Айову. Так отвечал муж в ответ на расспросы, но его тон не располагал к дальнейшему продолжению разговора. Больше ее не видели, а через два года, не продав ферму или что-нибудь из имущества, не оставив доверенного лица, которое бы следило за его интересами, и не взяв ничего из нажитого добра, Хардинг с оставшимися домочадцами уехал из этих мест. Никто не знал — куда, но тогда это никого

не интересовало. Вскоре то, что можно было вынести, пропало, и стало считаться, что заброшенный дом посещается призраками.

Четыре или пять лет спустя летним вечером священник Дж. Грубер из Нортон и адвокат Хайат из Мейсвилла повстречались как раз перед усадьбой Хардинга. Оба ехали верхом, а так как им было о чем поговорить, то они спешили, привязали лошадей и, подойдя к дому, сели на крыльцо. Пошутив над мрачной репутацией места, они тут же выбросили досужие домыслы из головы и проговорили об общих делах почти до самой темноты. Вечер был душный, а воздух спертый.

Вдруг мужчины вскочили на ноги от неожиданности: длинная лоза, закрывавшая половину фасада дома, чьи ветки раскачивались над их головами, вдруг пришла в движение — каждый лист, каждая веточка яростно забились.

— Идет буря! — воскликнул Хайат.

Грубер ничего не ответил, только молча указал собеседнику на соседние деревья: листва на них не колыхалась, даже нежные кончики ветвей, четко обозначенные на ясном небе, были неподвижны. Мужчины быстро сбежали по ступеням туда, где раньше была лужайка, и внимательно осмотрели лозу, которая с этого места была видна целиком и продолжала сотрясаться, хотя никаких видимых причин для этого не было.

— Поедем отсюда, — сказал священник.

И мужчины уехали. Забыв, что их пути лежат в разные стороны, они направились вместе в Нортон, где рассказали о случившемся нескольким небогатым друзьям. На следующий вечер, примерно в то же время, оба с двумя друзьями, чьи имена забыты, снова были на крыльце дома Хардинга. Таинственное явление повторилось: мужчины внимательно следили за лозой, которую трясло как в лихорадке от корней до самой верхушки, и даже их совместные попытки силой сдержать ее ни к чему не привели. Понаблюдав за лозой с час, они вернулись откуда приехали, так ничего и не поняв.

Прошло немного времени, и такое необычное явление возбудило любопытство у всей округи. Днем и ночью толпы народа дежурили у дома Хардинга в надежде «разгадать знак». Похоже, никому это не удавалось, однако рассказы свидетелей были так убедительны, что никто не сомневался в реальности увиденного.

То ли по внезапному озарению, то ли по злому умыслу, но в один прекрасный день поступило предложение — от кого, так никто и не узнал — выкопать лозу, и после долгих споров это было сделано. В земле ничего не нашли, кроме корня, но какой же он был странный!

На расстоянии пяти-шести футов от ствола шириною в несколько дюймов у земли один прямой корень уходил вниз, в рыхлую землю, затем делился на боковые корни, корешки и нити, причудливо переплетенные между собой. Когда их аккуратно очистили от земли, то все увидели необычное образование. Корешки и их сплетения соединились в плотную сетку, поразительно напоминавшую по размеру и очертанию человеческую фигуру. Голова, туловище и конечности — все здесь было, просматривались даже пальцы на руках и ногах; и многие утверждали, что угадывают в сплетении волокон, образующих голову, гротескное подобие лица. Фигура располагалась горизонтально; мелкие корешки сосредоточились на груди.

Чтобы полностью соответствовать человеческой фигуре, этому природному образованию не хватало одной детали. На расстоянии десяти дюймов ниже одного колена нитеобразные волокна, создававшие ногу, резко поворачивали вспять и внутрь, удваиваясь в объеме. У фигуры не было левой ступни.

Напрашивалось одно объяснение — очевидное, но в охватившем всех возбуждении каждый предлагал свое. Конец всем спорам положил окружной шериф, который, как законный надзиратель над брошенным владением, распорядился корень выкопать, а яму вновь засыпать землей.

Дальнейшее расследование выявило только один важный факт: миссис Хардинг никогда не ездила к родственникам в Айову, и они даже не слышали, чтобы она такое плани-

ровала.

О самом Роберте Хардинге и остальных членах семьи ничего не известно. О доме по-прежнему идет плохая слава, а пересаженная лоза стала обычным, вполне благонаправленным растением, под которым может с удовольствием проводить приятный вечер какая-нибудь нервная особа, слушая, как трещит кузнечик, делясь с миром своими вечными открытиями, а в отдалении козодой оповещает всех, что он думает по этому поводу.

Элджернон Блэквуд

Ивы

После Вены, задолго до Будапешта, Дунай достигает пустынных, неприятных мест, где воды его разливаются по обе стороны русла, образуя болота, целую топь, поросшую ивовыми кустами. На больших картах эти безлюдные места окрашены бледно-голубым цветом, который как бы блекнет, удаляясь от берега, и перечеркнуты жирной надписью «Sumpfe», что и значит «болота».

В половодье весь этот песок, галька, поросшие ивой островки почти затоплены, но в обычное время кусты шелестят и гнутся на ветру, подставляя солнцу серебристые листья, и непрерывно колеблющаяся равнина поразительно красива. Ивы так и не становятся деревьями, у них нет ровного ствола, они невысоки, это — скромный куст мягких, округленных очертаний, чей слабый позвоночник отвечает на легчайшее касание ветра, словно трава, и все они вместе непрерывно колыхнутся, отчего может показаться, что поросшая ивой равнина движется сама по себе, будто живая. Ветер гонит по ней волны — листвы, не воды, — и она похожа на бурное зеленое море, когда же листья подставят солнцу обратную сторону — серебристое.

Собственно говоря, такая чарующая пора начинается у реки вскоре после Пресбурга. Вместе с поднимающейся водой мы доплыли туда примерно в середине июля на канадской байдарке, с палаткой и сковородой на борту. В то самое утро, когда небо еще только алело перед рассветом, мы быстро проскользнули сквозь спящую Вену, и часа через два она стала клубом дыма на фоне голубых холмов, где раскинулся Венский лес. Позавтракали мы в Фишераменде, под березами, и поток понес нас мимо Орта, Хайнбурга, Петронела (у Марка Аврелия это Карнунтум), под хмурые отроги Малых Карпат, где речка Морава спокойно впадает в Дунай с левой стороны, а путник пересекает венгерскую границу.

Скорость наша была километров двенадцать в час, мы быстро углубились в Венгрию, где мутные воды, верный знак

половодья, кидали нас на гальку и пробкой крутили в водоворотях, пока башни Пресбурга (по-здешнему — Пожони) не показались в небе. Байдарка, словно добрый конь, пронеслась под серой стеною, не задела в воде цепей парома, который называют Летучим Мостом, резко свернула влево и, вся в желтой пене, просто врезалась в дикий край островов, песка, болот — в страну ив.

Изменилось все сразу, внезапно, словно картинки в биоскопе показывали улицы и вдруг, без предупреждения, явили озеро и лес. Мы влетели, как на крыльях, в пустынные места и меньше чем за полчаса оказались там, где не было ни лодок, ни рыбачьих хижин, ни красных крыш — словом, даже признака цивилизации.

Полдень миновал недавно, однако мы уже устали от беспрерывного, сильного ветра и принялись подыскивать место для ночевки. Но пристать к этим странным островкам было нелегко — река то кидала нас к берегу, то относила обратно; ивы царапали руки, когда мы пытались, схватившись за них, остановить байдарку, и немало песка столкнули мы в воду, прежде чем ветер, ударив сбоку, загнал нас в маленькую заводь и мы, в облаке брызг, втянули на берег нос нашего суденышка. Потом мы полежали, смеясь и отдуваясь, на жарком желтом песке, под раскаленным солнцем, безоблачным небом. Огромное воинство ивовых кустов укрывало нас от ветра; ивы плясали вокруг нас, сверкая каплями воды и шурша так громко, словно аплодировали нашему усеху.

— Ну и река! — сказал я другу, припомнив весь наш путь от самого Шварцвальда.

Думал я о долгом былом пути и о том, как далеко еще до Черного моря, и, наконец, о том, как повезло мне со спутником, другом моим, шведом.

Мы не в первый раз путешествовали вместе, но эта река сразу поразила нас тем, какая она живая. Потом, уже ночью, лежа в палатке, мы слышали, как она поет песню луне, особому присвистывая, — говорят, это от того, что по дну катятся камешки, гонимые очень быстрым течением.

Солнце еще не село, до темноты оставалось часа два.

Друг мой сразу уснул на прогретом песке, я пошел осматривать местность. Остров оказался примерно в акр длиной; собственно, это была песчаная полоска, возвышающаяся фута на два-три над уровнем реки.

Я постоял на берегу несколько минут, глядя, как пурпурные воды, громко ревя, налетают на берег, словно хотят его унести, и разбиваются на две пенные струи. Песок ходил ходуном, вздрагивала земля, ивовые кусты метались на ветру, и казалось, что остров движется. Словно стоя на холме, лицом к вершине, я видел мили на две, как несется ко мне река, белая от пены, то и дело взлетающей к солнцу.

Остальная часть острова так заросла кустами, что гулять было нелегко, но я обошел его из конца в конец. На другой, восточной стрелке из-за перемены света река казалась темной и лютой. Мелькали самые гребни волн, гонимые ветром. Я подумал, что эти кусты, будто огромная губка, всасывают реку.

Что ни говори, зрелище было поразительное, и, стоя в этом одиноком, пустынном месте, долго и жадно любуясь дикой красотой, я с удивлением ощутил, что в самых глубинах души рождается незванное, необъяснимое и беспокойное чувство.

Наверное, река в половодье всегда внушает тревогу. Я понимал, что к утру многих островков не будет; неударжимый, грохочущий поток будил благоговейный ужас; однако беспокойство мое лежало глубже, чем удивление и страх. Я чувствовал, что оно связано с нашим полным ничтожеством перед разгулявшимися стихиями. Связано это было и со вздувшейся рекой — словом, подступало неприятное ощущение, что мы ненароком раздражили могучие и грубые силы. Именно здесь они вели друг с другом великанью игру, и зрелище это будило фантазию.

Конечно, откровения природы всегда впечатляют, я это знал по опыту. Горы внушают трепет, океаны — ужас, тайна огромных лесов околдовывает нас.

А вот эти сплошные ивы вызывали другое чувство. Что-то исходило от них, томило сердце, будило благоговение, но как бы и смутный ужас. Кущи вокруг меня становились все

темнее, они сердито и вкрадчиво двигались на ветру, и во мне рождалось странное неприятное ощущение, что мы вторглись в чужой мир, мы тут чужие, незваные, нежеланные, и нам, быть может, грозит большая опасность.

В середине острова я нашел небольшую впадину, там мы и поставили палатку. Кольцо ивовых кустов немного преграждало путь ветру.

— Ну что это за лагерь! — проворчал швед, когда палатка, наконец, встала как следует. — Нет камней, мало хвороста... Снимемся-ка пораньше, а? На этом песке ничего толком не устроишь.

Потом мы отправились собирать хворост, чтобы хватило до ночи. Берега мы прочесали со всей тщательностью; они повсюду крошились, река с плеском и рокотом уносила большие куски.

— Остров стал куда меньше, — сказал наблюдательный швед. — Долго он не продержится. Подтащим-ка байдарку к самой палатке и приготовимся уйти по первому знаку. Я буду спать не раздеваясь.

Шел он немного позади, ивы скрывали его.

— Что ж это? — услышал я его встревоженный голос.

Я подбежал к нему по кромке песка. Он глядел на реку и куда-то указывал.

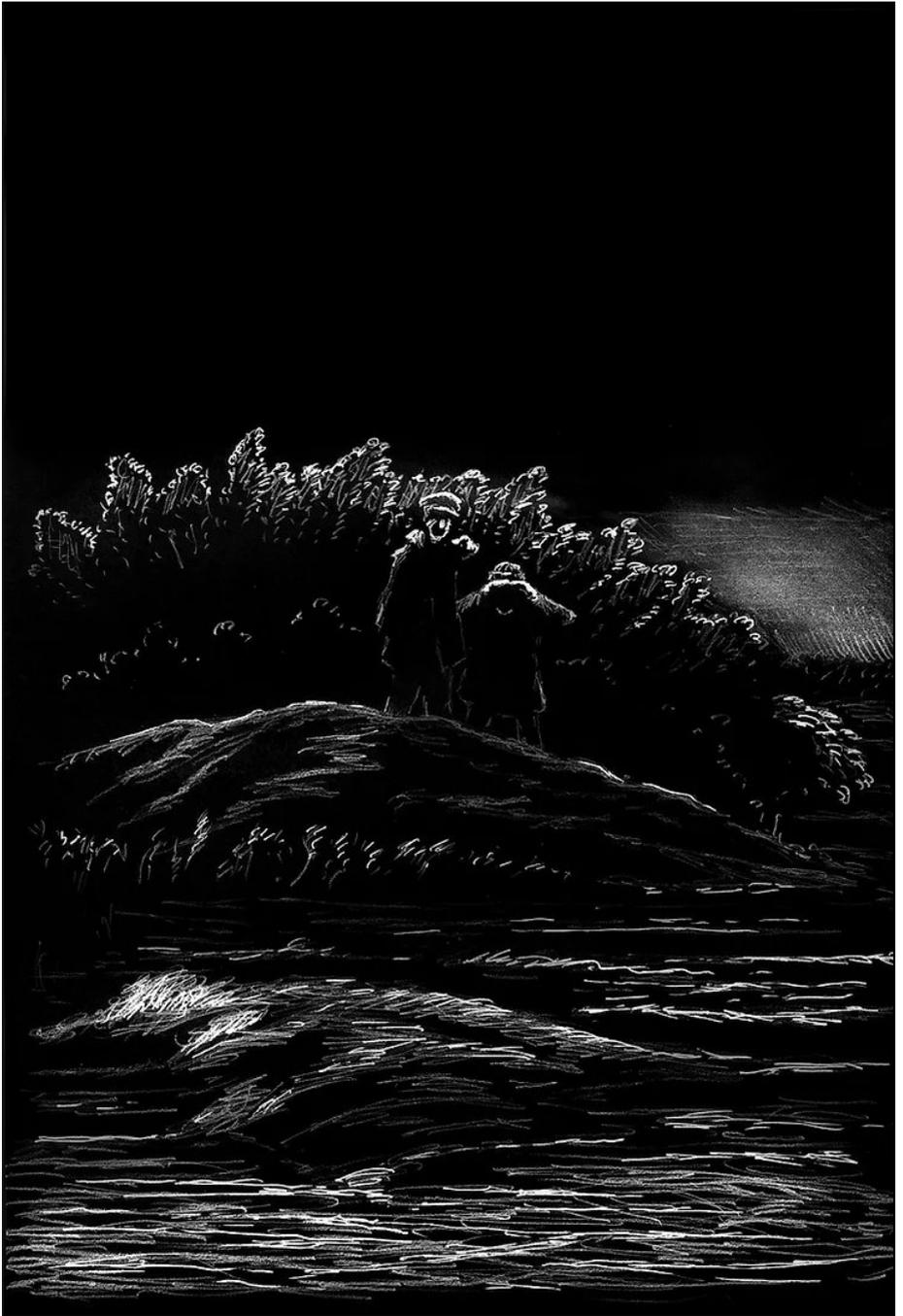
— Да это мертвое тело! — вскрикнул он. — Ты посмотри!

Что-то кувыркалось на пенистых волнах, несущихся мимо, то исчезало, то выныривало, футах в двадцати от берега; когда же поравнялось с нами, перевернулось и посмотрело прямо на нас. В странных желтоватых глазах отразилось солнце, они сверкнули — и загадочное существо, нырнув под воду, исчезло с быстротой молнии.

— Выдра! — закричали мы разом, громко смеясь.

Много ниже по течению она вынырнула снова, мелькнула и сверкнула на солнце черной влажной спинкой.

Мы собрались нести к палатке наши дрова, но случилось еще одно происшествие. На сей раз это вправду был человек, больше того — человек в лодке. Такое нечасто увидишь на Дунае, да еще в половодье.



То ли косые лучи, то ли отблески дивно освещенных вод, то ли еще что мешало мне толком увидеть летящее чудо. Кажется, это была плоскодонка, в ней стоял человек с одним веслом, он греб, и лодка с безумной скоростью неслась мимо берега. Смотрел человек на нас, но расстояние и свет не давали нам разобрать, чего он хочет. Мне показалось, что он делает какие-то знаки, долетел и голос: кричал человек сердито, но из-за ветра мы не услышали слов.

— Да он перекрестился! — воскликнул я.

— Вроде ты прав, — сказал мой друг, глядя из-под руки на исчезающее видение. Пропало оно как-то сразу, растворилось в ивах там, где солнце обратило их в алую стену несказанной красоты. К тому же поднимался туман.

— Что же он тут делает в половодье, да еще вечером? — тихо спросил я. — Куда плывет в такой час, почему кричит, почему перекрестился? Как ты думаешь, он хотел нас о чем-то предупредить?

— Увидел дым от трубок и решил, что мы духи, — засмеялся мой спутник. — Они тут верят во всякую ерунду. Помнишь, лавочница в Пресбурге говорила, чтобы мы не сходили на берег, потому что эти места принадлежат каким-то неземным существам? Наверное, здешние жители верят в фей, а то и в бесов. Наш крестьянин никогда не видел людей на этих островах, — прибавил он походя, — вот и перепугался.

Тон его меня не убедил, да и сам мой приятель как-то изменился.

Дальше беседа не пошла, мы вернулись к костру, друг мой вообще не любил романтических разговоров. Помню, я даже обрадовался, что у него нет воображения; мне стало уютней и спокойней рядом с таким надежным, земным человеком. «Какой прекрасный нрав», — подумал я; и впрямь, он вел байдарку не хуже индейца, вниз по стремнине, проносясь под мостами и над водоворотами. Да я никогда не видел, чтобы белый человек так правил лодкой. Он был прекрасным спутником в опасных путешествиях, истинной опорой. Я взглянул на его сильное лицо, на светлые кудрявые волосы, на охалку дров вдвое больше моей и почувствовал облегчение.

— А река-то поднимается, — сказал он, словно следуя какой-то мысли, и, переведя дыхание, бросил охапку на песок. — Если так пойдет, остров будет под водой дня через два.

— Хорошо бы ветер улегся, — сказал я. — А река, Бог с ней!..

Реки мы не боялись, сняться могли минут за десять, половодье нам даже нравилось — течение быстрее, и нет коварных отмелей, нередко грозивших оторвать дно байдарки.

Против наших ожиданий, ветер с закатом не утих. Он вроде бы стал сильнее во мраке, тряс ивы, как солому, ревел над головой. Иногда раздавался странный звук, словно стреляли из винтовки, и особенно сильный порыв ударял по острову. Мне казалось, что такие звуки издает Земля, двигаясь сквозь космос.

Небо, однако, было чистым, вскоре после ужина на западе взошла луна и осветила шумящие ивы ясным, дневным светом.

Мы лежали у огня, на песке, курили, слушали ночные звуки и мирно, радостно говорили о пройденном пути и о наших планах. Костра хватало, чтобы видеть друг друга; искры, словно фейерверк, летали над головой. В нескольких ярдах от нас раздавался шум воды, а громкий всплеск возвещал, что унесло еще один кусок берега.

Говорили мы, я заметил, о давних стоянках и событиях, происходивших еще в Шварцвальде или о чем-нибудь другом, тоже далеко, только не о нынешнем, словно молча условились не обсуждать того, что происходит. Мы не помянули ни единым словом ни выдру, ни гребца, хотя, казалось бы, могли толковать об этих происшествиях весь вечер.

Одиночество этих мест пропитало нас до костей, тишина казалась естественной, голоса наши — слишком громкими, не совсем реальными; я ощущал, что надо бы перейти на шепот, что человеческий голос, всегда нелепый в реве стихий, уже не очень уместен, словно мы в храме, где следует говорить потише. И, кроме того, это опасно.

Одиноким остров, весь в ивах, под ударами ветра, среди несущихся вод, внушал нам обоим какой-то суеверный ужас: нетронутый людьми, почти не известный людям, лежал он

в лунном свете, и чудилось, что здесь проходит граница иного, чуждого мира, где обитают только ивы да души ив. А мы дерзнули сюда ворваться, что там — использовать остров для себя! Наконец, в последний раз я поднялся, чтобы идти за дровами.

— Когда это все прогорит, — твердо сказал я, — лягу спать.

Над головой резко закричала ночная птица; я чуть не упал — река отломила кусок берега, он с всплеском рухнул в воду, а я успел отскочить. Припомнив, как друг мой говорил, что утром надо уйти, я согласился с ним — и, удивленно обернувшись, увидел его самого. За шумом ветра и воды я не заметил, что он подошел вплотную.

— Тебя очень долго не было, — крикнул он сквозь ветер. — Я думал, что-то случилось.

Голос его и взгляд сказали мне больше, чем слова; я мигом понял, почему он тут. Чары этих мест проникли и в его душу.

— Река все поднимается, — продолжал он, указывая на волны, сверкавшие в лунном свете. — А ветер просто ужасный.

Он все говорил одно и то же, но на самом деле то был крик одиночества, мольба о помощи, потому меня и тронули эти обыденные фразы.

— Хорошо, — закричал я в ответ, — хорошо хоть палатка прикрыта, она продержится.

— Хорошо, если уйдем без беды! — отозвался друг.

Мы вернулись к костру и разожгли его напоследок, пошевелив угли ногой. Потом еще раз огляделись. Если бы не ветер, жара была бы тяжелой. Я об этом сказал, а друг мой, помню, удивил меня своим ответом: лучше какая угодно жара, все же июль, чем этот «чертов ураган».

Все было готово к ночи. Байдарка лежала у палатки днищем вверх, оба желтых весла — под ней, мешок с едой висел на иве, чистые тарелки мы убрали подальше от кострища, засыпали его для верности песком и легли. Брезентовую полу мы не опустили; я видел ветки, звезды и лунный свет. Ивы метались, ветер гулко ударял в наши утлые стены, и тут пришел сон, окутав нас легкой пеленой забвения.

Внезапно я понял, что не сплю и гляжу на небо со своего песчаного матраса. Я посмотрел на часы и увидел в лунном свете, что полночь миновала, начались новые сутки. Значит, проспал я часа два. Спутник мой лежал рядом; ветер выл, как прежде; что-то кольнуло меня в сердце.

Быстро присев, я выглянул наружу. Ивы метались на ветру, но наш углый приют, наш зеленый домик был в безопасности: не встречая препятствий, ветер проносился над ним. Беспокойство мое, однако, не проходило. Я тихо вылез из палатки посмотреть, не случилось ли чего с нашими вещами. Двигался я очень осторожно, чтобы не разбудить друга, но странное возбуждение овладело мной.

На полпути я заметил, что у шевелящихся крон какие-то другие очертания; я присел и вгляделся. Вопреки всякой вероятности, передо мной и немного повыше виднелись зыбкие фигуры, и ветви, колыхаясь на ветру, словно бы очерчивали их.

Мало-помалу я разглядел, что фигуры эти — в самых кронах ив. Большие, бронзового цвета, они двигались сами по себе, независимо от деревьев. Тут же я понял, что они ненамного больше человека, но что-то мне подсказало, что передо мной не люди. Я был уверен, что дело не в движении веток и света. Они шевелились сами, они поднимались и струились от земли к небу и мгновенно исчезали, достигнув тьмы. Мало того, они переплетались друг с другом, образуя какой-то столп; тела, ноги, руки сливались и разъединялись, и получался извилистый поток, закручивающийся спиралью, содрогающийся и трепещущий, как ивы под ветром. Текучие, обнаженные, они проходили сквозь кусты, меж листьев и живой колонной устремлялись ввысь.

Страха я не чувствовал, мною овладело небывалое, благоговейное удивление. Казалось, я вижу олицетворенные силы стихий, обитающие в этом древнем месте. Вторжение наше растревожило их. Это мы нарушили покой. В памяти роились легенды о духах и богах места, которых признавали и

почитали во все века. Но прежде чем я подыскал мало-мальски годное объяснение, что-то побудило меня двинуться дальше. Я выполз на песок и встал. Босые ступни ощутили неостывший жар; рев реки ударил в уши. Песок и река были реальны, я убедился, что чувства мне не изменили. Однако фигуры по-прежнему струились к небу, тихо и величаво, мягкой и могучей спиралью, от самого вида которой рождалось глубокое, истинное благоговение. Я чувствовал, что надо упасть и молиться им, просто молиться.

Быть может, я бы так и сделал, но порыв ветра налетел на меня с такой силой, что я покачнулся и с трудом устоял на ногах. Сон, если это был сон, из меня выбило. Во всяком случае, теперь я видел иначе. Фигуры не исчезли, они поднимались к небу из самого сердца тьмы, но разум, наконец, вступил в свои права. Это — субъективное ощущение, думал я. Лунный свет и ветки вместе проецируют такие фигуры на экран воображения, а я почему-то проецирую их обратно, вот они и кажутся объективными. Да, конечно, все так; я пал жертвой очень интересной галлюцинации. Набравшись храбрости, я двинулся дальше по песку.

Темный поток долго струился к небу и был реален в той мере, какую поверяют реальность едва ли не все люди. Потом внезапно исчез.

С ним исчезло и удивление, а страх холодной лавиной обрушился вновь. Внезапно я понял сокровенную силу этих одиноких мест. Меня затрясло. Испуганным, почти обезумевшим взглядом я тщетно искал, как уйти, не нашел, увидел, что не могу ничего, тихо вполз в палатку, опустил лоскут ткани, служивший дверцей, чтобы не видеть ив в лунном свете, и укрылся с головой, чтобы не слышать ветра.

3

Снаружи что-то стучало, вернее — постукивало, непрерывно и мелко. Перестук этот, без сомнения, начался давно, и я услышал его сквозь сон. Сейчас я совсем не спал, слов-



но сна и не бывало. Я беспокойно присел; мне казалось, что я дышу с трудом и что-то давит на меня. Ночь была жаркая, но я дрожал от холода. Да, что-то навалилось на палатку, что-то сжимало ее и с боков. Ветер? А может, дождь, или упавшие листья, или брызги с реки, собравшиеся в тяжкие капли? Я быстро перебрал в уме добрый десяток предположений.

И вдруг я понял: ветка дерева, ее свалил ветер. Я поднял тот край, который служил нам дверью, и выбежал, крича моему другу, чтобы он последовал за мной.

Но, выпрямившись, я увидел, что никакой ветки нет. Не было и дождя; не было и капель с реки; мало того — никто к нам не приближался.

Спутник мой не шевельнулся, когда я его окликнул, да и незачем было его будить. Я осторожно и тщательно огляделся, подмечая все: перевернутую лодку; желтые весла (их было два, тут я уверен); мешок с провизией, запасной фонарь (они висели на дереве); и наконец — повсюду, везде, сплошь — трепетные ивы. Птица вскричала поутру, дикие утки длинной цепью шумно летели вдаль в предутренних сумерках. Сухой и колкий песок вился на ветру у моих босых ступней.

Я обошел палатку, заглянул в кусты, поглядел на другой берег, и глубокая, смутная печаль снова накатила на меня.

Я огляделся кругом и едва не вскрикнул. Прежние страхи показались мне просто глупыми.

Все было не таким, как прежде. Кусты! Они оказались намного ближе к палатке. То есть совсем близко, вплотную.

Беззвучно подползая по песку, неслышно, неспешно и мягко, ивы достигли за ночь нашего жилища. Ветер ли гнал их, сами ли они ползли? Я вспомнил мелкий перестук, тяжесть на палатке, тяжесть на сердце, из-за которой проснулся, и едва устоял на ветру, на зыбком песке, словно дерево в бурю.

Спутник мой, судя по всему, крепко спал, и это меня обрадовало. Когда займется день, я смогу убедить себя, что все это — наваждение, ночные выдумки, плоды возбужденной фантазии.

Ничто не побеспокоило меня, и я заснул почти сразу,

бесконечно измотанный, но не утративший страха, что почувствую на сердце мерзкую тяжесть.

4

Солнце стояло высоко, когда мой спутник пробудил меня от тяжкого сна и сообщил, что каша готова, пора купаться. В палатку сочился приятный запах поджаренного бекона.

— Река все поднимается, — сказал мой друг, — многие островки исчезли. Да и наш куда меньше.

— Дрова еще есть? — сонно спросил я.

— И дрова, и остров кончатся завтра, одновременно, — засмеялся он. — До тех пор хватит.

Я нырнул в воду с самой стрелки острова, который и впрямь уменьшился за ночь. Купание взбодрило меня, былые страхи вымылись, испарились. Солнце сверкало, я не видел ни единого облачка, но ветер не утихал.

Вдруг я понял слова моего друга. Он решил остаться, он не спешит! «До тех пор хватит...», до утра, значит. Другими словами, мы пробудем на острове еще одну ночь. Я удивился. Вчера он говорил иначе. Почему же он передумал, что случилось?

Пока мы завтракали, от берега отрывало целые куски. Со вчерашнего вечера мой спутник как-то странно изменился: то ли он волновался, то ли смущался, то ли что-то подозревал. Сейчас я просто не знаю, как это описать, некогда, тревожась, я знал одно: он испуган!

Съел он очень мало, почти не курил. Разложив рядом карту, изучил отметки на ней.

— Лучше бы нам поскорее уйти, — сказал я и с неприятным удивлением услышал:

— Лучше-то лучше, если пустят.

— Кто? — как можно бесстрастней спросил я. — Стихии?

— Силы этого жуткого места, — ответил он, глядя на карту. — Если есть на свете боги, это они.

— Только стихии бессмертны, — откликнулся я с самым естественным смехом, но спутник мой, швед, серьезно взглянул на меня сквозь дым костра и проговорил:

— Нам очень повезет, если мы уйдем невредимыми.

Именно этого я и боялся, но никак не мог задать прямой вопрос. Так собираешься вырвать зуб — ничего не поделаешь, надо, но откладываешь, медлишь...

— А что такое случилось? — наконец спросил я.

— Ну, — спокойно ответил он, — во-первых, нет одного весла.

— Нет весла! — повторил я в испуге, потому что мы правили им, как рулем, а плыть без руля по Дунаю в половодье — неминуемая смерть. — Как же так...

— И в лодке нашей течь, — прибавил он, и голос его дрогнул.

Спутник мой встал и повел меня к байдарке. Она лежала ребрами вверх, между костром и палаткой, так же, как недавно, ночью.

— Только одно, — сказал друг, наклоняясь, чтобы его поднять. — А вот и дыра в днище.

Я чуть не признался, что несколько часов назад ясно видел два весла, но передумал и подошел поближе.

В самом дне байдарки зияла ровная щель, словно кто-то аккуратно вынул полоску дерева, или острый камень пропорол нашу лодку во всю длину.

— Хотели приготовить жертву к закланию... нет, две жертвы, — сказал швед, наклонившись и ощутив трещину.

Когда я совсем не знаю, что делать, я свищу, засвистал и тут, как бы не замечая его слов.

— Ночью ее не было, — сказал он, выпрямился и посмотрел куда-то, не на меня.

— Это мы и пропороли, когда втаскивали на берег, — сказал я, перестав на минуту свистеть. — Камни такие острые...

И умолк, ибо он, повернувшись, взглянул мне прямо в глаза. Я и сам прекрасно знал, что говорю чушь. Начнем с того, что камней здесь вообще нет.

— Понятно!.. — констатировал он и скрылся в кустах.

Оглядевшись кругом, я впервые заметил в песке глущо-

кие вмятины, побольше и поменьше, одни — как чайная чашка, другие — как чаша. Конечно, маленькие кратеры выдул ветер, тот же самый, что поднял и бросил в воду весло. Одного не мог он сделать — трещины в байдарке, хотя лодку и впрямь могло пропороть камнем. Я осмотрел берег, что не пошло на пользу этой гипотезе, но за нее ухватилась та убывающая часть сознания, которая именуется «разумом». Я хотел непременно все объяснить, как хочет объяснить мироздание — пусть глупо, пусть нелепо — тот, кто стремится жить по правде и по долгу. Тогда мне казалось, что сравнение это очень точное.

Не теряя ни минуты, я поставил на огонь смолу, хотя в самом лучшем случае байдарка была бы готова только завтра. Мой друг помогал мне, и я со всей небрежностью обратил его внимание на следы.

— Да, — сказал он, — знаю. Они по всему острову. Ну, их-то ты объяснишь?

— Ветер, — сразу откликнулся я.

Швед не ответил, мы поработали молча. Я тихонько следил за ним, и, видимо, он — за мной. Он долго молчал, потом заговорил так быстро, словно ему хотелось поскорее от чего-то избавиться:

— Странная штука... ну, со вчерашней выдрой.

Я ждал совсем другого и удивленно взглянул на него.

— Как ты считаешь, это и вправду выдра?

— Господи, а что же еще?

— Понимаешь, я первый ее увидел, и она... она сперва была куда больше...

— Солнце садилось сзади, — предположил я. — Ты смотрел туда, вверх по течению.

Он секунду-другую глядел на меня, не видя, словно думал о чем-то ином.

— И глаза странные, желтые... — продолжал он как бы про себя.

— Тоже от солнца, — засмеялся я оживленней, чем надо.

— Ты еще станешь гадать, кто тот человек в лодке...

Вдруг я решил не кончать фразы. Он снова вслушивался, подставив ухо ветру, и лицо у него было такое, что я за-

молчал. Так разговор и оборвался; друг вроде бы не заметил этого, но минут через пять, стоя над лодкой с дымящейся смолой в руке, серьезно взглянул на меня.

— Вот именно, — медленно произнес он. — Если хочешь знать, я гадал, кто это там, в лодке. Тогда я подумал, что это не человек. Как-то все быстро появилось, словно вынырнуло из воды...

— О, Господи! — закричал я. — Тут и так странностей хватает! Чего еще выдумывать? Лодка как лодка, человек как человек, плыли они вниз по течению, очень быстро. И выдра как выдра, не дури!

Он все так же серьезно глядел на меня, не обижаясь, не отвечая, и я набрался храбрости.

— Да и вообще, — продолжал я, — не выдумывай ты, ради Бога. Ничего нет, только река и этот чертов ветер.

— Дурак, — отвечал он приглушенно и тихо. — Нет, какой дурак! Именно так и рассуждают все жертвы. Как будто ты сам не понимаешь!.. — презрительно, но и покорно проговорил он. — Лучше сиди потише, сохраняя разум. Не обманывай себя, не старайся, хуже будет, когда придется увидеть все, как есть.

Ничего у меня не вышло, я не знал, что сказать, он был прав, а я был дурак — не он, я. Тогда он легко обгонял меня, а я, вероятно, обижался, что отстаю, что не так чувствителен к необычному и не вижу, что творится под самым моим носом. По-видимому, он знал с самого начала. Но тогда я просто не понял, что он такое говорит о жертве и почему именно мы с ним на что-то обречены. С этих минут я перестал притворяться, однако с этих же минут страх мой умножился.

— А вот в одном ты прав, — все-таки прибавил он, — лучше нам об этом не говорить, мало того, не думать, ведь мысль выражается в словах, слова — в событиях.

Засветло мы прикрыли лодку непромокаемым чехлом, а наше единственное весло спутник мой крепко привязал к кусту, чтобы и его не украл ветер. С пяти часов я стряпал обед — сегодня была моя очередь — и в котелке, где осталась толстый слой жира, тушил картошку с луком, положив

туда для вкуса немножко бекона и черного хлеба. Получилось очень вкусно. Еще я сварил с сахаром сливы и сделал настоящий чай, у нас было к нему сухое молоко. Рядом, под рукой, лежала куча хвороста, ветер утих, работа меня не утомляла. Товарищ мой лениво глядел на все это, чистил трубку, давал ненужные советы — что же делать человеку, когда он не дежурит. Утром и днем он был тих, спокоен, чинил нашу лодку, укреплял палатку. Мы больше не говорили о неприятном.

Рагу начинало кипеть, когда я услышал, что он зовет меня с берега. Я и не заметил, как он ушел; а сейчас побежал к нему.

— Иди-ка сюда, — говорил он, держа ладонь у самого уха. — Послушай и посуди, что тут такое.

И, глядя на меня с любопытством, прибавил:

— Теперь слышишь?

Мы стояли и слушали. Сперва я различал только гулкой голос воды и шипение пены. Ивы застыли и затихли. Потом до меня стал доноситься слабый звук, странный звук, вроде далекого гонга. Казалось, он плывет к нам во тьме от дальних ив, через топи. Прерывистый — но не колокол и не гудок парохода. Я ни с чем не сравню его, кроме огромного гонга, звенящего где-то в небе, непрерывно повторяя приглушенную и гулкую ноту, мелодичную и сладостную. Сердце у меня забилося.

— Я весь день это слышу, — сказал мой спутник. — Когда ты спал, звенело повсюду, по всему острову. Я искал и гадал, но никак не мог найти, откуда эти звуки. То они были наверху, то внизу, под водой. А раза два звенело внутри, во мне самом, понимаешь... не снаружи, а словно бы в другом измерении.

Я слишком растерялся. Мне все не удавалось отождествить эти звуки с чем бы то ни было знакомым. Они ускользали, приближались, терялись вдалеке. Я не назвал бы их мрачными, скорее они мне нравились, но должен признать, что они чем-то удручали, и я был бы рад, если бы их не слышал.

— Ветер воет в песчаных воронках, — сказал я, чтобы

как-то все объяснить, — а может, кусты шумят после бури.

— Они идут с болота, — отвечал мой друг, пренебрегая моими словами. — Они идут отовсюду. Вроде бы из кустов...

— Ветер утих, — возразил я. — Ивы не могут шуметь, правда?

Ответ меня испугал — и потому, что я именно его боялся, и потому, что я знал чутьем: так и есть.

— Мы потому и слышим их, что ветер утих, — сказал он. — По-моему, это плачет...

Я отпрянул к костру: судя по запаху, стряпня моя была в опасности.

— Иди сюда, нарежь еще хлеба, — позвал я друга, бодро помешивая варево. Трапезы сохраняли нам душевное здоровье.

Он медленно подошел к дереву, снял мешок, заглянул в его потаенные глубины и вывалил все, что там было, на полотнище брезента.

— Тут ничего нет! — заорал он, держась за бока.

— Да хлеба! — повторил я.

— Нет. Нет здесь хлеба. Забрали!

Уронив поварешку, я кинулся к брезенту. На нем лежало все, что было в мешке, но хлеба я не увидел. Страх всею тяжестью упал на меня, я покачнулся — и расхохотался. Что же еще оставалось делать? Услышав свой смех, я понял, почему смеется мой спутник — от отчаяния. Замолчали мы тоже внезапно, оба одновременно.

— Какой же я дурак! — крикнул я, все еще не сдаваясь. — Нет, это непростительно! Я совершенно забыл купить в Пресбурге хлеба. Эта женщина все болтала, и я, наверное, оставил на прилавке...

Ужин у нас был мрачный, ели мы молча, не глядя друг на друга и не подкладывая веток в огонь. Потом мы помыли посуду, приготовили все к ночи, закурили. Станный звук, который я сравнил бы с гонгом, почти не умолкал, тишина непрестанно звенела, и тихий звон не распадался на отдельные ноты. Чаще всего звенело над головой, словно крылья рассекали воздух, а вообще-то звук этот был повсюду, он просто обложил нас со всех сторон. Описать его невозможно, я

не найду подобия приглушенному звону, обволакивающему пустынный край болот и низеньких ив.

Когда этот «гонг» зазвенел громче обычного, прямо над головой, друг проговорил:

— Такого звука никто не слышал. Его нельзя описать... разве что так: он нечеловеческий, не ведомый людям.

Страх вновь овладел мною. Он словно рождался из древнего ужаса, что глубже самых жутких воспоминаний или фантазий. Мы сбились с пути, сбились и забрели туда, где очень опасно, но понять ничего нельзя; туда, где рядом границы какого-то неведомого мира. Завеса между мирами истончилась именно здесь; через это место, как через скважину, глядят на землю неземные невидимые существа. Если мы задержимся здесь, нас перетащат за эту завесу, лишат того, что мы зовем «нашей жизнью», только не физически, а через разум, через душу. В этом смысле мы и станем, как сказал мой спутник, жертвами.

Мелочи свидетельствовали о том же, и сейчас, в тишине, у костра, их нетрудно было заметить. Самый воздух усилил все и странно исказил — выдра в реке, перекрестившийся гребец, ползущие ивы утратили свою естественную суть и обрели суть иную, нездешнюю. Изменение это было новым не только для меня, но и для них, для всех. Люди еще не знали такого. Поистине мы видим другой порядок бытия, неземной в прямом смысле слова.

Загорелое, обветренное лицо друга стало совершенно белым. И все-таки из нас двоих он был сильнее.

— Бежать бесполезно, — он высекал слова тоном врача, устанавливающего диагноз. — Лучше сидеть и ждать. Это не физические силы. Те, кто здесь, рядом, махом убьют стадо слонов. Спасение у нас одно — сидеть тихо. Может быть, нас спасет то, что мы ничтожны, незаметны.

В моей голове пронесся рой вопросов, но слов я не нашел.

— Понимаешь, они знают, что мы здесь, — продолжал он, — но не нашли нас, не засекли, как теперь говорят. Вот и пробуют, ищут, как, например, ищем мы, где утечка из газовых труб. Весло, байдарка, еда именно это и доказывают.

Наверное, они чувствуют нас, но не могут разглядеть. А чувствуют они наше сознание. Значит, оно должно быть как можно тише. Надо следить за мыслями, иначе нам конец.

— Ты хочешь сказать «смерть»? — еле выговорил я, холодея от ужаса.

— Нет, куда хуже, — ответил он. — Смерть — это уничтожение, или, если ты веришь, освобождение из плена чувств. Сам ты не меняешься, если тела уже нет. А тут — изменишься, станешь другим, потеряешь себя. Это гораздо страшнее смерти, тебя даже не уничтожат. Мы по случайности разместились в том самом месте, где их мир соседствует с нашим, завеса тут очень тонка, она протерлась... вот они и знают, что мы где-то здесь.

— Кто это знает? — спросил я.

Я забыл о том, что ивы трепещут без ветра, и о том, что наверху, над головой, что-то звенит, — я обо всем забыл, кроме ответа, которого ждал и боялся свыше всякой меры.

Ответил он тихо, слегка склонившись над огнем, а лицо его так странно изменилось, что я стал глядеть в землю.

— Всю жизнь, — сказал он, — я остро чувствовал, что есть другой мир. Не далекий, просто другой. Там все время творится что-то важное, куда-то проносятся страшные существа, и по сравнению с их делами расцвет и упадок наших стран, судьба империй, армий, континентов — прах и пыль. Понимаешь, дела эти связаны с душой напрямую, а не косвенно, не с тем, в чем она себя выражает...

— Наверное, сейчас... — начал я, ибо мне показалось, что он сошел с ума. Однако поток его речи нельзя было остановить. Он говорил:

— Ты думаешь, это духи стихий, а я думал — это боги. Но сейчас скажу — оба мы не правы. И богов, и духов можно понять, они общаются с людьми, связаны с ними в жертве и молитве. А эти существа совершенно чужды людям, и мир их граничит здесь с нашим по чистой случайности.

Все это почему-то было убедительно, но мысль об этом — в тишине, в темноте, на заброшенном острове — так пугала меня, что я вздрогнул.

— Что же ты предлагаешь? — снова начал я.

— Заклание, — продолжал он, — жертва может спасти нас, отвлечь их, пока мы не уйдем. Так бросают волкам собаку, только... нет, не вижу, каким образом здесь можно принести жертву.

Я глупо глядел на него. Глаза его жутко светились. Он немного помолчал, потом произнес:

— Конечно, это все ивы. Ивы скрывают их, но они нас вынюхивают. Если заметят, что мы боимся, нам конец, мы пропали. — И он так спокойно, твердо, просто взглянул на меня, что я уже не мог усомниться в его нормальности. Он был совершенно здоров.

— Продержимся эту ночь, — прибавил он, — тогда сможем уйти незаметно... нет, незамеченно.

— Ты действительно думаешь, что жертва... — еще раз начал я.

Странный звук опустился совсем низко, к нашим головам, но замолчал я не от этого.

— Тише! — прошипел мой друг, подняв руку, и лицо его было поистине страшным. — Не называй их. Назовешь — и расколдуешь, имя — это ключ. Единственная надежда — не замечать их, тогда и они нас не заметят.

Я помешал в костре, чтобы тьма не завладела всем. Никогда не тосковал я по солнцу так отчаянно, как тогда, в жуткой летней ночи.

— Ты не спал прошлую ночь? — внезапно спросил он.

— Плохо, и то уже на рассвете, — осторожно ответил я, пытаясь выполнить его наказ, судя по всему, правильный. — Конечно, при таком ветре...

— Да, да, — прервал он. — А другие звуки?

— Значит, ты их слышал? — удивился я.

— Шажки и перестук, — сказал он и, поколебавшись, прибавил: — И тот звук, другой...

— Над палаткой? — уточнил я. — Когда на нас что-то навалилось?

Он многозначительно кивнул.

— Как будто мы стали задыхаться... — уточнил я снова.

— Да, в каком-то смысле, — согласился он. — Мне показалось, что воздух потяжелел... страшно потяжелел, вот-

вот раздавит.

— А это? — не унимался я, твердо решив вымести все из головы и показывая пальцем вверх, туда, где гудел невидимый гонг, утихая иногда, словно ветер.

— Это их звук, — прошептал мой спутник. — Звук их мира. Перегородка очень тонкая, он как-то просачивается. Вслушайся получше, он не сверху, он всюду. Он в этих ивах. Ивы и гудят, здесь они знаменуют враждебные нам силы.

Толком не уяснив, что он хочет сказать, я все-таки с ним соглашался. Мы думали одно и то же, я чувствовал так же, хотя не умел во всем разобраться. Еще мгновение — и я бы проговорился о тех фигурах и ползучих ивах, но он внезапно приблизил лицо ко мне прямо над костром, и я услышал его шепот. Как спокоен был мой спутник, как тверд, как владел собой и событиями! А я-то много лет считал его эмоционально глухим...

— Слушай, — шептал он, — мы должны вести себя как ни в чем не бывало: жить как жили, спать, есть... Притворимся, что мы ничего не чувствуем и не замечаем. Это связано только с сознанием. Чем меньше мы думаем, тем легче уйти. Главное, не думай, мысли сбываются!

— Хорошо, — выговорил я, задохнувшись от его слов и от всех этих странностей, — хорошо, постараюсь, только скажи... Скажи мне, что это за дырки в песке, воронки?

— Нет! — крикнул он, забывшись от волнения. — Я не смею, просто не смею выразить это словами. Если ты сам не угадал, и прекрасно, не старайся. Они объяснили мне, а ты делай все, что можешь, чтобы тебе не объяснили.

Он снова шептал; я не настаивал. Ужаса хватало и так, больше бы я не вынес. Разговор закончился, мы молча, сосредоточенно курили.

И тут что-то случилось, вроде бы мелочь, но когда нервы очень натянуты, большего и не надо. Я стал иначе видеть. Взглянув случайно на свою парусиновую туфлю — они лучше всего для байдарки — я заметил дырочку на носке и вспомнил лондонскую лавку, продавца, который никак не мог найти нужный размер, другие подробности будничной, но полезной покупки — и тут же вернулся здоровый, современный,

скуchnоватый мир, к которому я привык там, дома. Мне представились ростбиф и эль, автомобили, полисмены, дюжина других вещей, воплощавших обыденность, быт. Сказалось это сразу, я даже удивился. Что бы ни послужило причиной, напряжение стало ослабевать.

— Чертов язычник! — заорал я, громко смеясь. — Фантазер! Идиот! Суеверный идоло...

Я остановился — страх накатил снова — и попытался погасить самый звук своего голоса, только бы загладить кощунство. Спутник мой, конечно, тоже услышал странный вопль над нами, во тьме, и ощутил перепад воздуха, словно что-то к нам приблизилось.

Его загорелое лицо снова побелело. Он встал, выпрямился, как палка, и посмотрел на меня.

— Теперь, — беспомощно проговорил он, — нам надо уходить, мы не можем оставаться. Сложим все и поплывем вниз по реке.

Говорил он сбивчиво, дико, охваченный ужасом — тем ужасом, которому долго противился и который его настиг.

— В темноте? — вскричал я, трясаясь от страха после моей истерической выходки, но все еще соображая лучше, чем он. — Ты с ума сошел! Река разлилась, у нас одно весло. Да и вообще, мы только уйдем глубже в их мир! Впереди, на пятьдесят миль, одни ивы, ивы, ивы!

Он даже не сел, а рухнул на землю. Природа похожа на калейдоскоп, и теперь наши роли поменялись: распоряжался я. Разум его, кажется, достиг точки, с которой начинается безумие.

— Зачем ты это сделал? — прошептал он в самом искреннем ужасе.

Я обошел костер, опустился на колени, взял его руки в свои и посмотрел в испуганные глаза.

— Разожжем костер, — твердо сказал я, — и ляжем спать. Когда взойдет солнце, как можно быстрее поплывем к Кормору. А сейчас вспомни свой совет, не думай о страхе!

Мой друг молчал, и я понял, что возражать он не станет. Немного легче было и от того, что оба мы пошли за хворостом. В темноте мы держались вместе, почти касались друг

друга, пробираясь вдоль берега, сквозь кусты. Над головой постоянно гудело, но мне показалось, что звуки становились тем громче, чем дальше уходили мы от костра.

В самой гуще ив, где еще оставался хворост, принесенный раньше рекой, кто-то схватил меня, да так крепко, что я упал на песок. Это был мой спутник. Он просто рухнул на меня и цеплялся, ища поддержки, коротко и тяжело дыша.

— Смотри! — прошептал он. — Господи, да посмотри же! — и я впервые в жизни понял, что такое слезы ужаса. Голос его дрожал от рыданий, а сам он показывал на костер, который был футаж в пятидесяти. Я посмотрел, и, честное слово, сердце у меня, хоть на миг, но остановилось. В сумрачном полусвете что-то двигалось. Видел я плоховато, словно сквозь марлевый занавес, но различил, что это — не человек и не зверь. Мне показалось, что оно — такой величины, как несколько животных, скажем, две или три лошади, и движется очень медленно. Швед различил то же самое, но назвал иначе — позже говорил, что видел кушу низеньких деревьев, которая колыхалась и клубилась, как дым.

— Я видел это сквозь кусты, — рыдал он. — Оно спускалось. Да смотри ты! Двигается сюда! Господи, Господи... — И вскрикнул, словно взвизгнул: — Нашли!

Я увидел, что странная штука приближается к нам. Рухнул в кусты. Не выдержав тяжести, они громко хрустнули — на мне лежал еще и мой спутник — и мы шевелящейся кучей повалились на песок. Плохо понимая, что же с нами творится, я чувствовал, что невыносимый ужас просто обдирает нервы, крутит их так и сяк. Глаза я зажмурил, в горле стоял комок, сознание как-то расширялось, а потом, почти сразу, я ощутил, что оно уходит, и я сейчас умру.

Острая боль пронзила меня. Я успел подумать, что это мой спутник вцепился, падая, но позже он говорил, что боль меня и спасла. Из-за нее я забыл о них, в то самое мгновение, когда они почти нашли нас. Я подумал о другом, и они меня не поймали. Он же сам потерял сознание, и это спасло его.

Так говорил мой друг, а я знаю только, что через какое-то время, определить его невозможно — я выбирался из се-

ти ивовых веток, а он стоял впереди, протягивал мне руку. Растерянно глядя на него, я не знал, что и сказать. Он говорил:

— Я потерял сознание, вот и спасся. Перестал о них думать.

— Ты чуть не сломал мне руку, — откликнулся я. Более связных мыслей у меня не было.

— Это спасло тебя! — сказал он. — Мы их куда-то отогнали. Больше не гудит. Их нет хотя бы сейчас!

Истерический хохот снова накатил на меня, а там и на него, мы тряслись от целительного смеха. Стало гораздо легче, мы вернулись к костру, подложили хворосту — огонь разгорелся. Тогда мы увидели, что палатка упала и лежит кучей на земле.

Мы стали ее поднимать, то и дело спотыкаясь.

— Это все воронки, — сказал швед, когда палатка уже стояла, а костер освещал несколько ярдов. — Ты смотри, какие они большие!

Вокруг палатки и у костра не было никого, зато были воронки, следы вроде тех, что мы видели, но гораздо глубже и шире — красивые, круглые и такие глубокие, что в них уместилась бы вся моя нога до колена.

Мы молчали. Мы знали оба, что самое безопасное — уснуть, и легли, забросав огонь песком. Мешок с едой и весло мы взяли в палатку, байдарку положили так, чтобы касаться ее ногами. Любое движение, самое малое, разбудило бы нас.

5

Я твердо решил не засыпать, но так устал и душой, и телом, что сон почти сразу окутал меня блаженной пеленой забвения. Помогло этому и то, что спутник мой уснул, хотя поначалу беспокоился и часто просыпался, чтобы спросить, «слышал ли я...» Ворочаясь на пробковом матрасе, он говорил, что палатка движется, река затопила остров, и я вы-

ходил, смотрел, успокаивал, так что он расслабился, задышал ровнее, потом захрапел, а я впервые в жизни обрадовался храпу.

Проснулся я потому, что стало трудно дышать. Лицо мое покрывала простыня, на ней было еще что-то, и мне показалось, что спутник мой перекатился ко мне со своего матраса. Окликнув его, я сел и тут же понял, что палатку окружили. Мелкий перестук слышался снова; ночь пропиталась ужасом.

Я опять окликнул друга, погромче, он не ответил, но храпа не было, брезентовая дверца болталась. «Так нельзя», — подумал я и подполз к ней в темноте, чтобы ее покрепче зашпилить, и только тут понял, что я один, спутник мой куда-то делся.

Вылетев из палатки как сумасшедший, я очутился в потоке гулко-го звона, который просто хлестал с неба, словно и он обезумел. Гудело так, будто вокруг слетелись тучи невидимых пчел. Воздух стал гуще, мне было трудно дышать.

Заря еще не занялась, но слабый свет поднимался от тонкой белой полоски у горизонта. Ветра не было. Я мог разглядеть кусты и реку за ними и бледные пятна песка. Бегаю по острову, я выкрикивал имя друга, орал как нельзя громче какие-то бессвязные слова. Голос тонул в ивах, его заглушало гудение, он умирал в нескольких футах. Я кинулся в самую заросль, стал пробиваться, спотыкаясь о корни, царапал лицо о враждебные ветки.

Внезапно я вышел на чистое место и увидел между водой и небом темную фигуру. Друг мой стоял одной ногой в воде! Еще секунда — и поток его унесет.

Я бросился на него, обхватил руками, вытащил на песок. Конечно, он боролся изо всех сил, издавая при этом странный звук, похожий на это проклятое гудение, и выкрикивая странные фразы о том, что пойдет туда, к ним, «дорогой воды и ветра». Позже мне не удалось припомнить все, что он кричал, но тогда меня просто мутило от ужаса и удивления. Наконец я дотащил его до палатки, где все-таки безопасней, бросил на матрас и, как он ни бился, ни ругался, держал, пока припадок не кончился.

Произошло это очень быстро, он сразу затих, да и звуки резко замолкли — и гул, и перестук. Наверное, это было самым странным из всего, что с нами случилось; друг мой открыл глаза, повернул ко мне измученное лицо так, что заря осветила его слабым светом, и сказал, как испуганный ребенок:

— Ну, ты меня спас!.. Все прошло, они нашли вместо нас другую жертву.

Потом откинулся на матрас и заснул буквально тут же, сразу, просто выключился, а храп его был таким здоровым, словно ничего не случилось и он не предлагал в жертву свою жизнь. Когда солнце разбудило его часа через три (я все это время ждал), было ясно, что он забыл, как чуть не утопился, и я решил не беспокоить его, не спрашивать.

Проснулся он легко; как я уже говорил, его разбудило солнце, стоявшее в безветренном небе, он сразу вскочил и принялся разводить костер. Мы пошли умыться, я насторожился, но он не ступил в воду, только ополоснулся и заметил, что вода очень холодная.

— Река спадает, — сказал он. — Это хорошо.

— И гудеть перестало, — откликнулся я. Он посмотрел на меня спокойно, своим обычным взглядом. Конечно, он помнил все, кроме своей попытки.

— Все прошло, — сказал он, — потому что...

И запнулся. Я помнил, что он произнес перед обмороком, и решил узнать все.

— Потому что они нашли другую жертву? — подсказал я.

— Вот именно, — ответил он. — Я в этом так же уверен, как в том... Ну, опасности нет.

Он с любопытством огляделся. Солнечный свет пятнами лежал на песке. Ветра не было. Ивы стояли тихо. Он медленно встал.

— Пойдем, — сказал он.

Мы побежали, он — впереди, я — сзади. Он держался у воды, тыкал палкой в песчаные пещерки и бухточки, в крохотные заводи.

— Вот! — закричал он наконец. — Вот.

Голос его вернул страхи этих суток, я подбежал к нему.



Он показывал на что-то большое, черное, наполовину лежащее в воде, наполовину — на песке. Видимо, оно зацепилось за изогнутые корни, и вода не могла его унести. Несколько часов назад это место было залито.

— Смотри, — спокойно сказал он. — Вот она, жертва. Благодаря ей мы спаслись.

Взглянув через его плечо, я увидел тело. Спутник мой перевернул его палкой: это был крестьянин. Несомненно, он утонул совсем недавно, а приплыл сюда, когда рассветало — когда кончился кошмар.

— Надо его похоронить, — сказал мой друг.

— Да, конечно, — ответил я. Все-таки меня знобило; этот несчастный утопленник внушал какой-то нездешний ужас.

Друг пристально и непонятно посмотрел на меня, потом стал спускаться ниже. Течение порвало одежду, унесло лоскутья, грудь у крестьянина была голая.

На полпути мой друг остановился и поднял руку, предупреждая об опасности. То ли я поскользнулся, то ли слишком разогнался, но врезался в него. Он отпрыгнул. Мы свалились на твердый песок, ногами в воду, и коснулись трупа.

Спутник мой пронзительно вскрикнул. Я отскочил, словно в меня стреляли.

В то самое мгновение, когда мы коснулись тела, от него, прямо от него, поднялся вверх громкий, гулкий звук. Воздух задрожал, словно мимо нас пролетели какие-то существа и скрылись, постепенно исчезая в небе. Да, все было точно так, будто они работали, а мы их спугнули.

Спутник мой вцепился в меня, я, кажется, — в него, но прежде, чем мы опомнились, мы увидели, что движение это повернуло труп и освободило его из неволи. Через секунду другую утопленник лежал лицом вверх, как бы глядя в небо. Еще через секунду его бы унесло.

Мой друг кинулся его спасать, что-то крича насчет «приличных похорон», — и вдруг упал на колени, закрыв руками глаза. Я подбежал к нему.

И увидел то, что видел он.

Когда утопленник перевернулся, оказалось, что лицо и грудь испещрены лунками, точно такими, как песчаные во-

двороты, которые мы видели по всему острову.

— Их знак... — услышал я. — Их страшный знак!

Когда я снова поглядел на реку, она исполнила свою работу, унесла тело, и мы уже не могли ни спасти его, ни разглядеть: оно кувыркалось на волнах, словно выдра.

Танс Тейнц Эверс

*Из дневника
померанцевого дерева*

Волшебников, волшебниц в мире много...
Они средь нас, но мы не знаем их.

Ariosto. Неустовый Роланд, песнь VIII, I

Если я иду навстречу вашему желанию, уважаемый доктор, и заполняю страницы той тетради, которую вы мне дали, — то, поверьте, что я делаю это по зрелом размышлении и с достаточно продуманным намерением. Ведь, в сущности, дело идет о своего рода борьбе между вами и мной: вами, главным врачом этой частной лечебницы для душевнобольных, и мною, пациентом, которого три дня тому назад привезли сюда. Обвинение, на основании которого я подвергнут насильственному приводу сюда — простите, что я в качестве студента-юриста предпочитаю употреблять юридические термины, — заключается в том, что будто бы я «страдаю навязчивой идеей, что я померанцевое дерево». Итак, господин доктор, попытайтесь теперь доказать, что это — навязчивая идея, а не действительный факт. Если вам удастся убедить меня в этом вашем мнении, то я «выздоровею», не правда ли? Если вы докажете мне, что я — человек, как и все другие, и только вследствие расстройства нервной системы подпал болезненной мономании, подобно тысячам больных во всех санаториях мира, то, доказав это, вы вернете меня снова в мир живых людей, и «нервная болезнь» будет устранена вами с моего пути.

Но, с другой стороны, я, в качестве обвиняемого, имею право приводить доказательства своей собственной правоты. В этих строках я именно и ставлю своей задачей убедить вас, уважаемый доктор, в неоспоримости моих утверждений.

Вы видите, что я рассуждаю совершенно трезво и спокойно взвешиваю каждое слово. Я искренне сожалею о тех выходках, которые я позволил себе третьего дня. Меня чрезвычайно огорчает, что я своим нелепым поведением нарушил покой вашего дома. Вы, кажется, приписываете такое поведение моему предыдущему возбуждению? Но я думаю, уважаемый доктор, что если бы вас или иного здорового че-

ловека внезапно хитростью привезли в сумасшедший дом, то и вы и он вели бы себя немногим лучше. Долгое собеседование, которое вы вели со мной вчера вечером, однако, совершенно успокоило меня; я теперь сознаю, что мои родственники и товарищи по университету, поместив меня сюда, желали мне исключительно только добра. И не только «желали», но я думаю, что это и в самом деле добро для меня. Ведь если мне удастся убедить в справедливости моих положений такого европейски знаменитого психиатра, как вы, то тогда и самый величайший скептик должен преклониться перед так называемым «чудом».

Вы просили меня изложить в этой тетради возможно полную биографию моей персоны, а также и все мои мысли по поводу того, что вы называете моей «навязчивой идеей». Я очень хорошо понимаю, хотя вы этого и не высказали, что вам, как верному своему долгу служителю науки, было бы желательно получить «из уст самого больного возможно более полную картину болезни...» Но я хочу исполнить все ваши желания, вплоть до самых мельчайших, в надежде на то, что впоследствии, убедившись в своей ошибке, вы облегчите мне мое превращение в дерево — превращение, принимающее с каждым часом все более и более реальные формы.

В моих бумагах, которые сейчас находятся у вас, вы, уважаемый доктор, найдете обстоятельный *curriculum vitae*, приложенный к моему университетскому свидетельству. Из него вы можете почерпнуть все биографические данные, и поэтому сейчас я буду в этом отношении краток. Из упомянутого документа вы узнаете, что я сын рейнского фабриканта. На восемнадцатом году я выдержал экзамен зрелости, затем служил вольноопределяющимся в гвардейском полку в Берлине, а после того наслаждался юной жизнью в разных университетских городах в качестве студента юридического факультета. В зависимости от этого я проделал несколько больших и маленьких путешествий и наконец остановился в Бонне, где и стал готовиться к докторскому экзамену.

Все это, уважаемый доктор, представляет для вас так же мало интереса, как и для меня. История же, которая нас интересует, начинается с 22 февраля прошлого года. В этот

день я познакомился на одном масленичном балу с волшебницей (я боюсь показаться смешным, употребляя это выражение!), которая превратила меня в померанцевое дерево.

Необходимо сказать несколько слов об этой даме. Госпожа Эми Стенгоп была необыкновенным явлением. Она привлекала к себе всеобщее внимание. Я отказываюсь описывать ее красоту, потому что вы можете высмеять подобное описание, сделанное влюбленным в нее человеком, и счесть его жесточайшим преувеличением. Но вот вам факт: среди моих друзей и знакомых не было ни одного, которого она не приворожила бы к себе в одно мгновение и который не был бы счастлив от одного ее слова или улыбки.

Госпожа Эми Стенгоп поселилась в Бонне сравнительно недавно. Она жила тогда на Кобленцштрассе, в обширной вилле, которую убрала и обставила с величайшим вкусом. Она вела открытую жизнь, и у нее каждый вечер собирались офицеры королевского гусарского полка и представители наиболее выдающихся студенческих корпораций. Правда, у нее никогда не бывало ни одной дамы, но я убежден, что это происходило только потому, что Эми Стенгоп, как она в том неоднократно признавалась, не выносила женской болтовни. Равным образом, она не бывала ни в одном боннском семействе.

Понятно, что городские сплетники и сплетницы в самом непродолжительном времени занялись блестящей незнакомкой, которая каждый день каталась по улицам на своем белом, как снег, «64 HP. Mercedes». Вскоре стали передаваться из уст в уста самые невероятные слухи о ночных оргиях на Кобленцштрассе. Местная клерикальная газетишка даже напечатала идиотскую статью под заглавием «Современная Мессалина», и уже первые слова этой статьи: «*Quousque tandem!*» — свидетельствовали о «высоком образовании» господина редактора... Но я должен удостоверить — и я убежден, что это же сделают и все те, кто имел честь быть принятым у госпожи Стенгоп, — что в ее доме никогда не происходило ничего такого, что выходило бы из самых строжайших общественных приличий. Единственно, что она разрешала своим поклонникам — и притом всем — это целовать у нее

руку. И только один маленький гусарский полковник имел привилегию прикладываться своими воинственными усами к ее белой ручке немного повыше, чем все остальные. Госпожа Эми Стенгоп держала всех нас в таком строгом послушании, что мы служили ей, как маленькие благодетельные пажи, и наше ухаживанье принимало почти рыцарски-романтические формы.

И тем не менее случилось, что дом ее опустел. Произошло это в высшей степени внезапно. 16-го мая я уехал домой ко дню рождения моей матери. А когда я возвратился, то, к удивлению, узнал, что по приказу полковника дальнейшее посещение виллы на Кобленцштрассе господам офицерам гусарского полка строжайше воспрещено. Корпорации, со своей стороны, немедленно последовали тому же примеру. Я спрашивал товарищей по корпорации, что это значит, и получил в ответ, что полковой приказ обязателен и для них, так как невозможно, чтобы студенты-корпоранты посещали дом, которого избегает офицерство. В сущности, это имело известный смысл, так как большинство корпорантов собиралось служить в этом полку вольноопределяющимися или же принадлежало к нему в качестве офицеров запаса.

На каком основании полковник сделал свое распоряжение, никто не знал. Даже офицерам это не было известно. Подозревали, однако, что приказ полковника стоит в связи с внезапным исчезновением лейтенанта барона Болэна, который скрылся куда-то — тоже по совершенно неизвестной причине.

Так как Гарри фон Болэн был мне лично близок, то я в тот же вечер отправился в казино, где собирались гусары, чтобы узнать какие-нибудь подробности. Полковник принял меня очень любезно и пригласил выпить с ним шампанское, но от разговора на интересовавшую меня тему отклонился. Когда я, наконец, поставил ему вопрос ребром, он очень вежливо, но вполне категорически отклонил его. Я сделал последнюю попытку и сказал:

— Господин полковник, ваши распоряжения и постановления нашего корпорационного совета, несомненно, обяза-

тельны для ваших офицеров и для корпорантов. Но для меня они необязательны: я хочу сегодня же выйти из корпорации и таким образом становлюсь хозяином своих поступков.

— Поступайте, как вам угодно! — небрежно промолвил полковник.

— Прошу вас, полковник, терпеливо выслушать меня! — продолжал я. — Кому-нибудь иному, быть может, и не было особенно тяжело покинуть дом на Кобленцерштрассе: он вспомнит с легким сожалением о прекрасных вечерах и в конце концов позабудет о них. Но я...

Он прервал меня:

— Молодой человек! Вы четвертый обращаетесь ко мне с подобной речью. Двое моих лейтенантов и один ваш корпорант еще третьего дня были у меня. Я уволил обоих лейтенантов в отпуск, и они уже уехали. Вашему корпоранту я посоветовал сделать то же. Ничего другого я не могу сказать и вам. Вы должны забыть. Слышите вы это. Достаточно одной жертвы.

— В таком случае разъясните мне все это, по крайней мере, — настаивал я, — ведь я ничего не знаю и нигде ничего не могу узнать. Имеет связь с вашим приказом исчезновение Болэна?

— Да! — промолвил полковник.

— Что случилось с ним?

— Этого я не знаю! — ответил он. — И я боюсь, что я никогда не узнаю этого.

Я схватил его руки.

— Скажите мне то, что вы знаете! — умолял я. И я почувствовал, что в моем голосе задрожала нотка, которая должна была побудить его к ответу. — Ради Бога, скажите мне, что случилось с Болэном? Из-за чего вы сделали ваше распоряжение?

Он высвободился от меня и сказал:

— Черт возьми, с вами дело обстоит в самом деле еще хуже, чем с другими!

Он наполнил оба стакана и подвинул мне мой.

— Пейте! Пейте! — сказал он.

Я отпил и подвинулся к нему.

— Скажите-ка мне, — промолвил он, зорко поглядев на меня, — это вы тогда читали ей стихотворения?

— Да, — запнулся я, — но...

— В то время я почти завидовал вам, — задумчиво продолжал он. — Наша фея позволила вам два раза поцеловать ей руку... Это были ваши собственные стихи? В них было столько всяческих цветов...

— Да, я сочинил эти стихи, — сознался я.

— Это было совершенное безумие! — сказал он как бы сам себе. — Извините меня, — громко продолжал он, — я ничего не понимаю в стихотворениях, решительно ничего. Может быть, они были и прекрасны. Фея нашла же их прекрасными...

— Господин полковник, — заметил я, — что значат теперь мои стихотворения... Вы хотели...

— Я хотел рассказать вам нечто иное, совершенно иное, — прервал он меня, — но именно по поводу всех этих цветов. Говорят, что люди, сочиняющие стихи, все мечтатели. Я подозреваю, что этот бедняга Болэн тоже сочинял тайным образом стихи.

— Итак, что же с Болэном? — настаивал я.

Он как будто не слышал моего вопроса.

— А мечтатели, — продолжал он нить своих мыслей, — а мечтатели, очевидно, подчиняются ей всего легче. Я предостерегаю вас, милостивый государь, самым настоятельным образом, как только могу!

Он выпрямился.

— Итак, слушайте же! — проговорил он совершенно серьезно. — Семь дней тому назад лейтенант Болэн не явился на службу. Я послал за ним на дом — он исчез. С помощью полиции и прокурора мы пустились на поиски. Мы сделали все, что можно, но без всякого успеха. И несмотря на то, что с момента его исчезновения прошло еще очень немного времени, я убежден в совершенной бесплодности всех дальнейших попыток. Никаких внешних причин здесь не имеется. Болэн имел хорошее состояние, не имел долгов, был совершенно здоров и очень счастлив по службе. Он оставил

коротенькое письмо на мое имя, но содержание этого письма во всех его подробностях я сообщить вам не могу.

Меня охватило безграничное разочарование, отразившееся, должно быть, на моем лице.

— Погодите, — продолжал полковник, — надеюсь, что вам будет достаточно и того, что я вам скажу. По крайней мере, достаточно для того, чтобы спасти вас... Я думаю, что лейтенант Болэн умер... что он наложил на себя руки в помрачении рассудка.

— Он пишет об этом? — спросил я.

Полковник покачал головой.

— Нет! — ответил он. — Ни слова. Он пишет только одно: «Я исчезаю. Я уже не человек более. Я — миртовое дерево».

— Что? — переспросил я.

— Да, — промолвил полковник, — миртовое дерево. Он думает, что волшебница — госпожа Эми Стенгоп — превратила его в миртовое дерево.

— Но ведь это глупый бред! — воскликнул я.

Полковник снова устремил на меня пытливый и сострадательный взгляд.

— Бред? — повторил он. — Вы называете это бредом? Это можно также назвать и безумием. Но как-никак, а наш бедный товарищ свихнулся на этом. Он вообразил, что его околдовали. Но разве все мы не были немножко околдованы прекрасной дамой? Разве я, старый осел, не вертелся вокруг нее, как школьник? Я скажу вам, что на меня каждый вечер нападало страстное желание пойти на ее виллу, чтобы приложиться своими седыми усами к ее мягкой ручке. И я видел, что и с моими офицерами творится то же самое. Обер-лейтенант граф Арко, которого я третьего дня отправил в отпуск, признался мне, что он пять часов скитался взад и вперед под ее окнами при луне. И я боюсь, что он был не единственный в этом роде. Теперь я с юмором висельника сражаюсь с моими сокровенными желаниями, каждую ночь остаюсь в казино до самых поздних часов и подаю хороший пример другим... Уверяю вас, что никогда еще не было у нас так много выпито шампанского, как в эту неделю... Но оно не идет впрок никому... Пейте. Пейте же! Бахус — враг Венеры.

Он снова налил бокалы доверху и продолжал:

— Итак, вы видите, молодой человек, уж если такой прозаический человек, как я, не мог отказаться от посещений Кобленцёрштрассе, уж если такой избалованный дамский герой, как Арко, предавался уединенным лунным прогулкам, то не имел ли я основания бояться, что случай с Болэном не останется единственным? Благодарю покорно... Чего доброго, весь мой офицерский корпус превратился бы в миртовый лес...

— Благодарю вас, господин полковник! — промолвил я.
— Со своей стороны вы поступили безукоризненно правильно.

Он рассмеялся.

— Вы очень любезны. Но вы еще более обязали бы меня, если бы последовали моему совету. Я был старшим среди вас и даже, так сказать, предводителем во время наших шашечек на Кобленцёрштрассе, и теперь у меня такое чувство, как будто я ответствен не только за моих офицеров, но и за всех вас. У меня есть предчувствие — не более, как простое предчувствие, но я не могу от него отделаться: я убежден, что от прекрасной дамы следует ожидать еще несчастий... Называйте меня старым дураком, болваном, но обещаю мне никогда более не переступить порога ее дома!

Он сказал это так серьезно и проникновенно, что я внезапно почувствовал странный страх.

— Да, господин полковник, — произнес я.

— Самое лучшее, если вы отправитесь месяца на два путешествовать, как это сделали другие. Арко с вашим корпорантом уехал в Париж; отправляйтесь и вы туда же. Это вас рассеет. Вы позабудете волшебницу.

Я проговорил:

— Хорошо, господин полковник.

— Вашу руку! — воскликнул он.

Я протянул ему свою руку, и он крепко потряс ее.

— Я сейчас же уложу вещи и с ночным поездом выеду, — сказал я твердым тоном.

— Отлично! — воскликнул он и написал несколько слов на визитной карточке. — Вот название отеля, в котором остановились Арко и ваш друг. Кланяйтесь им обоим от меня,

забавляйтесь, ругайте меня немножко, но все-таки потом опять навестите меня, но только уже без этой мрачной усмешки.

Он провел пальцем по моей губе, как бы желая разгладить ее.

Я тотчас же отправился домой с твердым намерением сесть через три часа в поезд. Мои чемоданы стояли еще нераспакованными. Я вынул кое-какие вещи и уложил их в дорожку. Затем я сел за письменный стол и написал отцу короткое письмо, в котором сообщал о своем путешествии и просил выслать мне денег в Париж. Когда я стал искать конверт, мой взгляд упал на тоненькую пачку писем и карточек, полученных за время моего отсутствия. Я подумал: «Пусть остаются. Приеду из Парижа — прочитаю». Однако я протянул к ним руку и опять отдернул ее. «Нет, я не хочу читать их!» — сказал я. Я вынул из кармана монету и задумал: «Если будет орел, я их прочитаю». Я бросил монету на стол, и она упала орлом вниз. «И прекрасно! — сказал я. — Я не буду их читать». Но в то же мгновение я рассердился на себя за все эти глупости и взял письма. Это были счета, приглашения, маленькие поручения, а затем фиолетовый конверт, на котором крупным прямым почерком было написано мое имя. Я тотчас же понял — поэтому-то и не хотел разбирать письма! Я испытующе взвесил конверт в руке, но все равно уже чувствовал, что должен прочесть его. Я никогда не видел ее почерка и тем не менее знал, что письмо от нее. И внезапно я проговорил вполголоса:

— Начинается...

Я не подумал ничего другого при этом. Я не знал, что именно начинается, но мне стало страшно.

Я разорвал конверт и прочитал:

«Мой друг!

Не забудьте принести сегодня вечером померанцевых цветов.

Эми Стенгон».

Письмо было послано десять дней тому назад, в тот день, когда я поехал домой. Вечером, накануне отъезда, я рассказывал ей, что видел в оранжерее у одного садовника распутившиеся померанцевые цветы, и она выразила желание иметь их. На другой день утром, перед тем как уехать, я заходил к садовнику и поручил ему послать ей цветы вместе с моей карточкой.

Я спокойно прочел письмо и положил его в карман. Письмо к отцу я разорвал.

У меня не было ни одной мысли о том обещании, которое я дал полковнику.

Я взглянул на часы: половина десятого. Это было время, когда она начинала прием верноподданных. Я послал за каретой и вышел из дома.

Я поехал к садовнику и приказал нарезать цветов. А затем я, наконец, был у подъезда ее виллы.

Я попросил доложить о себе, и горничная провела меня в маленький салон. Я опустил на диван и стал гладить мягкую шкуру гуанако, которая здесь лежала.

И вот волшебница вошла в длинном желтом вечернем платье. Черные волосы ниспадали с гладко причесанного темени и закручивались наверху в маленькую коронку, какую носили женщины, которых изображал Лука Кранах. Она была немного бледна. В ее глазах мерцал фиолетовый отблеск. «Это потому, что она в желтом!..» — подумал я.

— Я уезжал, — сказал я, — домой ко дню рождения моей матери. И вернулся только несколько часов тому назад сегодня вечером.

Она на мгновение удивилась.

— Только сегодня вечером? — повторила она. — Так, значит, вы не знаете... — она прервала себя. — Но нет, разумеется, вы знаете. В два-три часа вам уже все рассказали.

Она улыбнулась. Я молчал и перебирал цветы.

— Разумеется, вам все сказали, — продолжала она, — и вы все-таки нашли дорогу сюда. Благодарю вас.

Она протянула руку, и я поцеловал ее.

И тогда она сказала очень тихо:

— Я ведь знала, что вы должны прийти.

Я выпрямился.

— Сударыня! — сказал я. — Я нашел по моему возвращению ваше письмо. И я поспешил принести вам цветы.

Она улыбнулась.

— Не лгите! — воскликнула она. — Вы прекрасно знаете, что я послала вам письмо уже десять дней тому назад, и вы тогда же послали мне цветы.

Она взяла из моей руки ветку и поднесла ее к своему лицу.

— Померанцевые цветы, померанцевые цветы! — медленно промолвила она. — Как дивно они пахнут!

Она пристально посмотрела на меня и продолжала:

— Вам не нужно было никакого предлога, чтобы прийти сюда. Вы пришли потому, что должны были прийти. Не правда ли?

Я поклонился.

— Садитесь, мой друг, — промолвила Эми Стенгоп. — Мы будем пить чай.

Она позвонила.

Поверьте мне, уважаемый доктор, я мог бы обстоятельно описать вам каждый вечер из тех многочисленных вечеров, которые я провел с Эми Стенгоп. Я мог бы передать вам слово за словом все наши разговоры. Все это внедрилось в мое сознание, словно руда. Я не могу забыть ни одного движения ее руки, ни малейшей игры ее темных глаз. Но я хочу восстановить лишь те подробности, которые являются существенными для желаемой вами картины.

Однажды Эми Стенгоп сказала мне:

— Вы знаете, что случилось с Гарри Болэном?

Я ответил:

— Я знаю только то, что об этом говорят.

Она спросила:

— Вы верите, что я в самом деле превратила его в миртовое дерево?

Я поймал ее руку, чтобы поцеловать.

— Если вы этого хотите, — рассмеялся я, — то я охотно поверю в это.

Но она отняла руку. Она заговорила, и в ее голосе зазвуч-

чала такая уверенность, что я вздрогнул:

— Я верю в это.

Она выразила желание, чтобы я каждый вечер приносил ей померанцевые цветы. Однажды, когда я вручил ей свежий букет белых цветов, она прошептала:

— Астольф.

Затем промолвила громко:

— Да, я буду называть вас Астольфом. И если вы желаете, вы можете звать меня Альциной.

Я знаю, уважаемый доктор, как мало досуга имеет наше время, чтобы заниматься старинными легендами и историями. Поэтому оба эти имени, наверное, не скажут вам ровно ничего; между тем мне они в одно мгновение открыли близость ужасного и вместе с тем сладкого чуда. Если бы вы познакомились с Людовико Ариосто, если бы вы прочитали кое-какие героические сказания пятнадцатого века, то прекрасная фея Альцина оказалась бы для вас такой же старой знакомой, как и для меня. Она ловила в свои сети Астольфа Английского, мощного Рюдигера, Рейнольда Монтальбанского, рыцаря Баярда и многих других героев и паладинов. И она имела обыкновение превращать надоедавших ей возлюбленных в деревья.

...Она положила обе руки мне на плечи и посмотрела на меня:

— Если бы я была Альциной, — сказала она, — хотел бы ты быть ее Астольфом?

Я не сказал ничего, но мои глаза ответили ей. И тогда она промолвила:

— Приди!

Вы — психиатр, уважаемый доктор, и я знаю, что вы признанный авторитет. Я встречал ваше имя во всевозможных изданиях. О вас говорят, что вы внесли в науку новые мысли. Я думаю нынче, что человек сам по себе, один, никогда не создает так называемой новой мысли, но что таковая

возникает в одно и то же время в самых различных мозгах. Но тем не менее я питаю надежду, что ваши новые мысли относительно человеческой психики, может быть, совпадут с моими. И вот это чувство и побуждает меня относиться к вам с таким безграничным доверием.

Не правда ли, мысль ведь это примитив, начало всякого начала? Ведь она единственное, что истинно! Детски наивно понимать материю, как нечто действительное. Все, что я вижу, постигаю, усваиваю — даже с помощью несовершенных вспомогательных средств, — я познаю как нечто совсем иное, чем если я исследую его своими личными чувствами. Капля воды кажется моим жалким человеческим глазам маленьким, светлым, прозрачным шариком. Но микроскоп, которым даже дети пользуются для забав, учит меня, что это арена диких побоищ инфузорий. Это уже более высокое зрение, но не высочайшее. Ибо нет никакого сомнения, что через тысячу лет наши — даже самые блестящие и совершенные — научные вспомогательные средства будут казаться такими же смешными, какими кажутся нам теперь инструменты Эскулапа. Таким образом, то познание, которым я обязан чудесным научным инструментам, столь же малодейственно, как и воспринятое моими бедными чувствами. Материя всегда оказывается чем-то иным, чем я ее представляю. И я не только никогда не могу узнать вполне сущности материи, но она вообще не имеет никакого бытия. Если я брызгаю водой на раскаленную печку — вода в одно мгновение превращается в пар. Если я бросаю кусок сахара в чай — сахар растворяется. Я разбиваю чашку, из которой пью, — и я получаю осколки, но чашки уже не существует более. Но если бытие одним взмахом руки превращается в небытие, то не стоит труда и считать его бытием. Небытие, смерть — вот настоящая сущность материи. Жизнь есть лишь отрицание этой сущности на бесконечно малый промежуток времени. Но мысль капли или кусочка сахара остается непреходящей: ее нельзя разбить, расплавить, превратить в пар. Итак, не с большим ли правом следует считать действительностью эту мысль, чем изменяемую, преходящую материю?

Что касается далее нас, людей, уважаемый доктор, то и мы, конечно, такая же материя, как и все окружающее нас. Каждый химик легко скажет, из скольких процентов кислорода, азота, водорода и т. д. мы состоим. Но если в нас обнаруживается мысль, то какое право имеем мы утверждать, что она не должна обнаруживаться в другой материи?

Я постоянно употребляю выражение «мысль». Это делаю я на том основании, уважаемый доктор, что слово это мне лично кажется наиболее подходящим для того понятия, которое я имею в виду. Подобно тому, как в различных языках существуют различнейшие слова для определения одного и того же предмета, подобно тому, как одну и ту же часть лица итальянец называет «босса», англичанин «mouth», француз «bouche», немец «Mund», точно так же и различные науки и искусства имеют особые выражения для одного и того же понятия. То, что я называю «мыслью», теософ мог бы назвать «божеством», мистик — «душою», врач — «сознанием». Вы, уважаемый доктор, вероятно, избрали бы слово «психика». Но вы должны согласиться со мной, что это понятие, как его ни называй, представляет собою нечто первичное, единственно истинное.

Но если это безграничное понятие, которое имеет все свойства, приписываемые теологами Божеству, т. е. бесконечность, вечность и т.д., открывается в нашем мозгу, то почему не разрешить ему проявляться и в других предметах с таким же удобством? По крайней мере, я могу представить гораздо более приятное местопребывание для него, чем мозг многих людей.

Все это, в общем, не есть что-либо новое. Ведь верили же миллиарды людей во все времена (да и теперь еще верят), что животные тоже имеют душу. Учение Будды, например, признает даже переселение душ. Что же мешает нам сделать еще один шаг далее и признать душу у источников, деревьев, скал, как это делалось (хотя, быть может, только из эстетически-поэтических оснований) в древней Элладе? Я верю, что пришло время, когда человеческий разум доходит до такой степени развития, что становится способным познавать души иных органических существ.

Я уже говорил вам о моих стихотворениях, которые я читал Эми Стенгоп и которые полковник назвал «ужасным безумством». Может быть, они в самом деле заслуживают такого определения — я не могу судить об этом. Но, так или иначе, они представляют собою попытку — правда, очень слабую — изобразить человеческим языком души некоторых растений.

Отчего эвкалиптовое дерево внушает художнику мысль о голых женских руках, распростертых для страстного объятия? Почему асфоделии невольно напоминают нам о смерти? Почему глицинии вызывают у нас образ белокурой дочки пастора, а орхидеи наводят на мысль о черных мессах и дьявольских шабашах?

Потому что в каждом из этих цветов и деревьев живет мысль об этом.

Неужели вы считаете простым совпадением, что у всех народов мира роза служит символом любви, а фиалка олицетворяет скромность? Есть сотни маленьких душистых цветов, которые цветут так же скромно и так же прячутся в укромных местах, как фиалка, однако ни один из них не производит на нас такого впечатления. Сорвав фиалку, мы непременно сейчас же инстинктивно подумаем: скромность! И следует заметить, что это странное ощущение исходит вовсе не от того, что мы считаем характернейшим для данного цветка: не от ее запаха. Если мы возьмем флакон «*Vera violetta*», запах которого так обманчив, что в темноте мы не сможем отличить его от запаха букета фиалок, мы никогда не получим этого ощущения.

Равным образом чувство, которое мы испытываем близ цветущего каштанового дерева и которое вызывает в нас мысль о всепобеждающей мужественности, не стоит ни в какой связи с тем, что прежде всего привлекает наш взор: с мощным стволом, широкими листьями, тысячами сверкающих цветов. И мы должны прийти к убеждению, что здесь все дело в неуловимом дыхании дерева. Это дыхание и открывает нам мысль, т. е. душу дерева.

Понятие, которое я называю «мыслью», очевидно, может принимать все формы и образы. Один тот факт, что я или

кто-либо другой может сознавать это, уже служит достаточным доказательством того.

Ибо, так как мысль вообще не знает никаких границ, то материя не может представлять для нее никаких ограничений. Ни один вдумчивый человек не может нынче игнорировать истин монистического мировоззрения (которые, конечно, лишь относительно, как и всякие другие истины). Согласно этому мировоззрению, мы, люди, как материя, ничем не отличаемся от всякой другой материи. И если я должен допустить это и если, с другой стороны, бытие мысли (бытие в собственном, мощном значении этого слова) понуждает меня в каждое мгновение к самосознанию, то я могу прийти к одному только выводу, подтверждаемому тысячами примеров, а именно, что «мысль» может одухотворять не только людей, но и всякую другую материю, а значит — также и цветы, и листья, и ствол померанцевого дерева.

Учение веры, принятое культурными народами, для многих философов заключается лишь в своих начальных словах: «В начале было Слово». И все они запинаятся за это и никогда не смогут переступить этот таинственный «Logos», пока в один прекрасный день он не откроется в чьей-нибудь голове во всей своей величине...

Но неправильно думать, как думают мистики и вообще люди, верующие в такое откровение «Логоса», что откровение это придет внезапно, как молния. Оно придет, и оно уже приходит, медленно, шаг за шагом, как выступает из облаков солнце, как развивается из первичной амебы человек. Оно бесконечно и никогда не закончится и поэтому оно никогда не будет совершенно...

Не проходит ни одного часа, ни одной секунды, в течение которых мысль не открывалась бы полнее и величественнее, чем до этого. Все более и более познаем мы это понятие, которое есть все.

И вот одна такая — большая, чем у кого-либо иного — степень познания стала свойственна и моему мозгу. О, я во все не воображаю, что я единственный человек в этом роде... Я уже сказал вам, доктор: я не верю, чтобы мысль оплодотворяла только один какой-нибудь мозг. Но у большинства

семена духа засыхают, и только у немногих они вырастают и дают цвет.

Однажды женщина, которую я называл Альциной, покрыла все наше ложе апельсинными цветами. Она обняла меня, и тонкие ноздри ее носа, которые она прижала к моей шее, задрожали.

— Мой друг, — сказала она, — ты благоухаешь, как цветы.

Я рассмеялся. Я подумал, что она шутит. Но позднее я убедился, что она права.

Однажды днем женщина, у которой я жил, вошла в мою комнату. Она потянула в себя воздух и сказала:

— О, как хорошо пахнет! У вас тут опять померанцевые цветы?

Но я уже в течение нескольких дней не имел ни одного цветка в комнате.

Я сказал сам себе: мы оба можем ошибаться. Человеческий нос — слишком плохо развитой орган.

Но моя охотничья собака никогда не ошибается. Ее нос непогрешим.

И я сделал опыт: я заставлял мою собаку приносить мне в сад и в комнате померанцевую ветку. Затем я тщательно прятал ветку и учил собаку отыскивать ее по команде: «Ищи цветы!» И она всегда находила ветку даже в самых сокровенных местах.

Я переждал после того несколько дней, в течение которых в моей комнате не было ни одного цветка. И после того однажды утром я отправился с собакой в купальню. Выкупавшись и выйдя из воды, я крикнул ей:

— Али! Апорт! Ищи цветы!

Собака подняла голову, понюхала воздух кругом и без всякого колебания устремила прямо на меня. Я пошел в раздевальную кабинку и дал ей понюхать мое платье, которое, быть может, сохраняло некоторый запах. Но собака ед-

ва обратила на него внимание. Она снова стала обнюхивать меня: запах, который она искала и нашла, исходил от моего тела.

Итак, уважаемый доктор, если такая история случилась с собакой, обладающей высокоразвитым органом, то неудивительно, что и вы впали в ту же ошибку, когда вы заподозрили меня, что я держу у себя цветы. После того, как вы вчера вечером вышли от меня, я слышал, как вы приказали служителю тщательно обыскать мою комнату, когда я буду на прогулке, и убрать из нее померанцевые цветы. Я не ставлю вам этого в упрек. Вы думали, что я прячу у себя эти цветы, и сочли своим долгом удалить от меня все то, что напоминает мне о моей «*idee fixe*». Но вы могли бы, доктор, не отдавать слуге вашего приказания: он может целыми часами рыться в моей комнате, но он не найдет в ней ни одного цветка. Но если вы после того снова зайдете ко мне, вы опять услышите этот запах: он исходит от моего тела...

Однажды мне приснилось, будто я иду в полдень по обширному саду. Я прохожу мимо круглого фонтана, мимо полуразрушенных мраморных колонн. И иду далее по ровным, длинным лужайкам. И вот я увидел дерево, которое сверху донизу сверкало красными, как кровь, пылающими померанцами. И я понял тогда, что это дерево — я.

Легкий ветер играл моею листвою, и в бесконечном желании простирал я свои ветви, обремененные плодами. По белой песчаной дорожке шла высокая дама в широком желтом одеянии. Из ее глубоких темно-синих очей упали на меня ласкающие взоры.

Я прошелестел ей своей густой листвою:

— Сорви мои плоды, Альцина!

Она поняла этот язык и подняла белую руку. И сорвала ветку с пятью-шестью золотыми плодами.

Это была легкая, сладкая боль. Я проснулся от нее.

Я увидел ее около себя: она склонилась передо мной на колени. Ее глаза странно глядели на меня.

— Что ты делаешь? — спросил я.

— Тише! — прошептала она. — Я подслушиваю твои грезы.

Как-то раз после обеда мы переехали на ту сторону Рейна и прошли от Драхенфельза вниз, к монастырю Гейстербах. Среди руин, где гнездились совы, она легла на траву. Я сел рядом с нею; япил полными глотками аромат цветущей липы, вздымая грудь и широко раскинув руки.

— Да! — сказала она и закрыла глаза, осененные длинными ресницами. — Да, раскинь свои ветки! Как хорошо покоиться здесь, в твоей прохладной тени!

И она стала рассказывать...

О, целые ночи напролет она рассказывала мне. Старинные саги, сказки, истории. При этом она всегда закрывала глаза. Ее тонкие губы слегка приоткрывались, и, как звон серебряных колокольчиков, падали жемчужными каплями слова из ее уст:

— Ты похитил у меня мой пояс! — сказала Флерделис своему рыцарю. — Так принеси мне другой, который был бы достоин меня.

Тогда оседлал белокурой Гриф своего коня и понесся во все страны света, чтобы добыть для своей повелительницы пояс. Он бился с великанами и рыцарями, с ведьмами и некромантами и отвоевал великолепнейший пояс. Но он бросил его в пыль, на колени нищим и воскликнул, что эта жалкая тряпка недостойна украшать чресла его дамы. И когда он отнял у могучего Родомонта собственный пояс Венеры, он разорвал его в лохмотья и поклялся, что он добудет такой пояс, какого не имели и богини. Он убил волшебника Атласа и завладел его крылатым конем. Сквозь бурю и ветер полетел он на воздух и смелой рукой сорвал с неба Млечный Путь.

Он пришел к госпоже и поцеловал ее белые ноги. И обвил вокруг ее бедер пояс, на котором, словно драгоценные камни, засияли тысячи тысяч звезд...

— Прочитай мне, что ты написал об орхидеях, — сказала она.

Я прочитал ей:

Когда дьявол женщиной явился,
Когда Лилит
Сплела в тяжелый черный узел кудри
И окружила бледные черты
Кудрявыми местами Боттичелли,
Когда она с улыбкой тихой
На пальцы тонкие свои
Надела кольца с яркими камнями,
Когда она прочла Бурже
И полюбила Гюисманса
И поняла молчанье Метерлинка
И окунула душу
В Аннунцио сверкающие краски,
Тогда она однажды рассмеялась.

.

И вот, когда она смеялась,
Из уст ее
Прыгнула маленькая царственная змейка.
Прекраснейшая дьяволица,
Красавица Лилит
Ударила змею,
Ударила Лилит змею-царицу
Униженным перстнями пальцем,
Чтобы она вокруг пальца обвилась
И обвивалась и шипела.
Шипела, шипела
И ядом брызнула своим.
И капли яда собрала Лилит
И сохранила в медной тяжелой вазе.
Сырой земли
Черной, мягкой, тучной,
Бросила она туда.
Своими белыми руками
Она коснулась тихо
Тяжелой медной вазы.

Чуть слышно пели бледные уста
Старинное проклятье.
Как песня детская оно звучало
Так тихо, томно, мягко,
Так томно, словно поцелуи,
Которые пила земля сырая
Из уст ее...
И жизнь затеплилась в тяжелой вазе:
Разбужены лобзаньем томным,
Разбужены волшебным пенъем,
Восстали к свету в темной, тяжелой вазе
Орхидеи...
Та, которую люблю я,
Обрамляет бледное лицо
Перед зеркалом кудрей волнами.
Рядом с ней из тяжелой медной вазы
Выползают, словно змеи,
Орхидеи.
Орхидеи — адские цветы.
Старая земля
Родила их, сочетавшись браком
С ядом змей. Лилит проклятье
Дало им источник жизни,
Родила земля сырая
Орхидеи — адские цветы.

— Прекрасно! — сказала Альцина.

Да, уважаемый доктор, такова была наша жизнь: сказка, сотканная из лучей солнца. Мы вдыхали утраченное прошлое, из наших поцелуев выросло неведомое, неподозреваемое будущее.

И все чище — чистая, как кристалл — звучала гармония наших мечтаний. Однажды она прервала меня в середине стихотворения.

Она сказала:

— Молчи! — и крепко прижала лицо к моей груди.

Я чувствовал, как ее тонкие ноздри трепетали на моем теле. Прошла минута.

Она подняла голову и сказала:

— Тебе нет надобности говорить. Твои мысли благоухают.

Она закрыла глаза — и медленно договорила мои стихи до конца...

...Или же она брала мою голову в руки и ласкала тонкими пальцами мои виски.

Тогда я чувствовал, как ее желания проскальзывают в меня и вступают в ласкающее обладание моей душой.

Как будто сладкая музыка звучала в моих висках, как будто пение танцующих солнечных лучей.

Там, где раскинулись зеленые лужайки, где по мраморным ступеням катятся холодные струи горного потока, где покачиваются среди цветов магнолии яркие фазаны, и грезят в своем уединении белые павлины, — там стоит дерево.

Далеко кругом себя раскинуло оно свои ветки; благоуханием весны и любви напоен кругом него воздух. Белые цветы поднимаются из листьев, и между них сверкают золотые плоды.

Прекрасная фея покоится в прохладной тени. Она рассказывает дереву сказки, и дерево это — ее возлюбленный.

Она говорит, а он шелестит листьями и посылает ей с ветром свой аромат.

Так беседуют они оба.

Так росло во мне познание — медленно, постепенно, как всякое откровение. Так гармонично, что я не мог бы указать ни одной пограничной черты. Те отдельные подробности, которые я только что вам привел, уважаемый доктор, я выбрал из тысячи им подобных. Чудо началось, когда я в первый раз увидел эту женщину... А может быть, оно началось и гораздо ранее. Не должен ли я считать первым легким началом, например, хотя бы те мои мысли, которые я выразил в своих стихотворениях?

Закончится же чудо тогда, когда я буду стоять под открытым небом, в лучах солнца, и буду носить белые цветы и золотые плоды.

А пока — последовательное развитие, шествующее впе-

ред спокойно, сильно, уверенно, не зная никакого сопротивления.

И не только духом, но и телом. Разве я не говорил вам, что все мое тело напоено сладким ароматом? Убедитесь же в этом, уважаемый доктор.

Наступили последние ночи. Однажды она сказала мне:

— Я должна вскоре покинуть тебя.

Я не испугался. Каждая секунда, проведенная с нею, была для меня вечностью, и еще должны беспредельную вечность мои счастливые руки обнимать ее.

Я склонился к ней, и она продолжала:

— Ты знаешь, что случится тогда, Астольф?

Я утвердительно кивнул и спросил:

— Куда ты уедешь?

Две слезы упали на ее щеки. Она выпрямилась, и ее глаза засветились, как созвездия ночи над пустынной степью.

— За море, — сказала она, — туда, откуда я пришла. Но я буду тебе писать. А потом, позднее, когда ты расцветешь, когда легкий ветер будет играть твоими ветками, — тогда я снова приду к тебе. Приду к тебе, возлюбленный, и буду покоиться в твоей тени. Буду отдыхать у тебя, мой возлюбленный, и грезить вместе с тобой нашими сладчайшими грезами...

— Возлюбленный! — сказала она. — Возлюбленный!..

И, как зеленые путы плюща обвивают ствол и ветки, так обняла меня она... Вот так...

Вы знаете, доктор, что произошло потом. Придя однажды вечером в виллу, я не мог дозвониться. Она уехала. Ее вилла опустела. Я поставил на ноги всю полицию и сыщиков, бегал все дни, как сумасшедший. Я делал тысячу глупостей, но уверяю вас, доктор, что все это следует отнести просто лишь на счет влюбленного, у которого исчезла, словно по волшебству, его возлюбленная.

Мои товарищи по корпорации очень печалились и заботились обо мне — даже более, чем это было мне приятно. Это они телеграфировали моим родителям. Затем наступил тот припадок бешенства, который вы назвали «катастрофой» и который, в сущности, был совершенно естественным событием. Мои друзья, следившие после моих вышеупомянутых глупостей за каждым моим шагом, заметили, что я постоянно подкарауливаю почтальона. И когда приходило письмо — ее письмо, — они отбирали его у письмоносца на улице. Теперь я прекрасно знаю, что они делали это с добрым намерением, желая удалить от меня всякий повод к новому возбуждению. Но в то мгновение, когда я увидел из окна, как они отбирают письмо, мои глаза застлало красным светом. Мне показалось осквернением моей святыни, что они прикасаются своими руками к бумаге и что их глаза читают слова, которые она написала. Я схватил со стены остро отточенную рапиру и побежал по улице. Я кричал им, чтобы они отдали мне письмо. Они отказались, и тогда я ударил того, который держал письмо, рапирой прямо в лицо. Брызнула кровь и оросила письмо, которое я вырвал у него. Я побежал в свою комнату, заперся и стал читать.

Она писала:

«Если ты меня любишь, то доведешь это до конца. О, я приду, я приду к тебе, возлюбленный. Я буду покоиться в твоей прохладной тени и рассказывать тебе дивные сказки.

Альцина».

Я кончил, уважаемый доктор. Меня доставили сюда хитростью, но теперь я благодарен судьбе, которая привела меня сюда. Все волнения прошли, и я снова нашел в этой удивительной тишине прежний покой. Я пребываю в сладком аромате, который исходит из моего тела, и чувствую и знаю, что я дождусь завершения. Уже мне становится тяжело писать, уважаемый доктор, мои пальцы не хотят сжиматься, они раздвигаются, растопыриваются, как ветви.

Ваше заведение лежит в великолепном обширном парке. Я сегодня утром странствовал по нему. Он так велик, так прекрасен. Я знаю, доктор, что мои слова убедили вас. О, мне удалось, без сомнения, убедить вас... Итак, когда наступит час, который уже так близко, то не пытайтесь помешать тому, что должно исполниться. Там, на большом лугу, где шумят каскады, — там буду я стоять. Я надеюсь, что вы, доктор, распорядитесь, чтобы за мной был хороший уход. Боннский садовник знает, как обращаться с померанцевыми деревьями, он даст вам указания. Я отнюдь не желаю захиреть... Я хочу расти и цвести, чтобы она радовалась и восхищалась моей красотой.

Она будет писать, доктор. Вы узнаете ее адрес.

Еще одно: каждым летом, когда моя верхушка будет сверкать тысячью золотых плодов, будьте добры, доктор, срывайте самые прекрасные из них и кладите в корзиночку. И посылайте ей.

И пусть будет вложена туда записочка с милыми словами, которые я однажды слышал на улице Гренады:

Я сорвал в моем саду
Померанцев спелых, ярких,
Сок их алый — кровь моя.
И тебе, моя голубка,
Померанцев я принес.
Так возьми же их, голубка,
Только их ножом не режь:
Ты мое разрежешь сердце
В середине померанца.

О. Поркеролль. Июнь 1905

Модель Тупебу

Жилые цветы

Жестокий мороз стоял в сочельник. Ледяной ветер ходил по темным улицам, загоня людей в дома. На перекрестках горели дымные костры; языки красного пламени бесильно лизали застывший воздух, метались из стороны в сторону, сыпали искрами.

Было уже поздно. Руднева постояла на перекрестке, ожидая конки, но промерзшие вагоны с гулким воем бежали навстречу ей, уходя на покой. Придется идти пешком, подумала она, и ей стало еще холоднее и тоскливее. Этот вечер окончательно надорвал ее. Зачем они перенесли собрание на сочельник? Что такое сочельник? Кто интересуется — придет и в сочельник. Во всем бездарность, — чутья не хватает... Ну, и вот теперь из двенадцати человек группы пришли всего трое. Самые даровитые не пришли... Может быть, и не придут больше... «Ведь я говорила, что не могу больше быть пропагандисткой», — думала она с упреком и горечью. Нельзя вдалбливать людям в головы то, что самому представляется уже не совсем так: сложнее... Много неясного. Повторяешь чужие слова - холодно, скучно... Разве это не чувствуется? Не хватило характера отказаться наотрез.

Холод проник в нее до костей: там, в большой столярной мастерской, не топили сегодня, в расчете, что собравшиеся рабочие натопят ее своим дыханием, и те, которые пришли, все время мерзли и зевали. Теперь и мороз, и режущий лицо ветер были не так мучительны, как этот холод, забравшийся внутрь и дрожащий в спине.

В парке было совсем безлюдно и тихо. Темные стволы деревьев затеривались среди облепленных белым пухом инея ветвей, которые незаметно сливались с мутным и мягким, низко опустившимся слепым небом. Тихий шипящий свист вился между деревьями парка, приникал к ушам и нашептывал неясные, тревожные вопросы. При свете мелькнувшего фонаря Руднева увидела, что пряди волос ее, выбившись из-под шапочки и платка, обындели и стали совсем белые, словно седые. И на мгновение, как во сне от усталости, она представила себе старухой. Но сейчас же с испугом проснулась. Как?.. И жизни-то еще не было, подумала она. Ничего своего, настоящего не было. Нес вихрь, болела

душа, искала спасения для себя и других, в голове светились мысли — не свои, чужие: потом все станет ясно... Но время идет — все холоднее и темнее становится, мучат сомнения, — вдали от этих споров и самоуверенных возражений, от которых трещит голова и все свое путается и разлетается.

Яркий, отраженный снегом свет ударил по лицу — ледяной свет тройных электрических шаров, уходящих вдоль по улице к широкому горбатому мосту. А! Вот здесь это было! Не верится, что действительно было, вспоминается, как лихорадочный сон... Блестит солнце; густые черные толпы народа рядами идут на праздник; это их праздник, они верят — и, глядя на них, хочется подавить темную возрастающую тревогу, верить вместе с ними и плакать. И вдруг такое страшное: смятение, крики, бегут и сбивают с ног, казаки мчатся, хочется тоже бежать и кричать во весь голос, и вдруг — большая лужа крови на снегу, барашковая шапка в крови: мертвый лежит — молодое лицо с усами, прядь темных волос через лоб. Так похож на кого-то близкого... Потом, сквозь ужас и горячку тех дней, все мелькало это — личное, никому не важное: шапка в крови и мысль: на кого он похож? Кто-то тайно прикоснулся к душе. Когда? Где? Чудится порою что-то, вспоминается — чего, может быть, и не было...

Больно глазам от этого режущего белого света; одинокие пешеходы на мосту ежатся от ветра, разгулявшегося над широкой занесенной снегом рекой, — и бегут, пригибаясь к земле. Нельзя перевести дыхание, и ноги подкашиваются... Надо идти дальше, побороть себя. Кажется, будто эта победа над собою разрешит что-то, принесет отраду.

Гирлянды фонарей вдоль по набережной точно иллюминация. Бедный извозчик — весь побелел, прыгает и машет руками. Нет, надо пойти пешком. Больно, словно тонкими железными прутьями бьют по лицу, — все равно; все стынет кругом, давит, душит... За что такая пытка на земле?.. Холод и темнота, а люди маленькие, бессильные. Греются у костров, у больших жаровен. Черные как уголь, освещенные красным. Ничего не могут придумать лучшего. Когда-ни-

будь вся земля остынет, и люди замерзнут...

Тут тише, и глазам не больно. Подъезды заперты: больше двенадцати часов. Как странно: магазин освещен; цветы... Руднева внезапно остановилась: за ярко освещенным зеркальным окном запертого магазина цвели розы, лилии и белые гиацинты, виднелись большие склоненные листья пальм. Как странно: в такую ночь...

Она с трудом оторвалась глазами от этого окна... Точно теплее стало вдруг кругом. Чудом, радостью, обещанием общего спасения промелькнули перед ней эти нежные душистые цветы, возвращенные и сохраненные человеком среди все убивающего мороза... Раньше никогда не думала об этом. Не было этой тоски, страха перед жизнью — мысли, что она может смять, задушить, обезличить; что нужно бороться с нею из-за ограды, давать ей отпор от себя... Вращивать и охранять от мороза свое... Прежде такими близкими были товарищи, и казалось, что святыни общие. Общие — это тогда, когда есть и свое, что становится общим достоянием. А если своего нет, то это уж не общее, а просто чужое... Теперь ясно, что своего не было: значит, нет своего, если не умеешь возразить, как следует. Тупость эта, самоуверенность. Что такое сочельник для сознательных? Однако ведь вот они не пришли. Потому что они хотят Праздника... Да, Праздник — необычное, свобода от чужих дел. Они ведь только и делают, что чужие дела — навязанные; они продают себя. Нужно же хотя день свободы, мечты о радости... Дети, огни... Цветы душистые среди мороза. Разве мы можем заменить это чем бы ни было? Нет этого — и нет сил жить...

Теперь уж недалеко до дому — всего одна улица. «Не топтели у меня, пожалуй, — ушла рано, не попросила», — подумала вдруг Руднева и чуть не заплакала от этой мысли: такой бесприютной и безрадостной показалась ей вся ее жизнь. И длинный путь, который она только что прошла, побеждая для чего-то муки холода и усталости, представился ей бессмысленным: зачем? чтобы сидеть в пустой и холодной комнате? Никого нет, даже родных нет в Петербурге, к которым можно было бы пойти в эти дни: посидеть в уютной квартире, посмотреть на елку в огнях.

Вот наконец дом. Запертая дверь внизу, сердитый заспанный швейцар, высокая лестница. Последние тоскливые усилия подъема, длинный коридор. Все спят... Тепло в комнате — как странно. Позаботились натопить... И теплота кажется приветливой и душистой, волнуется, как неожиданная ласка.

Она сбросила промерзшую шубку, кинулась, не зажигая свечи, на диван и несколько минут лежала неподвижно, дрожа не то от забравшегося в спину холода, не то от этого внезапного, успокоившего и взволновавшего ее тепла. Пахнет цветами... Что это? Она протянула руку к столу, на котором что-то смутно темнело, и отдернула: пальцы коснулись чего-то мягкого, живого. Она быстро поднялась и с бьющимся сердцем стала зажигать свет... Темно-красные розы на длинных зеленых ветвях. Голова закружилась от изумления: откуда?.. сон?.. Они смотрели на нее при колеблющемся свете не разгоревшейся свечи и будто шевелились, расправляя свои изогнутые бархатистые лепестки.

Руднева стала лихорадочно искать какого-нибудь письма, записки — ничего не было. Кто же это?.. Как странно... Никто, решительно никто не мог прислать ей такие роскошные цветы. Она невольно взглянула в зеркало: усталое, иззябшее лицо с беспокойными глазами, с примятыми шапочкой волосами, отволгшими и некрасиво растрепавшимися на висках. Она нетерпеливо оправила их и еще недоверчивее взглянула на цветы: «Может быть, это не мне... Спросить нужно...». Волнуясь и смущаясь, она побежала в темную кухню — разбудить прислугу, узнать что-нибудь. «Принесли из магазина». Это ничего не объясняет, напрасно разбудила усталого человека. Она вынула цветы из графина с водой и, держа обеими руками мокрые стебли, стала вглядываться в их живую благоухающую красоту. Такие же розы за зеркальным стеклом магазина вспомнились ей, и в голове мелькнула тихой улыбкой, как сквозь сон, — мысль, что это те цветы пришли к ней, потому что она думала о них... Или все это во сне? Потому что ведь никто не мог прислать!

Капли воды с длинных неровных стеблей бежали по ее пальцам. Она сидела, забившись в угол дивана, и все глуб-

же и глубже вдыхала теплый и сладкий, влекущий аромат, словно пытаясь различить в нем какие-нибудь понятные образы или слова, пока у нее не потемнело в глазах. Мягкие прохладные цветы коснулись разгоревшегося после мороза лица. Озноб опять побежал по спине. Верно, по ошибке принесли, подумалось еще раз, и сердце стеснилось тоскою. Она поставила цветы в графин, устало потянулась и заметила, что мучительный лом во всем теле не прекращается и в тепле. Свеча, горевшая против нее на столе, резала глаза, и от ресниц шли во все стороны острые золотые лучи. В круглящихся темно-красных лепестках роз переливалась при свете огня теплая кровь. Упругие стебли с шипами и веточками помятых зеленых листьев гнулись в одну сторону, и цветы, обернувшись к ней, пристально смотрели ей в душу.

Подложив под голову диванную подушку и прикрывшись шубкой от озноба, она беспокойно перебирала в уме знакомых, товарищей, мужчин и женщин. Но эти цветы не от женщины, словно шепнул ей кто-то, и она вся покраснела... Нет, это невозможно. Этого еще никогда не было, никогда... В ранней юности, в провинции... Но то было такое юное, детское. А теперь... Нет, есть милые, расположенные люди, теплые отношения... Но не это. Разве можно было бы не заметить этого, если бы кто-нибудь действительно... Разве можно не заметить, если такая тоска в душе, что хочется умереть?.. Все хуже ломит тело, противная истома подступает к сердцу, трогает каким-то липким пухом губы... Давит голову тяжелая дремота... «Должно быть, я простудилась», — мелькает тревожная и скучная мысль. Но ведь было что-то отрадное... Да, цветы из магазина... за стеклом, среди огней — и мороз ничего не может с ними сделать. Это так отратно. Человек придумал, как спасти их — самое нежное, душистое... Перехитрил, победил зиму, небо, мутное, холодное... Значит, можно победить. Можно жить. Нужны только стекла и костры большие... Огонь на снегу... Красные пятна живые на снегу... кровь... Горячие волны побежали в груди, подступили к сердцу...

Руднева открыла глаза — сон разорвался на минуту. Цветы по-прежнему глядели на нее сквозь знойный золотой туман. Кто-то прислал все-таки... Горячий, ласковый, молчаливый... Издали. Нельзя догадаться кто. Но кто-то такой был. Нельзя вспомнить, потому что давит голову: словно череп тесен. Какие-то осколки, твердые, сухие, навалены на мозг — и давят. Это слова мертвые, чужие мысли. Давят свое... Некогда было обдумать... Больно, горячо, трещат в мозгу искры. Будто огонь в голове разгорается. Больно, но это хорошо, нужно: чужие мысли сгорят, и станет легко. Это было неизбежно: чужие мысли тоже нужны, как дрова в огне. Но главное, чтобы был огонь... И в груди огонь. Горит и волнует, как радость, как запах цветов. Потому что цветы там, где тепло, где огонь. И мороз не тронет их... Солнце далеко, не греет больше, но люди сами горят, как солнца. Миллионы солнц на земле, и везде радость.

.

Что это звонит вдали?.. Белые ветви сплетаются и уходят в мутное небо. Ветер шумит между деревьями... Дрожь опять бежит по всему телу, и зубы стучат от холода. Снег гладкий светится. Опять кровь, мертвая шапка в крови... Откуда это? Страшно! Мутит сердце, и никак нельзя понять, никак нельзя вспомнить чего-то. Давит череп — тесно, ничего не видно, как в заколоченном гробу. Пахнет цветами: сверху, на гробу, положены цветы. Не видно, кто положил их. Нужно угадать, найти его... Тогда загорится сердце, и огонь сожжет все, что давит, — сожжет мороз и смерть. Тогда не будет больше этой крови на снегу. Будет свободно, тепло, горячо...

Так горячо и нежно... Так хорошо теперь... Так вот кто это был!.. Не видно лица, но ведь сердце чувствует и бьется, бьется... Крепко прижал к себе, рука тихо гладит по волосам, как в детстве, но такая радость в груди — недетская радость: муки кончились, ужасы кончились, горят мысли прозрачным тихим огнем, горит кровь и душа... Все светится кругом, как весною.

Люди идут куда-то густыми черными толпами. Надо идти с ними — это Праздник: они дождались, победили, и земля уже больше не замерзнет...

.

Поздно утром прислуга вошла в комнату, чтобы взять у жилицы цветы, которые по ошибке подали не в тот номер и которые лакей из соседней квартиры готов был разыскивать по всему дому. На столе догорала оплывшая свеча. Руднева лежала на диване, прикрытая шубкой, с потемневшим лицом, с потными разбившимися волосами, — и невнятно бредила.

Федор Сологуб

Отравленный сад

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила.

А. С. Пушкин

I

— Прекрасный Юноша, о чем ты задумался так глубоко? — спросила Старуха, у которой Юноша снимал комнату.

Она тихо вошла вечером в его полутемную комнату и, еле слышно шелестя по крашенному буро-красною краскою неровному полу мягкими туфлями, приблизилась к Юноше и стала у его плеча. Он вздрогнул от неожиданности — уже с полчаса стоял он у единственного окна своего тесного покойчика в верхнем жилье старого дома и, не отрываясь, смотрел на открывающийся перед ним прекрасный Сад, где цвело множество растений, благоухающих нежно, сладко и странно. Отвечая Старухе, Юноша сказал:

— Нет, Старая, я ни о чем не думаю. Я стою, смотрю и жду.

Старуха укоризненно покачала седую головою, и узлы ее темного платка закачались как два остро поднятыеверху, настороженные уха. Ее морщинистое лицо, более желтое и сухое, чем у других старых женщин, живших на той же улице, на окраине громадного Старого Города, выражало теперь озабоченность и тревогу. Старуха молвила тихо и печально:

— Жаль мне тебя, милый Юноша.

Голос ее, хотя уже и старчески хриплый, звучал такую печалью, таким искренним состраданием, и ее уже бесцветные от старости глаза глядели так скорбно, что Юноше в полумраке его покоя вдруг на одно короткое мгновение показалось, что эти внешние признаки старости — только удачно надетая личина и что за нею скрывается молодая, прекрасная Жена, еще недавно только испытывавшая пронзавшую сердце скорбь Матери, оплакавшей погибшего Сына.

Но прошло это странное мгновение, и Юноша улыбнулся своей чудной мечте. Он спросил:

— Почему тебе жаль меня, Старая?

Старуха стала рядом с ним, посмотрела в окно на Сад, прекрасный и цветущий, и весь осиянный лучами заходящего солнца, и сказала:

— Мне жаль тебя, милый Юноша, потому что я знаю, куда ты смотришь и чего ты ждешь. Мне жаль тебя и твоей матери.

Может быть, от этих слов, а может быть от чего-нибудь иного что-то изменилось в настроении Юноши. Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг показался ему почему-то странным, и темное чувство, похожее на внезапный страх, жутким замиранием оставилось у его сердца, точно рожденное пряными и томными ароматами, исходящими от ярких внизу цветов. «Что же это?» — подумал Юноша в недоумении.

Он не захотел поддаваться томному очарованию вечерней тоски, сделал над собою усилие, улыбнулся, быстрым движением сильной руки откинул с высокого лба прядь черных волос и спросил:

— Что же нехорошего в том, на что я смотрю и чего я жду? И почему ты знаешь, чего я жду?

И в эту минуту он был веселый, смелый, прекрасный, и черные глаза его пылали, и румяные щеки его рдели, и алые, яркие губы его казались сейчас только поцелованными, и из-за них сверкали крепкие, белые зубы, веселые, злые. Старуха говорила:

— Милый Юноша, ты смотришь на Сад и не знаешь, что это — злой Сад. Ты ожидаешь Красавицу и не знаешь, что красота ее пагубна. Два года прожил ты в моей комнате и ни разу не засматривался так, как сегодня. Видно, и твой черед настал. Пока еще не поздно, отойди от окна, не дыши дыханием коварных цветов и не жди, чтобы под окно твое пришла чаровать Красавица. Она придет, она зачарует, и ты пойдешь за нею, куда не хочешь.

Говоря так, Старуха зажгла две свечи на столе, где лежали книги, захлопнула окно и задернула у окна занавеску. С легким скрежетом провлеклись по медному пруту кольца, заколыхалось и опять спокойно легло желтое полотно за-

навески — и в комнате стало весело, уютно и спокойно. И казалось, что нет за окном Сада и нет в мире очарований, и все просто, обычно, установлено раз навсегда.

— А и правда, — сказала Юноша, — я никогда не обращал внимания на этот Сад и сегодня только в первый раз увидел Красавицу.

— Уже увидел, — печально сказала Старуха. — Уже упало в твою душу злое семя очарования.

А Юноша говорил не то Старухе, не то рассуждая сам с собою:

— Да раньше и некогда было. Днем на лекциях в университете, вечером — за книгами и с веселыми товарищами и милыми девушками на вечеринке или в театре, где-нибудь на галерке, а то так и в партере по студенческой контрамарке, когда платной публики мало: антрепренеры нас любят, мы хлопаем усердно и кричим, вызывая актрис, пока не погасят всех огней. Летом уедешь к родителям. Так, только слышал, что рядом великолепный Сад нашего профессора, знаменитого Ботаника.

— Потому и знаменитый, что черту душу продал, — сердито сказала Старуха. Студент рассмеялся весело.

— А все-таки, — сказал он, — мне странно, что я никогда до сегодняшнего вечера не видал его дочери, хотя и слышал много об ее дивной красоте и о том, что многие знатные юноши Старого Города и из других мест, близких и дальних, добивались ее любви и надеялись, и обманывались, а иные даже и умирали, не стерпев ее холодности.

— Она — коварная, — сказала Старуха. — Она знает цену своим чарам и показывает не всем. Нищему студенту трудно свести с нею знакомство. Отец обучил ее многому, чего и ученые не знают, но на ваши сходки она не ходит. Она больше с богатыми, от которых можно ждать многих подарков.

— Старая, сегодня я хорошо видел ее, и мне кажется, — возражал Юноша, — что девица с таким прекрасным лицом, с такими ясными глазами, с таким грациозными манерами и одетая так красиво не может быть коварною и корыстною и гнаться за подарками. Я твердо решил, что познакомлюсь

с нею. Сегодня же пойду к Ботанику.

— Ботаник тебя и на порог не пустит, — говорила Старуха. — Его слуга о тебе и докладывать не пойдет, как увидит твою поношенную одежонку.

— Что ему за дело до моей одежды! — с досадою сказал Юноша.

— Да вот разве если бы ты на крылатом змее приехал, — сказала Старуха, — так, пожалуй, пустили бы и на твои заплаты не поглядели бы.

Юноша засмеялся и воскликнул весело:

— Что ж, Старая, и крылатого змея оседлаю, коли иначе туда не попасть будет!

— Да уж от ваших забастовок добра не ждать, — ворчала старуха. — Учились бы смиренно, и все было бы хорошо. И тебе бы не было никакой печали до этой хитрой Красавицы и до ее страшного Сада.

— Что страшного в ее Саду? — спросил Юноша. — А не бастовать нам никак нельзя было: наши права и права университета нарушены — неужели же мы смиренно подчинимся?

— Юноши должны учиться, — ворчала Старуха, — а не права разбирать. А ты, милый Юноша, прежде чем с Красавицей знакомиться, в ее Сад взглядишь хорошенько из окошка, завтра утром, при свете солнца, когда все видно ясно и верно. Ты увидишь, что в этом саду нет цветов, которые здесь всем знакомы, а цветов, какие там есть, никто у нас в Городе не знает. Подумай-ка об этом хорошенько — ведь это неспроста. Бес коварен — не его ли это создания на пагубу людям?

— Это — растения чужестранные, — сказал Юноша, — они привезены из жарких стран, где все иначе.

Но уже Старуха не хотела больше разговаривать. Она досадливо махнула рукою и, шаркая туфлями, сердито и неразборчиво бормоча неласковые слова, вышла из комнаты.

Первым побуждением Юноши было — подойти к окну, отдернуть желтое полотно занавески и опять смотреть в очаровательный сад и ждать. Но помешали: пришел Товарищ, шумный, нескладный молодой человек, и позвал Юношу идти в место, где они часто собирались, чтобы говорить мно-

го, спорить, шуметь и смеяться. По дороге Товарищ, смеясь, негодуя, размахивая руками больше, чем бы следовало, рассказал Юноше о том, что происходило сегодня утром в аудиториях и в университетских коридорах, как были сорваны все лекции, как были посрамлены противники забастовки, какие прекрасные слова говорили любимые, хорошие профессора и как смешно вели себя профессора нелюбимые и, значит, нехорошие. Юноша провел интересный вечер. Говорил волнуясь, как все. Слушал искренние, горячие речи. Смотрел на товарищей, лица которых выражали и беззаботную смелость молодости, и ее пламенное негодование. Видел девушек, милых, умных, скромных, и мечтал о том, что из их веселого круга изберет себе подругу. И почти забыл о Красавице в очаровательном Саду. Вернулся домой поздно и заснул крепко.

II

Утром, когда он открыл глаза и когда взор его упал на желтое полотно занавески у окна, показалось ему, что ее желтизна окрашена багрянцем темного желания и что в ней есть какая-то странная, жуткая напряженность. Казалось, что солнце настойчиво и страстно упирает жгучие, горькие лучи в пронизанное золотым светом полотно и зовет, и требует, и волнуется. И в ответ удивительной внешней напряженности золота и багрянца огненную живостью наполнились жилы Юноши, упругую силою налились мускулы, и сердце стало, как родник ярых пожаров. Пронизанный сладко миллионами живящих и горящих, и возбуждающих игл, вскочил он с постели и с ребяческим веселым хохотом, не одеваясь, принялся прыгать и плясать по комнате.

Привлеченная необычным шумом, заглянула в дверь Старая хозяйка. Покачала укоризненно головою и ворчливо сказала:

— Милый Юноша, пляшешь и радуешься, и всех беспокоишь, а чему рад, и сам не знаешь, и не ведаешь, кто стоит

под твоим окошком и что она тебе готовит.

Юноша смутился и стал тих и скромн, как раньше, что и согласно было с его характером, и соответствовало прекрасному воспитанию, полученному им дома. Он умылся старательнее обычного, оттого, может быть, что не надо было сегодня спешить на лекции, а может быть, и по иной причине, и с таким же тщанием оделся, причем долго чистил свою изрядно уже поношенную одежду: новой у него не было, так как родители его были не богаты и не могли присылать ему много денег. Потом подошел он к окну. Сердце его забилося тревожно, когда от отдернул желтое полотно занавески. Очаровательное зрелище открылось перед ним — хотя сегодня он сразу заметил, что есть что-то странное во всем виде этого обширного, превосходно расположенного Сада. Что именно его удивляло, еще он сразу не понял, и внимательно стал рассматривать Сад.

Что же было неприятного в его красоте? Отчего так больно замирало сердце Юноши? То ли, что все в очаровательном Саду было слишком правильно? Дорожки разбиты прямо, все одинаковой ширины и однообразно усыпаны ровным слоем желтого песку; растения рассажены с тщательной порядливостью; деревья подрезаны в виде шаров, конусов и цилиндров; цветы подобраны по тонам, так что сочетание их ласкало глаз, но почему-то ранило душу.

Но, рассуждая здраво, что же неприятного в том порядке, который свидетельствует, что кто-то неусыпно заботится о Саде? Нет, не в этом, конечно, была причина странного беспокойства, томившего Юношу. В чем-то другом, еще непонятном Юноше. Одно было несомненно, что этот Сад не был похож ни на один из тех садов, которые довелось на своем веку повидать Юноше. Он видел здесь цветки громадные и слишком яркой окраски — порою казалось, что разноцветные огни пылали среди буйной зелени, — бурые и черные стебли ползучих растений, толстые, как тропические змеи, листья странной формы и непомерной величины, зелень которых казалась неестественно яркою. Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи ванили и ладана, и горького миндаля, сладкие и горькие,

торжественные и печальные, как ликующая погребальная мистерия.

Юноша чувствовал на своем лице нежные, но бодрящие прикосновения легкого ветра. В саду же, казалось, ветер не имел силы и в изнеможении улегся на спокойно-зеленой траве и в тени под кустами странных насаждений. И оттого, что деревья и травы странного Сада были бездыханно тихи и не слышали тихо вьющего над ними ветра, и ничем не отвечали ему, она казались неживыми. А потому лживыми, злыми, враждебными человеку.

Впрочем, одно из растений шевелилось. Но, взглядевшись, Юноша засмеялся. То, что он принял за безлистный ствол странного растения, был человек небольшого роста, тощий, в черной одежде. Он стоял перед кустом с ярко-пурпурными цветами, потом медленно пошел по дорожке, опираясь на толстую палку и приближаясь к тому окну, из которого глядел Юноша. Не столько по лицу, которое, будучи прикрыто широкими полями черной шляпы, только отчасти было видно сверху, сколько по манерам и походке Юноша узнал Ботаника. Не желая показаться нескромным, Юноша немного отодвинулся от окна в глубину комнаты. Но вдруг увидел он, что навстречу Ботанику шла Красавица, его юная дочь.

Ее нагие руки были подняты к сложенным на голове черным косам, потому что в это время она вкалывала в волосы ярко-пунцовый цветок. Ее легкая, короткая туника была застегнута на плече золотою пряжкой. Ноги ее, покрытые легким потемневшим загаром, до колен открытые, были стройны, как ноги воскресшей богини. Сердце Юноши забилось, он забыл всякую осторожность и скромность, опять бросился к окну и жадно глядел на милое видение. Красавица кинула в его сторону быстрый, пламенный взгляд, — и синие из-под черных ровных бровей сверкнули очи, — и улыбнулась нежно и лукаво.

Если бывают люди счастливы, если светит им порою безумное солнце радости, сладким кружением восторга унося в запредельные страны, — то где слова, чтобы сказать об этом? И если есть на свете красота для очарований, то как описать ее? Но вот остановилась Красавица, пристально по-

смотрела на Юношу и засмеялась радостно и весело — в несказанном кружении восторга забыл Юноша о всем, что есть на свете, стремительно наклонился из окна и закричал голосом, звонким от волнения:

— Милая! Прекрасная! Божественная! Приди ко мне! Люби меня!

Красавица подошла близко, и Юноша услышал тихо звенящий, ясный голос, каждый звук которого сладкою мукою ранил его сердце:

— Милый Юноша, знаешь ли ты цену моей любви?

— Хотя бы ценою жизни! — восклицал Юноша. — Хотя бы у темных ворот Смерти!

Зарею пылающей и смеющейся стояла Красавица перед Юношей и простирала к нему стройные, обнаженные руки. И говорила, и веял от ее слов аромат обольстительный, томный, как вздохи нежной туберозы.

— О, милый Юноша, мудрый и страстный, ты знаешь, ты видишь, ты дождешься. Многие любили меня, многие жаждали обладать мною, прекрасные, юные, сильные, многим улыбалась я улыбкою обаятельною, как улыбка последней утешительницы, но никогда никому до тебя не говорила я сладких и страшных слов: люблю тебя. Теперь хочу и жду.

Страстью и желанием звенел ее голос. Она отвязала от пояса шелковый черный шнурок с бронзовым на нем ключом и уже взмахнула рукою, чтобы бросить ключ Юноше, но не успела. Отец уже спешил к ней, заметив еще издали, что она заговорила с незнакомым Юношей. Он грубо схватил ее за руку, отнял от нее ключ и закричал хриплым, старческим голосом, противным как тяжелое карканье старого ворона на кладбище:

— Безумная, что ты хочешь сделать? Не о чем тебе с ним говорить. Этот Юноша не из рода тех, для кого взрастили мы наш Сад, смешав соки этих растений с ядовитую смолу Анчара. Не для таких, как этот голяк, погиб наш предок, надышавшись тлетворным ароматом страшной смолы. Иди, иди домой и не смей говорить с ним.

Старик повлек дочь к дому, видившемуся в глубине Са-

да. Он крепко сжимал ее руки, обе захватив одною своею рукою. Красавица покорно шла за отцом и смеялась. И был смех ее ясен, звонок и жалил тысячами острых жал пламенеющее сердце Юноши.

Он еще стоял у окна, долго всматривался напряженными глазами в расчисленные и расчищенные дали очарованного Сада. Но уже Красавица больше не показывалась. Все тихо и недвижно было в дивном Саду, и бездыханными казались чудовищно яркие цветы, и от них доходил до Юноши аромат, кружащий голову, жутким томлением сжимающий сердце, аромат, напоминающий темные, стремительные, жадные вздохи ванили, цикламена, датуры и тубероз, злых несчастных цветов, умирающих, умерщвляя, чарующих смертною тайною.

III

Юноша твердо решил проникнуть в дивный Сад, надышаться таинственными ароматами, которыми дышит Красавица, и добиться ее любви, хотя бы ценою за нее была жизнь, хотя бы путем к ней был путь смертный, путь безвозвратный. Но кто бы помог ему проникнуть в дом старого Ботаника?

Юноша ушел из дому. Долго ходил он по Городу и всех, кого знал, расспрашивал о Красавице, дочери Ботаника. Одни не могли, другие не хотели ввести его в дом старого Ботаника, и о Красавице все говорили недоброжелательно. Товарищ сказал ему:

— Все молодые Оптиматы Города влюбляются в нее и хвалят ее изысканную и утонченную красоту. Нам же, Пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна; ее мертвая улыбка нас раздражает, и безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно.

Девушка, вторя ему, говорила:

— Ее красота, о которой говорят так много праздные и богатые юноши, вовсе даже не красота, на наш взгляд. Это

мертвая красивость разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. От нее пахнет, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно.

Популярный Профессор говорил:

— Коллега Ботаник — знаменитый и ученый человек, но он не хочет подчинять свою науку высоким интересам гуманности. Его дочь, говорят, очаровательна; некоторые говорят об оригинальности ее костюмов и манер; впрочем, я не имел случая беседовать с нею более или менее обстоятельно; притом же в нашем кругу ее редко можно встретить. Думаю, однако, что ее очарования заключают в себе нечто вредное для здоровья, — до меня дошли странные слухи, за достоверность которых, конечно, я не ручаюсь, слухи о том, что процент смертности среди посещающих этот дом молодых аристократов выше среднего.

Аббат, с тонкою улыбкою на бритом бледном лице, сказал:

— Когда Красавица приходит ко мне в церковь, она молится слишком усердно. Можно подумать, что она замаливает тяжелые грехи. Но я надеюсь, что нам не доведется увидеть ее стоящей на паперти в шерстяной сорочке кающейся грешницы.

Мать, выславши из комнаты дочерей, сказала:

— Я не понимаю, что в ней находят привлекательного. На нее разоряются, она кокетничает, разбивает сердца юношей, отнимет женихов от невест, а сама никого не любит. Я не позволю моим милым дочкам, Миночке, Линочке, Диночке, Ниночке, Риночке, Тиночке и Зиночке, вести с нею знакомство. Они у меня такие скромные, милые, любезные, веселые, приветливые, прилежные, такие хозяйки, такие рукодельницы. И как мне ни жаль расставаться с ними, но, так и быть, старшенькую я выдала бы замуж за такого скромного юношу, как вы.

Юноша ушел поспешно. Семь сестриц улыбались ему из окна, теснясь одна за другую. Это было зрелище милое и приятное, но сердце Юноши полно было сладкими, жуткими мечтами о Красавице.

IV

Старый Ботаник привел свою дочь в дом. Его гнев смягчился, и хотя он до самого порога не выпускал из своей руки с большими костлявыми пальцами сложенных вместе тонких рук весело улыбающейся Красавицы, но уже он не жал их так больно и не толкал ее так грубо. Его лицо было печально. Он выпустил руки своей дочери, и она сама послушно вошла за ним в его кабинет — огромную, мрачную комнату, стены которой были загромождены полками с множеством книг, громадных, запыленных. Ботаник сел в обитое темную кожу кресло у своего тяжелого дубового стола. Он казался усталым. Прикрыл глаза, еще юношески блестящие, пергаментно-желтою, дрожащею рукою и укоризненно смотрел из-под руки на дочь. Красавица стала на колени у его ног и смотрела снизу в лицо старого Ботаника, и улыбалась нежно и покорно. Она стояла прямо, с опущенными руками, и в позе ее была смиренная покорность, и в улыбке обольстительных уст было нежное упрямство. Лицо ее казалось побледневшим, и казалось, что на губах ее зыбко пламенеет безумие смеха и что в синеве ее глаз затаилось безумие тоски. Молчала и ждала, что скажет отец.

И он сказал медленно, словно с трудом находя слова:

— Милая, что же я слышал? Не ждал я от тебя этого. Зачем ты это сделала?

Красавица склонила голову и тихо сказала:

— Отец, рано или поздно это же должно совершиться.

— Рано или поздно? — спросил отец как бы с удивлением. И продолжал: — Так пусть это лучше совершится поздно, чем рано.

— Я пламенею, — тихо сказала Красавица.

И улыбка на ее устах была как отблеск знойного пыления, и в глазах ее затаились синие молнии, и ее обнаженные плечи и руки были, как тонкий алебастровый сосуд, наполненный расплавленным металлом. Порывисто дышала высокая грудь, и две белые волны рвались из тесных объятий ее платья, нежный цвет которого напоминал желтова-

тую розовость персика. Из-под складок недлинной одежды были видны трепетно лежащие на темно-зеленом бархате ковра стройные ноги. Отец тихо покачал головою и сказал печально и строго:

— Ты, милая дочь, столь опытная и столь искусная в дивном умении чаровать, оставаясь непорочною, должна знать, что еще рано тебе отходить от меня и бросать недовершенный мой замысел.

— Но ведь этому не будет конца? — возразила Красавица. — Они приходят вновь и вновь.

— Никто не знает, — сказал Ботаник, — будет ли этому конец и увидим ли мы завершение нашего замысла или передадим его иным поколениям. Но мы сделаем, что можем. Вспомни, что сейчас должен прийти к тебе молодой Граф. Ты поцелуешь его и дашь ему отравленный цветок по его выбору. И он уйдет, полный сладких надежд и трепетных ожиданий, и опять совершится и над ним неизбежное.

Выражение покорности и скуки легло на лицо Красавицы. И отец сказал ей:

— Иди.

Наклонился, поцеловал ее в лоб. Красавица прильнула знойно-альми губами к его морщинистой, желтой руке, прижалась к его сухим коленям белою, полуобнаженною грудью, вздохнула и встала. И вздох ее был, как свирельный стон.

V

Через полчаса Красавица, нежно улыбаясь, говорила молодому, красивому, надменному Графу, стоя перед ним в той же одежде среди Сада, у круглой клумбы с яркими, громадными цветами, от которых исходил одуряющий аромат:

— Милый Граф, вы хотите очень многого. Желания ваши слишком пылки и слишком нетерпеливы.

Улыбка ее была нежна и лукава, и непорочно-ясные взоры ее с ласковым любованием скользили по стройной фигуре молодого Графа и его богатому наряду, сшитому модно

и красиво из самых дорогих тканей и украшенному золотом и самоцветными камнями.

— Милая очаровательница, — говорил Граф, — я знаю, что ты была холодна ко многим, искавшим твоей благосклонности. Но ко мне ты будешь более ласкова. Я сумею добиться твоей любви. Клянусь честью, я заставлю потемнеть от страсти холодную синеву твоих глаз.

— Чем же вы, Граф, стяжаете мою любовь? — спросила Красавица.

Непроницаемо было выражение ее прекрасного лица, и ее голос не обличал того волнения, которое так легко овладевает девами, когда они слышат знойный голос внушенной ими страсти. Но самоуверенный, надменный Граф не смутился. Он говорил:

— От предков моих досталось мне немало сокровищ, и я сам золотом и отвагою приумножил их. Много у меня драгоценных камней, перстней, ожерелий, запястий, восточных тканей и ароматов, арабских коней, шелковых и атласных одежд, редкого оружия и другого много, чего и перечислить скоро не сумею, чего даже и не сразу и вспомню. Все я рассыплю у твоих ног, очаровательница: рубинами оплачу я твои улыбки, жемчугами твои слезы, золотом твои ароматные вздохи, алмазами твои поцелуи и ударом верного кинжала твою лукавую измену.

Красавица засмеялась. Сказала:

— Еще я не ваша, а уже вы боитесь моей измены и угрожаете мне. Ведь я могу и рассердиться на это.

Граф порывисто склонил перед Красавицей колени и осыпал поцелуями ее руки, гибкие и стройные, от нежной кожи которых подымалось легкое, жуткое благоухание.

— Прости моему безумию, очаровательная Красавица, — молил он, вдруг забывши свою надменность, — любовь к тебе лишает меня покоя и подсказывает мне дикие поступки и странные слова. Но что же мне делать! Я люблю тебя больше, чем мою душу, и за обладание тобою готов заплатить не только моими сокровищами, не только моей жизнью, но и тем, что дороже мне жизни и спасения души, — моей честью!

Красавица сказала очаровательно-ласково:

— Ваши слова тронули меня, милый Граф. Встаньте. Я не возьму с вас непомерной платы за мою любовь — она не покупается и не продается. Но кто любит, тот должен уметь и подождать. Истинная любовь всегда найдет путь к сердцу возлюбленной.

Граф поднялся. Изысканным жестом он оправил кружевные манжеты своего атласного зеленого кафтана и устремил на Красавицу долгий, восторженный взор. Глаза их встретились, и непроницаемо по-прежнему было выражение непорочно-светлых глаз Красавицы.

Охваченный смутною тревогою, которая в минуты смертной опасности охватывает даже надменных и самоуверенных, Граф отошел от Красавицы. На скамье недалеко лежал красиво изукрашенный резьбою дубовый ларец. Граф открыл его и с почтительным поклоном поднес Красавице. Солнечные лучи веселым смехом задрожали на бриллиантах и рубинах диадемы. Казалось надменному Графу, что сияние и смех падают на многоценные камни от рдеющих уст Красавицы. Но улыбка ее была такая же, как и раньше, и она любовалась подарком, как малоценным, хотя и приятным знаком внимания. Потом на миг опечалилась легко, отуманилась и сказала:

— Мои предки были рабами, а вы дарите мне диадему, от которой не отказалась бы и царица.

— Очаровательница! — воскликнул Граф. — Ты достойна и еще более блистающей диадемы.

Красавица улыбнулась ему приветливо, и опять опечалилась легко, отуманилась, и говорила тихо:

— Доля моих предков — горячие капли крови под бичами жестоких, а мне — торжественные рубины увенчанной радости.

И совсем тихо шепнула:

— Но не забуду.

— Что же вспоминать о давно минувшем! — воскликнул Граф. — Радостны дни светлой юности, а печаль воспоминаний оставим старости.

Красавица засмеялась, отгоняя смехом грусть, мгновен-

ную, как тучка, тающая на летнем солнце. Сказала Графу:

— За ваш прекрасный подарок, милый Граф, я дам вам сегодня один цветок по вашему выбору и один поцелуй. Только один.

Молодой Граф пришел в такой восторг и выражал его так стремительно и шумно, что Красавица повторила нежно и строго:

— Только один, не более.

И спросила Графа:

— Какой цветок хотите вы, милый Граф, получить от меня?

Граф ответил:

— Прекрасная обольстительница, что ты мне ни дашь, за вся я буду тебе несказанно благодарен.

Улыбаясь, говорила Красавица:

— Все цветы, которые вы здесь видите, милый Граф, привезены издалека. Они собраны с большим трудом и даже с опасностями. Прилежным уходом мой отец улучшил их форму, и окраску, и аромат. Долго изучал он их свойства, пересаживал их, скрещивал, прививал и, наконец, достиг того, что из бедных, диких, некрасивых полевых и лесных цветочков образовались эти очаровательные, благоуханные цветы.

— И самый очаровательный цветок — ты, милая Красавица! — воскликнул Граф.

— Аромат их многие находят слишком крепким и одуряющим. И я замечаю, что вы, милый Граф, бледнеете, — мы с вами слишком долго пробыли среди этих знойных ароматов. Я-то привыкла, я с детства надышалась ими, и сама кровь моя пропитана их сладкими испарениями. А вам не следует слишком долго стоять здесь. Выбирайте скорее, какой цветок вы хотите взять от меня.

Но молодой Граф настаивал, чтобы Красавица сама выбрала ему цветок, — он ждал с нетерпением ее второго подарка, обещанного поцелуя, — первого ее поцелуя. Красавица посмотрела на цветы. Лицо ее омрачилось опять легкой тенью печали. Вдруг быстро, словно движимая чужою волею, она протянула руку, столь прекрасную в ее обнаженной строй-

ности, и сорвала белый махровый цветок. Замедлила руку, склонила голову и, наконец, с выражением застенчивой нерешительности приблизилась к Графу и вложила цветок в петлицу его кафтана.

Аромат, сильный и резкий, пахнул в побледневшее лицо молодого Графа, и в томном бессилии закружилась его голова. Равнодушие и усталость овладели им. Едва помнил себя, едва чувствовал, как взяла его Красавица под руку и увела в дом от ароматов дивного Сада.

В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, Граф очнулся. Юношеская свежесть вернулась на его лицо, черные глаза его зажглись опять страстью, и он снова почувствовал радость жизни и буйство желаний. Но уже подстерегало его неизбежное. Рука, нагая, стройная, легла на его шею, а ароматный поцелуй Красавицы был нежен, сладок, долог. Две синие молнии ее глаз блеснули близко перед его глазами и призакрылись тихой тайною длинных ресниц. Жуткие огни сладкой боли вихрем закружились вокруг сердца молодого Графа. Он поднял руки обнять Красавицу, — но с легким криком она отшатнулась и, легкая, тихая, убежала, оставив его одного. Граф бросился за нею. Но в дверях розовой горницы встретил его старый Ботаник. Язвительна была улыбка тонких губ, алою чертою разрезавших пергаментно-желтое лицо. Граф смутился. С несвойственным ему замешательством, чувствуя во всем теле странную слабость, простился он со старым Ботаником и ушел.

Жуткие вихри сладкой боли все быстрее кружились вокруг сердца молодого Графа, когда он ехал домой верхом на вороном арабском скакуне, еле слыша звонкий стук подков о камни. Все бледнее становилось его лицо. Вдруг глаза его сомкнулись, рука опустила поводья, и он тяжело склонился, падая с седла. Испуганный конь взвился на дыбы, сбросил седока и помчался. Графа подняли уже мертвым, с разбитою о камни головой. И не знали, отчего умер. Дивились — такой был искусный наездник.

VI

Настала ночь. Сладко и тревожно светила полная луна, ворожа и чаруя лучами холодными, могильно-тихими. Смутным страхом полно было сердце Юноши, когда он подошел к своему окну. Руки его, захватив край желтой занавески, долго медлили и колебались, прежде чем он решился не спеша отвести в сторону занавеску. Медленно свиваясь, шуршало желтое полотно, и шелест его сходен был со змеиным еле слышным свистом в лесной заросли; и тихо звенели и скрежетали о медный прут медные легкие кольца.

Красавица стояла под окном и смотрела на окно, и ждала. И сердце Юноши дрогнуло, и не мог он понять, страхом или восторгом томилось его сердце. Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. Резкая тень лежала на земле у ее необурых ног. Освещенная сбоку луною, стояла Красавица, подобная резкому отчетливому видению. Складки белой туники были строги и темны. Темна была синева глаз Красавицы, загадочна была ее неподвижная улыбка. На странной успокоенности ее тела и ее одежды тускло поблескивала гладкая матовая пряжка, застегнутая на плече.

Красавица заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как тонкие серебряные цепи у зажженного кадила.

— Милый Юноша, я люблю тебя. Повинуясь твоему призыву, я нарушила волю моего отца и пришла к тебе, чтобы сказать: бойся меня и моих чар, беги от этого Старого Города далеко, а меня оставь моей темной судьбе, меня, упоенную злым дыханием Анчара.

— О, прекрасная! — отвечал ей Юноша. — Ты, которую я едва узнал и которая уже для меня дороже моей жизни и моей души, — зачем говоришь ты мне эти жестокие слова? Или ты не веришь моей любви, которая зажглась внезапно, но уже не погаснет?

— Я люблю тебя, — повторила Красавица, — и не хочу тебя погубить. Дыхание мое напитано ядом, и прекрасный Сад

мой отравлен. Тебе первому я говорю это, потому что я люблю тебя. Торопись же оставить этот Город, беги от этого Сада с его тлетворною красотою, беги далеко и забудь обо мне.

Упоенный восторгом и печалью, сладчайшею всех земных радостей, Юноша воскликнул:

— Возлюбленная моя! Что же мне от тебя надо? Не одного ли мгновения жаждет моя душа! Сгореть в блаженном пламени восторга и любви и у сладчайших ног твоих умереть!

Легкий трепет пробежал по телу Красавицы, и вся она стала как ясная радость зари за белым туманом. Торжественным, широким движением подняла она свои нагие руки, и вся стремилась к Юноше, и говорила:

— О, возлюбленный мой! Так будет, как ты хочешь, и с тобою умереть мне сладко. Иди же ко мне, в мой страшный Сад, и я расскажу тебе мою темную повесть.

Опять, как утром, в руке ее блеснул бронзовый ключ на розовой ленте. Засмеялась, — резво, как мальчик, отбежала назад, мелькая на смутно-желтом песке дорожки смутною белизною стройных ног, — размахнулась быстро и ловко — и метнула ключ в окно. Юноша протянул руки и на лету схватил ключ.

VII

Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыханием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоенные восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица голосом, звенящим, как хрупкий голос клавишин, говорила:

— Мои предки были рабами — но и рабы жаждут свободы. Повинуясь повелению господина, один из моих предков совершил утомительно долгий путь, чтобы достигнуть пустыни, где растет Анчар. Он собрал ядовитую смолу Анчара и принес ее господину. Отравленные стрелы доставили господину немало побед. А мой предок, надышавшийся злых

благоуханий, умер. Его вдова задумала отомстить злому роду победителей. Она воровала отравленные стрелы, мочила их в воде и, как многоценное вино, прятала эти настои в глубоких подвалах. Каплю настоя вливала она в бочку воды и этою водою поливала пустырь на краю Старого Города, где теперь наш дом и этот Сад. Потом брала каплю воды со дна этой бочки, вмешивала ее в хлеб и кормила им своего сына. И стала почва этого Сада отравленною, и сыну своему привила она яд. И с того времени весь род наш, из поколения в поколение, питался ядом. И ныне в жилах наших течет пламенеющая ядом кровь, и дыхание наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. И не слабеет сила нашего яда, пока живем мы в этом отравленном Саду, пока мы дышим ароматами этих чудовищных цветов. Семена их привезены издалека, — мой дед и мой отец были везде, где можно достать злые и вредные людям растения, — и здесь, в этой издавна отравленной почве, эти злые, эти пагубные цветы раскрыли всю свою гневную силу. Благоухая так сладко, так радостно, они, коварные, и росу, падающую с неба, претворяют в гибельную отраву.

Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять:

— Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота. Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никогда никому. Только одним поцелуем дарила я каждого — поцелуи мои были невинны, как поцелуй нежной сестры. И тот, кого я целовала, умирал.

Ужасом и восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями, томилась душа смущенного Юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные ру-

ки, воскликнул Юноша:

— Если в поцелуе твоём смерть, о, возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною!

— Хочешь! Не боишься! — воскликнула Красавица.

Бледное в лучах неживой луны лицо Красавицы стало как матовый светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие руки обвились вокруг его шеи.

— Мы умрем вместе! — шептала она. — Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер.

— Я пламенею! — шептал Юноша. — Я стораю в твоих объятиях, и мы с тобою — два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви.

Тускнела и падала печальная неживая луна — и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние, легкие вздохи.

Так, в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и стремительно, умер прекрасный Юноша — и на груди его умерла Красавица, сладким очарованием ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу.

Жан Жозеф Рено

В объятиях Сусанны

I

— Невероятное часто бывает вероятным, — сказал доктор Карлович.

Это был маленький, худенький, нервный человек с огромным белым лбом, который был весь в неровностях, и с острыми сверлящими глазками.

Одет он был в безукоризненный сюртук с двумя орденскими ленточками в петличке. Не только лицо его, но и руки у него были нервные. И когда он смеялся своим несколько пронзительным, странным смехом, то вытягивал руки, которые далеко выходили из манжет — худые, жилистые и волосатые — с драгоценным изумрудом на левом мизинце.

Дети генерала Анрио называли его «доктором-обезьяной». Родом он был, кажется, из Герцеговины. Ему было за пятьдесят лет. Он как-то внезапно увядал. Во время самого интересного разговора, который он сам же затевал, он вдруг останавливался, к чему-то прислушивался и, безучастный ко всему окружающему, исчезал. Хватались доктора, а его уж и след простыл.

Разговор происходил на террасе в старом доме, который крестьяне называли «замком», стоявшем на скалистом берегу Ламанша.

Был вечер. Солнце собиралось заходить. Огненно-пурпурные облака, низко растянувшись над закатом, отражались в золотой ряби моря, которое в этом месте становилось уже океаном. Вдали плыли суда.

На террасе, кроме генерала Анрио, наслаждавшегося с семьей отпуском, было еще два местных депутата и приехавший повидаться с генералом по очень важному государственному делу министр внутренних дел, краса и гордость третьей республики, Лигото. Он был совсем похож на молодого человека, и только седина на висках выдавала его солидность. В легонькой серенькой паре и в сдвинутой на затылок соломенной шляпе он походил скорее на писателя или на художника.

Хорошенькая пятнадцатилетняя Март наивно ухаживала за ним, тайно влюбленная в молодого министра. Никто не замечал этого, хотя об ее страсти знали меньшей брат ее Шарль и младшая сестренка Лиз, которой она во всем призналась вчера в саду перед тем, как ложиться спать.

Девочка краснела и улыбалась, и ей бы хотелось услышать, что думает Лигото о фантастическом музыканте, который бродит вокруг старых развалин верстах в пяти от их замка, и играет на скрипке каждый раз, как на море бывает буря и погибают корабли.

— Ревут волны, слышны стоны погибающих, бухает гроза, а он себе ходит и играет... и все какие-то старинные, старинные мотивы, — говорила Март и поглядывала на министра.

Тот сидел, заложив ногу на ногу, и, обеими руками облокотившись на балюстраду, смотрел вдаль.

Генерал Анрио, в военной тужурке, с седой козлиной бородкой, улыбался.

— Наша Бретань вообще суеверная страна. Прислуга рассказала детям множество легенд, и даже наша гувернантка всему стала верить. Разумеется, когда мы вернемся в Париж, все это выветрится... А вы, доктор, думаете, что многое невероятное вероятно?

— Я в этом убежден, — сказал Карлович. — Я люблю чудесное, — продолжал он. — Иначе я не приехал бы сюда и не поселился бы на скале с своей Милочкой.

— Дорогой доктор, вы сами принадлежите к разряду невероятных людей — извините меня. Вот уже второй месяц, как знаю я вас и не могу вас понять. Изъездить весь земной шар — побывать в Сибири, на Формозе, в Ост-Индии, в южной центральной Африке, в Турции, проводить железные дороги в Малой Азии и поселиться в нашей дикой Бретани не на короткое время, а приобрести оседлость и убить капитал на реставрацию разбойничьего гнезда — воля ваша... как бы вам сказать?... Простите солдатскую грубость! Но вы имеете право считать невероятное вероятным.

Доктор засмеялся. Бледно-синеватая кожа на его висках вся сморщилась, и он произнес:

— Во всяком случае, генерал, я вознагражден сторицей, потому что, живя в моем разбойничьем гнезде, как вы выразились, я за несколько лет имел возможность познакомиться не только с вами, но и со многими высокопоставленными французами, дружбой с которыми в высшей степени дорожу. Должен сказать, что все же я не постоянно пребываю на своей скале. Мои научные занятия требуют, чтобы я бывал то в Лондоне, то в Берлине, то в Петербурге и даже в Константинополе.

— И в Константинополе? — переспросил генерал.

— И в Константинополе, — повторил доктор, и глазки его забегали. — Конечно, кроме научных занятий, у меня есть чисто финансовые дела. Увы, я немножко финансист!.. Должен же я позаботиться о приданом для Милочки!

— Отчего ее давно не видно? — вдруг спросила Март, отчаявшись обратить на себя внимание министра.

— Разве я вам не говорил? Она уехала.

— Куда?

— В Берлин...

— С каким-нибудь важным поручением, не правда ли?

— Вы угадали, крошка. Я прочитал в газетах о том, что берлинский зоологический сад приобрел некоторые редчайшие породы африканских растений, которых нет в моей оранжерее, и я поручил Милочке предложить администрации в обмен на некоторые мои редчайшие растения всеядных росянок уступить мне хотя бы несколько веточек новостей. И так как только одна Милочка может уложить отводки и сохранить их, то я и предоставил ей случай прокатиться в столицу германской империи.

— Фантастический человек! — ласково-любезно сказал генерал Анрио.

— А ведь все будет зависеть от того, какие сведения привезет Лавардьер! — вдруг сказал Лигото, живо повернувшись к хозяйину дома, и на всем разбеге мыслей остановился.

Присутствие Карловича — человека, чересчур международного и загадочного, — заставило министра отложить беседу до более благоприятной минуты. Но, очевидно, политическая комбинация, обдуманная им, удовлетворяла его.

В качестве светского человека, он искусно повернул разговор.

— Виноват, — начал он, — если я не ослышался, вы, доктор, упомянули о всеядных растениях? Как я отстал от науки! Есть такие растения?

— Есть растения, которые питаются не только соками из земли и воздухом, но и мелкими насекомыми, муравьями, мушками и паучками, — стал пояснять доктор. — Во время путешествий моих по южной Африке я значительно расширил познания о семействе мухоловок. Я открыл растения, которые похожи на гигантских мухоловок. Принцип тот же. Как только постороннее тело попадает на середину листа, он смыкается, волосы, похожие на крючки и усеивающие края листа, взаимно скрещиваются, из паренхимы, т. е. из мякоти, выступает сок, вроде желудочного, переваривает насекомое и, как я имел возможность наблюдать, даже лягушку, ящерицу и птичку! Я пробовал класть на такой лист цветы, они тоже поглощались и переваривались. Вот почему я назвал эти растения «всеядными».

Доктор протянул руки, сцепил пальцы и потом раскрыл обе ладони.

— Когда растение насытилось, лист раскрывается вот так и выбрасывает остатки.

Он резко засмеялся.

— В высшей степени странный механизм! Чудовищный механизм! Я наблюдал прожорливость необычайную. Некоторые виды пожирают животную пищу без остатка. Они усваивают ее всю целиком — и растут, растут...

— Я читала в одной сказке про деревья, у которых были глаза; и целое государство состояло из деревьев с глазами, с руками и огромными ртами, — вмешалась Март.

— Разве я не сказал, что невероятное бывает вероятным! — скрипучим голосом заметил на это доктор.

Но тут он умолк и в то время, как все заинтересовались и ждали его дальнейших описаний чудесных растений, он быстро встал, со странной юркостью подал руку и простился.

Март побежала его проводить.

II

— Не очень-то люблю я эти международные знаменитости, — сказал после ухода доктора Лигото. — Мне кажется, что он врет, как шарлатан.

— Я не считаю его шарлатаном, — возразил генерал. — Когда Лиз заболела дифтеритом и все признали ее случай смертельным, Карлович один обнадежил меня, сделал инъекцию, и ребенок на другой день был здоров. То, что он знает, он знает великолепно.

— Если бы он не занимался железнодорожными концессиями в Малой Азии и не был бы основателем лопнувшего персидского банка, я ничего не имел бы против него. Но мне известно, между прочим, что он был даже в лагере Сумасшедшего Дервиша, что-то делал при дворе короля абиссинского, и о нем писали когда-то, что, проживая в стране антропофагов Ньям-Ньям, он избавился от своей сварливой жены, предложив ее в подарок на жаркое его величеству королю ньям-ньямскому. У меня хорошая память. Я был тогда еще студентом, и какой-то путешественник в публичной лекции, в Сорбонне, обвинял Карловича в этом преступлении. Факт казался таким невероятным, что, когда путешественник стал сообщать подробности о том, как мадам Карлович была умерщвлена, выпотрошена, нашпикована свиным салом и наткнута на вертел королевской кухни, причем голова ее была удалена, в аудитории раздался неудержимый взрыв смеха, сконфузивший лектора. Но вы сами слышали, как Карлович сказал, что невероятное бывает иногда вероятным.

— Хе! Способ отделаться от жены оригинальный! — вскричал со смехом генерал. — Но знаете, когда невероятное смешно, тогда его, конечно, не бывает. И это чересчур пахнет остроумием наших бульварных юмористических листов.

Сам министр рассмеялся.

— Вы мне что-то хотели сказать? — спросил генерал, предлагая гостю дорогую сигару и подвигая ему фельянтин.

— Да, — отвечал Лигою. — И хотя в данном случае едва ли Карлович опасен, но я инстинктивно замолчал. В своей политической деятельности я часто опирался на этот инстинкт и в проигрыше не был. А хотел я сказать, что сведения Лавардьера будут драгоценны, и судьба союза зависит от них. Мало сказать — сведения! Следовало бы сказать документы, которые он привезет с собою. По моим расчетам, ввиду спокойного моря, он должен вернуться из Англии завтра утром. От Кале по железной дороге до станции Вильнев и затем час на автомобиле — сюда.

* * *

Замок Анрио, таким образом, должен был завтра сделаться пунктом, где завяжется, может быть, узел новой европейской истории.

Услыхав гармоничный рев автомобиля доктора Карловича, который заряжал свой экипаж не эссенцией, а электрическим аккумулятором, полученным им непосредственно от самого Эдисона — Карлович между строк любил похвастать своим влиянием на электрические идеи американского физика — генерал встал и позвонил.

— Пусть повар придет ко мне в кабинет, так как особым завтраком, — последние слова были сказаны уже по адресу гостя, — я хотел бы отпраздновать одно великое событие.

— Вы очень любезны, мой друг, — сказал министр и пожал руку Анрио.

III

Быстро смеркалось, и над шумящим приливом взошла бледно-розовая луна. Наступила тихая, теплая июльская ночь, пропитанная благоуханиями цветущих лип, ночных цветов и запахом морских водорослей, приносившимся изда-

ли. В замке легли спать. Но в сад, в плаще с капюшоном, выбежала Март в коротеньком платье, прокралась в самый конец липовой аллеи и, по деревянной лесенке взобравшись на каменную стену, мечтательно стала смотреть на песчаные ланды, теперь освещенные фосфорическим сиянием луны.

Март словно чего-то ждала. И в самом деле, как только она устремила глаза на развалины, чуть слышно раздался старинный вальс. Скрипка играла то тише, то громче, как будто она носилась по воздуху, и то приближалась, то отдалялась.

Март заплакала. Она загадала, что если заиграет волшебная скрипка, то об ее несчастной любви никогда не узнает Лигото, молодой бездетный вдовец, который мог бы, однако, жениться в ближайшем времени на дочери генерала Анрио и получить в приданое за нею эти земли, эти развалины и этот замок.

Волшебный вальс привлек внимание не только влюбленной Март. В аллее зашуршали шаги, и Март увидела лакея, горничную, повара и камердинера. Они шли и разговаривали.

— Как бы с барышней не случилось греха! — говорила горничная. — Он недаром приманил ее.

— Кто «он»?

— А тот рыбак, которого засыпало песком семь лет назад. Видите ли, мосье, — стала она объяснять знатному камердинеру, — рыбак пошел с своею невестою и с приятелями к священнику, чтобы венчаться. И они были веселы, все пели, по дороге плясали и, может быть, целовались. Как вдруг поднялся ветер и стал гнать песок. Песчаный же вихрь в нашей стране ужасно опасен — все равно, что на море тифон. Всю компанию привело в такой ужас, что они бросились бежать и забыли о женихе, у которого в руках была скрипка. Он же, на несчастье, попал ногой в колдобину и оступился. Так что, пока он поднялся, его стало засыпать песком. Потому что, когда идет песок, Боже сохрани остановиться, сейчас заметет, а следует бежать, куда глаза глядят. Напрасно жених звал на помощь: невеста и дружки слышали его при-

зывы, но не посмели вернуться и все бежали вперед. Любя свою скрипку, он держал ее над головой и играл на ней, чтобы они слышали. Наконец, его совсем занесло, а невеста его через несколько недель вышла за другого, потому что надо же за кого-нибудь выходить, чтобы иметь мужа, детей и сети. Вот несчастный скрипач и ищет себе невесту... Барышня, а вы здесь? Я так и знала. Я скажу гувернантке и, наконец, папаше!

Март не любила фамильярных разговоров с прислугой. Она быстро спустилась с лестницы и, ни на кого не взглянув, шмыгнула в дом.

Музыкант продолжал играть. Он играл всю ночь до рассвета, пока не устали его слушать. Проснулся генерал Анрио, вышел на балкон и с удивлением прислушивался к скрипке. Посланный верховой решительно никого не встретил около холма и никого не видел в развалинах, хотя чуть не умер от страха.

IV

Замок доктора Карловича возвышался на скале в противоположной стороне, тоже на берегу Ламанша, но ближе к Кале. Отдавая дань своему славянскому происхождению и знакомству с Россиею, Карлович считал расстояние не километрами, а верстами. От замка Анрио до его замка было не меньше пятнадцати верст.

Полная луна ослепительно сверкала на всем пространстве песков и казалась каким-то охладевшим солнцем последних времен мироздания. Прилив все поднимался, гудел и ревел, разбивался о скалистый берег, и в пенистых волнах отражались, змеясь, переменные молнии маяка.

На берегу, вокруг старенькой церкви, ютилась деревушка в живописном беспорядке, а одиноко над нею, на самой вершине острой скалы, стояло огромное каменное здание, бросавшее из окон второго этажа яркий электрический свет на деревья большого парка, окруженного гранитной

стеной с толстыми контрфорсами. Автомобиль доктора Карловича, как стрела, взлетел на верх скалы и исчез в железных воротах с угрюмой остроконечной кровлей.

На крыльце, обвитом виноградом, его встретила высокая белокурая девушка с острым подбородком и с широко расставленными светлыми глазами. Ее можно было бы назвать красавицей, если бы не этот подбородок.

— Давно вернулась, Милочка? — спросил доктор.

Дочь положила ему на плечи обе руки.

— Давно, папа, полчаса тому назад. Не сердись, я привезла его.

— Я в этом не сомневался, — беззвучно засмеявшись, сказал доктор. — Дай, я поцелую тебя.

— Мне его почти жалко, — сказала она. — Он такой хорошенький.

— Надеюсь, ты не выпустила его? — со свирепой дрожью в голосе спросил Карлович.

— Папа! Я твоя покорная раба. Как я могла бы выпустить его? Он там связан. Ты имеешь надо мной неотразимую власть. Я не отступила ни на йоту от твоей программы, хотя мне было тяжело. Как ты приказал, он, с тампоном во рту и спеленатый ремнями, был посажен вместо шофера на автомобиль и привезен из гостиницы. Чтобы завлечь его в отдельный кабинет, где были твои верные рабы — немой турок Абдул и этот противный осетин с искусственным носом, — я должна была преодолеть то, при воспоминании о чем краска кидается мне в лицо. Папа, я хотела бы, чтобы это было в последний раз.

— Надеюсь, дитя мое, я еще не умираю, — сухо возразил Карлович. — Ну, а в Лондоне?

— А в Лондоне, папа, я играла двусмысленную роль. Он долго принимал меня за продажную девушку. Что я, будто бы, американка, он не поверил. У меня, действительно, плохой английский выговор. Я приходила к нему под разными предложениями и, если бы он не влюбился в меня, я бы надела ему.

— Документов с ним никаких нет?

— Все его документы в голове. Самое неприятное для

меня, папа, то, что он видел, как я вышла из кабинета и отдавала приказания Абдулу и Безносому... Что он думает обо мне?!

— Вероятно, он считает себя дураком... Опростоволосился... Но, Милочка, вообще, не важно это, а важно, какие у него документы в голове!

Отстранив рукою дочь, доктор Карлович вошел в комнату, которую англичане называют «холл».

V

Это была очень обширная комната с витой лестницей наверх, с огромными мелкостеколячатыми окнами в сад, с массивным камином в средневековом стиле, уставленная причудливой декадентской мебелью из светлого дуба. Хрустальная дверь вела в хрустальный коридор, пронизанный глубоким сиянием луны и соединяющийся с оранжереею, которая слабо освещалась изнутри электричеством.

Пленник — Анри Лавардьер — лежал, как мумия, на двух стульях, опрокинутых вверх спинками, и на него с дубового штучного потолка целая система электрических лампад разнообразной длины струила нежный и вместе яркий свет. Лицо у него было, как у призрака, без кровинки, измученное; и маленькие черные усы опушали красивую верхнюю губу. Глаза были тоже черные и смотрели пристально и печально. Виднелся белый галстук. Панталоны были разорваны, а в петличке черного пиджака с шелковыми отворотами умирала лиловая орхидея, смятая и сломанная, подаренная ему коварной Милочкой.

VI

Доктор Карлович, войдя, стал раскланиваться перед пленником с серьезною и почтительною любезностью.

— Пожалуйста, извините меня, мосье Анри де Лавардьер. Но я служу великой и высокой власти, и ей необходимо то, что мне лично вовсе не нужно. Благоволите продиктовать текст секретного договора, заключенного французским военным министром с английским. Я знаю, договор редактирован министром Лигото, и вы отвезли его в Лондон за надлежащей подписью. В Лондоне сделаны какие-то изменения. Будьте добры сказать, в чем они состоят. Об этом можно узнать только через вас. Еще раз тысяча извинений... Разумеется, если бы договор был с вами, то мы просто нашли бы его в ваших вещах. Точно так же, если бы вы проболтались Людмиле, вам не пришлось бы испытывать теперь довольно значительные неприятности. Но вы были чересчур благоразумны... Маленькое соображение: в душе вы, конечно, презираете или проклинаете Людмилу, которую я зову просто Милочкой. Я — славянин... Доктор Карлович, да будет вам известно, о котором в газетах писали, что он — людоед! Увы, многое невероятное бывает вероятным! Я ничего не скрываю от вас, как видите. Я сейчас был у моего друга, генерала Анрио, и виделся там с министром Лигото. Кажется, они с нетерпением ждут вашего возвращения. Трактат послан по почте или передан по телеграфу. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Но писанные документы не так меня интересуют, как те, которые у вас в голове... Итак?

Лавардьер беспокойно повел глазами, и морщины страдания прорезались у него между бровей.

— Какая подлость! — проговорил он.

— Если вы имеете в виду Людмилу, — сказал Карлович, — то я ходатайствую о снисхождении. Она только что мне призналась. Она искренне полюбила вас. Но что прикажете делать с политикой! Вы целовали руки у милой девушки и, может быть, — обнимали ее. И, наконец, вы намерены были ужинать с нею в отдельном кабинете — правда, в жалкой гостинице и, следовательно, не в ужине была сила. Но, более или менее страстно относясь к молодой девушке, вы не выдали ей дипломатическую тайну. Но точно так же и она, не имея возможности противостоять вашей красоте и

любовной энергии, сохранила свою политическую тайну. И вы узнали, что в сердечных отношениях с нею сходитесь, а на политической платформе расходитесь — только теперь вы с нею квиты!

— Я говорю, какая подлость, — повторил пленник, — какой вы подлец, милостивый государь!

— Это относится к сентиментальности. В политике нет ничего подобного. Может быть, я поступаю глупо. Но подло — нет. Меня тоже нельзя обвинять в подлости, как и мою дочь. Но мы теряем время. Подлю это или честно, глупо или умно, но благоволите сообщить мне, в чем заключаются дополнительные статьи договора.

— Вы ничего ровно не узнаете!

— Милочка! — позвал Карлович.

Молодая девушка робко вошла в комнату из хрустальной двери, потупивши глаза с длинными ресницами. На ней был темный шелковый плащ с пелериной. Она старалась не смотреть на Лавардьера.

— Молодой человек, — начал Карлович, — вы, конечно, успели рассмотреть мою дочь, но я хотел бы, чтобы вы еще раз на нее взглянули. Если она не отдалась вам, то еще время терпит... Милочка, сядь и записывай... Диктуйте, мосье Лавардьер!

— Я вам могу продиктовать ложь, — с горькой улыбкой сказал молодой человек. — Вы признаете только ум, но где же он у вас?

— Там же, где и у вас. В мозгах. Вернее — во всей совокупности нервной системы, которая выделяет душу, как печень желчь. Мосье де Лавардьер, ложь или правда, что бы вы ни сообщили — будут немедленно проверены. А пока вы останетесь у нас заложником. Нет, я не так прост, как вы думаете, — с коротким смехом заключил доктор.

Милочка положила пальцы на клавиши пишущей машины.

— Лгать я не могу, — сказал юный дипломат с оттенком отвращения, — но от меня вы не узнаете правды.

— Знаете ли, молодой человек, вам незачем молчать. Прямой интерес сказать все. Не принуждайте меня и Милочку

(тут девушка низко опустила голову) обратиться сначала к маленьким, а потом и к большим жестокостям.

— Эти ременные веревки меня жгут и впиваются в тело!

Девушка бросила на отца пламенный взгляд, подмеченный пленником. Карлович по-турецки захлопал в ладоши, и вошли его помощники — Абдул и осетин.

— Развяжите его!

Лавардьера развязали... Но он так ослабел, что ему казалось, будто под ним шатается пол. Свет погас в его глазах, едва он сделал несколько шагов, и он перестал слышать. Карлович поддержал его, и молодой человек очнулся только в глубоком кресле.

— Ну, и что же? Вот мы и без веревок. Вас порядочно скрутили мои молодцы! Диета получше, хорошенький отдых, свежий воздух — и все пройдет. Все поправимо. Правда, я лучше, чем вы думаете. Соберитесь с силами — и к делу! Наметьте мне хотя бы основания дополнительных пунктов... Сделайтесь нашим другом. Само собою разумеется, что как только вы станете хотя бы невольным нашим участником, вы тем самым гарантируете нам свое молчание. Быть может, вы возненавидите Милочку, но если нет, она — ваша награда. Воля ее подавлена. Она делает только то, что ей разрешено и приказано. Вы слышали о гипнотизме? Довольно старая история, но она часто повторяется... Я забыл вам еще сказать, что, кроме свободы и Милочки, вы получите, по возвращении домой, несколько крупных чеков на разные парижские банки.

Лавардьер в бессильной ярости сжал кулаки, и из его истерзанных ремнями пальцев брызнула кровь. Опять потух свет в его глазах, и он откинул голову.

Постепенно до его проясняющегося слуха стали долетать слова доктора:

— Если же вы откажетесь от нее, несмотря на ее стыдливость и раскаяние, то, ввиду вашего упрямства, я принужден буду еще попытать счастья, обратившись к помощи Сусанны. Знаете вы Сусанну? Прелестная особа! Немая, страстная и загадочная. Может быть, вы познакомитесь с нею, если Милочка не приревнует... Моя радость, покорное дитя

мое, что ты скажешь? Подойди сюда — подойди к мосье Анри де Лавардьеру.

Девушка колеблющейся походкой подошла к креслу пленника.

— Папа, — сказала она, — это свыше моих сил!

— Твои силы не в твоём распоряжении, а в моём. Сама по себе ты такая же машинка, как «Ундервуд», только сложнее. Ха, ха, ха, не правда ли? Я хочу, чтобы наш гость убедился в твоей невинности. Наклонись и поцелуй его в лоб.

Милочка поцеловала в лоб молодого человека и заплакала.

— Объясни ему, что Сусанна обладает необыкновенно пылким темпераментом, но у ней нет головы; есть только руки... Цепкие, поразительные, знойные объятия.

Доктор заговорил медовым, ироническим, страшным голосом и стал расшаркиваться.

— На короткое время я оставляю вас вдвоем и даю Милочке свободу. Пусть она делает, что хочет. Надеюсь, вы слышали о ведьмах, мосье Лавардьер? Это прелестное создание, смотря по обстоятельствам, может сделаться чертом и ангелом.

Он дотронулся рукой до сердца девушки и ушел в комнату, в которой находились его помощники.

Оставшись вдвоем с Лавардьером, Милочка ничего не сказала, но плакала и покрывала поцелуями его колени и руки. Губы его запеклись, он хранил мертвое молчание. Он не хотел верить, что это — действительность. Непонятное чувство ужаса и вместе сострадания к этой девушке наполняло его.

VII

Послышалась легкая, чуть слышная, как жужжание пчел, дремотная музыка, и веки Лавардьера несколько раз невольно сомкнулись.

Когда же он открыл глаза, то в зале, где он сидел, было

опять светло, и Милочка стояла поодаль от него, в профиль, потупив глаза и прикрыв лицо полуприподнятым воротником накидки.

Доктор Карлович шел посредине комнаты, и в нескольких шагах остановился от Лавардьера.

Он улыбнулся ласково и вместе зловеще.

— Мосье Анри де Лавардьер, — сказал он, — вы слишком молоды, и у вас совсем другая специальность, а потому вы мало слышали о докторе Карловиче. Вы, наверно, мало знаете о моих необычайных открытиях в области науки. При помощи особых гипнотических приемов, известных только мне, я достиг искусства читать в мозгах субъектов их самые затаенные мысли, вызывать в них утраченные воспоминания, и на специальном графическом приборе простым сокращением мускулов пальцев их правой руки записывать на бумаге все, что данный субъект знает. Мой метод для судебных следователей доставит со временем, когда сделается популярнее, громадное облегчение.

Карлович вынул проволоку из штепселя и вложил ее в отверстие своего изумрудного кольца. Тотчас ослепительным, острым, тоненьким потоком полился из изумруда зеленый свет.

Лавардьер закрыл глаза с невольным криком. Что-то страшное было в этом изумрудном потоке. Быстро потеряв сознание, молодой человек склонился в кресле, как труп.

Доктор спрятал руку с кольцом за спину, и Лавардьер проснулся.

— Это только начало, — пояснил доктор. — Я усыплю мгновенно. И в том состоянии, в какое впадает человек, я могу внушить ему, чтобы он сделался моим рабом. Я захочу — вы будете ползать у моих ног! — нервно пригрозив пальцем, не то провизжал, не то прошипел доктор Карлович. Но, подойдя ближе к пленнику, он продолжал: — Я бы желал, чтобы отношения наши были мирные, и в них не было элемента насилия. Я предпочитаю добровольные признания. Таким образом, я прошу вас еще раз не заставлять нас быть жесточе, чем мы есть.

— Мне тяжело говорить, — произнес Лавардьер, — я ус-

тал, потрясен и возмущен. Но я должен сказать вам, что я не боюсь никакого гипноза. Меня можно усыпить, но нельзя заставить изменить внушению долга. В сравнении с долгом, который повелительно владеет моим умом, жалкая чепуха ваша сила.

— Ха, ха, ха! Не правда ли, Милочка, он великолепен? Я давно не встречал такого характера. Но вы напрасно чванились и надуваетесь пред нами. Покоритесь добровольно, и мы откроем вам двери рая.

— Вы называете себя доктором, но вы кажетесь сумасшедшим, — презрительно сказал Лавардьер. — Я вовсе не надуваюсь, а скромно исполняю свой долг. Вы же чересчур расхвастались. Если вы так сильны, зачем вам убеждать меня сознательно сделаться подлецом и изменником? Стоит только пустить в ход ваш зеленый свет, и вы прочитаете все, что содержат мои мозги.

— Вы правы, — сказал Карлович, — с таким умным молодым человеком надо вести себя осторожнее. Потому я предпочитаю добровольное признание невольному, что к последнему всегда примешивается много посторонней околесицы, так что трудно различить правду от фантазии болезненно-напряженного ума. Мой метод еще требует усовершенствования, и, кроме того, он сопровождается чересчур болезненными процессами. Наконец, есть много шансов, что субъект после опыта сходит с ума. А я думаю, что вы меньше всего хотели бы сойти с ума.

Лавардьер простонал.

— Что делать!... Жаль, что вы так упрямы, мосье Анри де Лавардьер. Но так и быть! Я признаю, что благородная сила долга в данном случае преодолагает мою силу, посредством которой я мог бы прочесть в ваших мозгах драгоценные для меня сведения. Я многое знаю и многое могу. Но пока я обязан беречь вас и не рисковать испортить ваши мозги слишком резкими воздействиями... С разрешения Милочки, я вас лучше всего поставлю лицом к лицу с Сусанной. Прошу встать и последовать за мною.

Лавардьер повиновался. Когда он проходил мимо девушки, она отвернулась, чтобы не встретиться с ним глазами.

VIII

За хрустальной дверью по железной винтовой лестнице Карлович с Лавардьером спустились вниз. На них пахло легким дыханием сырости. Во мраке открылась тяжелая металлическая дверь, и из бледно-голубого сумрака повеяло ароматами эвкалиптусов, а под ногами мягко захрустел песок. Где-то журчали ручейки — слышалось их пение, и оно казалось продолжением той дремотной музыки.

Доктор шел несколько впереди Лавардьера. Странная и вместе мужественная мысль мелькнула у молодого человека. Но, невольно обернувшись назад, он увидел, что за ним по пятам, молча, как тени, шли тихо турок Абдул и безносый осетин. Аллея, по которой шли все четверо, казалась бесконечной. С обеих сторон на бледно-туманном фоне рассеянного света выступали скрюченные стволы незнакомых деревьев, силуэты громадных листьев, а за ними виднелись другие, лопастные, или острые, как мечи, или широкие и кружевные; они сплетались в стены, образовывали своды, расступались и вились, словно живые. Лавардьер сначала думал, что они в большом открытом саду, но вскоре он догадался, что это — теплица, построенная по системе лабиринта. Там и здесь зеркальные стены, бесконечно расширяющие искусственный горизонт с небольшими холмами и оврагами. На ветках и усиках виноградных деревьев висели капли росы, испуская из себя электрический свет. Вдали, по ту сторону небольшого озера, всходила луна и бросала зловещий красноватый отблеск на заточенную природу. В перспективе убежали ввысь на скалы стройные пальмы. С уродливых деревьев, шипя, свешивались большие змеи и широко раскрывали пасти. Болотистые берега озера поросли какими-то странными цветами, распространявшими острый, одуряющий запах. А ручьи, разветвляясь, все музыкально пели, протекая по звучным камешкам разного тона. Воздух был пропитан гнилью, тонкими и острыми ароматами, и нагрет, как в бане.

Внешние звуки сюда не долетали. Все растения и вся зе-

лень представляли собою неведомые или переродившиеся экземпляры. На одной лужайке толпились группы самых ярких цветов причудливых форм и необыкновенного роста. От их ядовитого дыхания закружилась голова.

Конечно, оранжерея доктора была его гордостью. Это было нечто неслыханное по роскоши и по странности.

Иногда доктор останавливался, и все останавливались. И тогда он говорил:

— Ничего подобного вы не увидите нигде. Обратите внимание на эту акацию. Я все ее листья обратил в иглы страшной величины. Только наверху оставлен пучок зелени для дыхания. На анютиных глазках, которых можно принять сейчас за больших бабочек, севших на землю и распутивших крылья, в самом деле есть глаза. Они смотрят и видят, и следят за вами. И не только на анютиных глазках, так наивно названных людьми, бессознательно почувствовавшими правду, глазами обладают и мои цинии, гвоздики, ирисы. С каким удивлением они смотрят на вас! Неужели вы не читали читали о моих исследованиях о глазах растений, нашумевших на весь мир и даже попавших во все популярные журналы? Меня вообще страшно занимает душа растений. Раз они обладают органами чувств, них есть душа. И вы сейчас воочию убедитесь, что есть растения-звери.

Он беседовал с Лавардьеном, точно с молодым ученым, которому показывал свои научные сокровища. Потом он продолжал путь все торопливее, и, наконец, они подошли к тому месту, где оранжерея суживалась и где было темно. Едва можно было различить в густом сумраке железную решетку какой-то огромной, круглой клетки или беседки.

Доктор Карлович подвел Лавардьера к самой решетке — и только тогда молодой человек встрепенулся, выйдя из охватившего его оцепенения. За решеткой волновалась неопределенная тень и слышался шорох. Оттуда распространялся запах гнилых бананов и увядающих лилий, вместе с тошнотворной струей разложения, которое издают попорченные зубы человека.

Доктор указал рукой на решетку и на тень за нею, и иронически сказал с поклоном:

— Сусанна к вашим услугам.

IX

Доктор повернул кнопку, и с потолка круглой беседки заструился электрический свет. В этом ослепительно-белом свете выступило гигантское и вместе приземистое дерево, ветви которого медленно шевелились, как удавы или щупальца осьминога. Ствол, который виднелся за этими ужасно волнующимися членами непонятого существа, был гладок и походил на зеленый мрамор. У основания он был толщиной в человеческое тело, а потом он становился все шире и шире, разделившись на высоте приблизительно двух саженей на целую сотню длинных, мохнатых, живых веток, толщиной в руку и кончавшихся какою-то гибкою воронкою, как окончание хобота слона — только шире. Воронка способна была схватить и втянуть в себя любой предмет. Какая-то гигантская трепещущая ноздря. Самые короткие ветви были не меньше восьми метров, или четырех саженей.

Чудовище было страшно, как кошмар, и напоминало собою нелепые создания первобытного мира, для скелетов которых строят в музеях особые помещения.

В голове Лавардьера промелькнули смутные образы ихтиозавров и мозазавров, и страх, которого он еще никогда не испытывал, пробежал по его спине. Многосаженные щупальца стали, как будто сознательно, протягиваться к нему из-за решетки; прутья были толщиной в сигаретку и все-таки гнулись под напором прожорливой энергии растения-зверя.

— А! Сусанна добралась уже до решетки! — весело сказал доктор. — Она чересчур быстро начинает расти. Придется решетку отставить дальше.

Абдул и осетин промолчали. Они затаили дыхание. Им самим стало страшно. Они считали доктора чуть не дьяволом, и слепое повиновение их объяснялось ужасом, который он внушал им своими действиями и познаниями.

По всему телу пленника прошла колючая дрожь. Зубы его застучали. На минуту он потерял мужество. Доктор заметил это, насмешливо посмотрел на него и сказал:

— А что, не правда ли, диковинная штучка? По вашим глазам вижу, что вы ждете от меня объяснения. Сусанна — моя гордость; извольте! Есть растение-дрозера, которое, стоит только мухе сесть на его листок, захлопывает его... Так ладонь человека сжимается в кулак... и уже не выпускает жертвы до тех пор, пока не переварит ее. Дрозера вместе с этим выделяет нечто вроде желудочного сока. Дрозера, мухоловка, росянка... Ну-с, есть которые живут в Бразилии и в центральной Африке; они побольше и покровожаднее. Во время своих путешествий я вскоре убедился, что существуют такие дрозеры, которые с удовольствием съедают больших пауков и лягушек-древесниц. Направив в эту сторону все свое внимание, я стал раскармливать некоторые экземпляры, и они начали быстро расти. Я заметил, что те экземпляры плотоядных растений, которые случайно поселились около муравейников, энергичнее, прожорливее и больше. Тут я подумал, что если японцам удастся делать карликов из великорослых дубов, то из малорослых дрозер почему бы не воспитать великанов? Культура — великое дело. Крошечная лесная земляника становится же после ухода чудовищем по величине! Иногда десять ягод весят уже фунт! Начал я кормить экземпляр, привезенный с собою и выбранный из множества других, синими мухами, осаами, пауками, червями — и через несколько месяцев моя Сусанна поднялась на двадцать сантиметров. Мало-помалу насекомых я заменил крошеным мясом. «Э, — подумал я, — вот чего тебе нужно!» Предоставленная всем случайностям, Сусанна осталась бы маленьким пустяком, но в моей оранжерее она стала чудным деревом. Уже она съедала по бифштексу в день, потом по два. Как-то я пустил несколько канареек в мой сад. Одна из канареек имела неосторожность сесть на ее ветку — и была пожрана на моих глазах. Вообще, Сусанна предпочитает живое. Я стал кормить ее мышами. Целый год кормил морскими свинками, кроликами. Вообще стала великолепно чувствовать себя избраница моего сердца —

потому что я искренне люблю ее! — когда ее стали поливать кровью. Когда же она стала принимать те размеры, какие вы видите, ее пришлось оградить решеткой, потому что она однажды схватила моего бедного Абдулу вместо ягненка, которого ей принесли. Африканские дикари рассказывали мне, что «непанта», так они называют этот милый вид растений, почитается богом каким-то племенем, и они приносят ей в жертву людей, потому что жрецы умеют выращивать ее до страшных размеров. Теперь я в этом сам не сомневаюсь. А в старину, как вам, может быть, известно, был культ деревьев, которым поклонялись наравне со змеями и с другими страшилищами. Почему поклонялись, как вы думаете? А потому, что в человечестве сохранялась еще память о «непанте», в первобытные времена пожиравшей животных и людей.

Молодой дипломат слушал и спрашивал себя, уж не снится ли ему Сусанна? Он дико озирался вокруг. Но нет, он не спал. За фантастическими сплетениями тропических растений — пальм, миан и кактусов — все журчали музыкальные ручьи, а страшное растение раскачивало своими щупальцами.

Х

— Поняли вы теперь, что такое Сусанна, и догадываетесь ли вы, какую пользу я извлекаю из нее? Не подумали ли вы, что она попробовала не только баранины, но и человечины? В самом деле, вы же не исключение! Есть упрямые, благородные идиоты, которые крепко отстаивают свою позицию идеализма. Хоть кол на голове теши, ничем не сломишь их принципов. Заладят одно — о долге и о прочем, и ставят меня в крайне затруднительное положение. От меня можно выйти только или сделавшись моим сообщником, или же добычею ненасытной Сусанны. Ах, мосье Анри де Лавардьер, не могу же я выпускать на волю свидетелей, ко-

торые меня сейчас же скомпрометируют... Таким образом, вы можете подозревать, что мы вводим субъекта, от которого желаем отделаться, за эту решетку и предоставляем его вниманию Сусанны, а сами уходим. Это потому, что и у меня, и у моих слуг довольно слабые нервы. Я не могу слышать некоторых криков. Одним словом, мы уходим — и не остается никаких следов. Тайна глубочайшая... К тому же, правду сказать, чрезвычайно любопытно проследить этапы развития Сусанны, в которой пробуждается почти сознательность в зависимости от рода ее пищи. Как будто часть человеческой души переселяется в Сусанну. Ха, ха, ха!

Руки его нервно протянулись к Сусанне, и страшная гримаса исказила его лицо.

Он начал:

— Прошу вас последний раз: да или нет? Если да, вы знаете, что вам обещано за откровенность и искренность. Если нет — помните, что Сусанна голодна. Посмотрите, как извиваются ее ветви и как они протягиваются к вам. Она ведь понимает, что вы можете быть ее добычей. Право, она понимает. Сусанна, моя очаровательная, ты понимаешь? Скажи, ты хочешь кушать? Что, открыть решетку, а? Что же ты молчишь?

Чудовище усиленно зашевелило ветками, и их шорох превратился в какое-то протяжное скрипение, напоминающее тихое щебетание ласточек. Доктор с восторгом прислушался.

Хотя Лавардьер не видел себя, но ему казалось, что у него от ужаса побелели волосы. Гибель предстояла такая неслыханная и ужасная... Что же делать?

Прежде всего, разумеется, надо выиграть время. Нельзя же, чтобы эта минута была последней в жизни. Он окликнул доктора и, весь бледный и трепещущий, сказал:

— Хорошо... Я не хочу знакомства с вашей Сусанной.

— И вы предпочли бы Милочку? — перебил его Карлович.

— Прикажете, пожалуйста, дать мне поесть.

Доктор поклонился, быстро согнув спину под прямым углом.

— Право! Я в восторге! Что же, мы развяжем вам язык угощением. Как славянин, я никогда не отказываю в гостеприимстве. Накормить ближнего считаю своим священным долгом. Но все же полюбуйтесь завтраком Сусанны, которая два дня не ела и ужасно голодна.

Доктор взглянул на осетина, и тот ушел быстрой походкой, скоро возвратясь с большим зарезанным телянком на плечах. Абдул отворил низенькую дверцу в решетке, и телянок был туда втиснут. Тотчас десяток щупальцев протянулся к добыче, подняв с силой телянка на вершину дерева, и добыча исчезла в страшных объятиях. Визжащий шелест пронесся несколько минут продолжался за решеткой. Сусанна всеми щупальцами прижалась к телянку, и некоторое время торчала только его голова, но и она скрылась. Потом дерево успокоилось. Все его щупальца свились в один жгут, толстый посредине. Оно казалось каким-то гигантским грибом. Пот выступил на его зеленом стволе.

— Сусанна предпочла бы вас, поверьте, — с любезной улыбкой сказал доктор, — но вы благоразумно уступили очередь. Что вы так смотрите? Теперь нечего бояться.

— Долго она будет в таком состоянии?

— Два часа!

— А потом что с нею делается?

— Потом она разомкнет щупальца, опустит их и опять готова будет схватить новую добычу. Пожалуйста, идите за мной по этой тропинке... в мою лабораторию. Она вместе с тем послужит вам столовою. Я сам не прочь закусить с вами.

XI

Лаборатория эта была комната с серыми обоями и загроможденная разными электрическими и химическими приборами. Некоторые из них были очень древней формы, и Лавардьер вспомнил, что видел такие сосуды в античных музеях.

Абдул и осетин вторично спеленали ноги Лавардьеру и усадили его перед столом, на котором доктор производил вскрытия. В глубокой бороздке, окаймляющей доску стола, Лавардьер увидел тоненький закупоренный пузырек с надписью «хлороформ». Пока накрывали стол для закуски, он, положив локоть на его край, незаметно вынул мизинцем пузырек из бороздки и опустил в свой жилетный карман.

— Вам придется дать вилку и нож, — сказал доктор, — но, так как все-таки это было бы опасно, то не соблаговолите ли кушать левой рукой, а правую, извините, тоже свяжут.

— К вашим услугам, — отвечал Лавардьер.

Осетин притянул к стене его правый локоть ремнем. А доктор поставил на стол блюдо с окороком и бутылку, и положил хлеб и сыр.

Лавардьер жадно принялся за еду. Ветчина таяла во рту, как какие-то соленые конфеты, а старое «бордо» было превосходно. Он ел, и мало-помалу молодые силы его организма воспрянули. Кровь забурлила в нем. Ему стало казаться, что непременно что-то совершится, что освободит его. Он посмотрел на ближайшие к нему столы и полки. Там блестящие разные ножи, пилы и клещи. Но каким образом справиться ему, связанному и с одной свободной левой рукой, с этими тремя людьми? Кажется, они не смотрели на него. Но все равно, нельзя было двинуться с места. Единственная смутная надежда его была на хлороформ. Можно умереть во сне, — если придется умирать. В этом утешение.

«Живым им я, во всяком случае, не дамся», — подумал Лавардьер и почти весело посмотрел на доктора Карловича.

— Кончили?

— Благодарю вас. Я сыт.

— И хорошо, что сделали честь моему красному вину. Оно располагает к оптимизму.

— Я замечаю на себе.

— Очень рад, молодой человек.

Доктор достал записную книжку и сказал:

— Ну-с, я вас, значит, слушаю.

В бутылке оставалось еще немного вина. Лавардьер налил в стакан, выпил, прищелкнул языком и проговорил:

— Доктор, у вас недурной погреб.

— Как видите. Ну, а все-таки! Первый пункт договора?

— Ах вы, каналья! — закричал слегка охмелевший Лавардьер. — Так вы думали, что я в самом деле что-нибудь вам расскажу? Мне хотелось есть, и только. И хотелось оттянуть время. Что мне и удалось. А в вашу дурацкую пьевру я не верю. И мне плевать на вас... С каким удовольствием я разможил бы вам череп!

Лицо доктора побагровело и сморщилось.

— Ваше последнее слово?

— Самое последнее.

— Но вы забыли про клетку?

— А что ж в клетке? Смерть? Черт с нею! И на смерть наплевать!

ХII

Осетин и Абдул принесли его к бесед- Страшное дерево все еще дремало, и его пальца были сомкнуты.

Доктор приказал раскрыть главную дверь, и она завизжала на петлях. Пленника положили у самого ствола дерева. Прикоснувшись к нему свободной рукой, Лавардьер почувствовал, что оно тепло. Оно было такой же температуры, как живое тело.

Доктор, лицо которого, наконец, распрямилось от морщин, и он успокоился, сказал глухим голосом:

— Мне жаль вас, но я не могу иначе поступить.

— Я понимаю вас, доктор: такой свидетель, как я, мгновенно погубил бы вас.

— Мне остается только раскланяться с вами и предоставить вас роковому ходу вещей.

Даже на лицах осетина и Абдула промелькнула тень сожаления. Они закрыли решетку и поскорее ушли.

Лавардьер остался один.

ХІІІ

Первым побуждением его было как можно дальше откатиться от дерева, чтобы не чувствовать этого противного теплого прикосновения. Свободная левая рука помогла ему забиться в самый отдаленный угол клетки.

Электричество не было погашено. Вся беседка была залита им. Вдали, в перспективе тропических аллей, продолжали звенеть музыкальные ручейки.

Собственно говоря, не было никакой надежды. Пока дремало страшное дерево и переваривало теленка, было время прийти к этому заключению. Лево́й рукой Анри достал из жилетного кармана хлороформ, откупорил его зубами и понюхал. Запах гниения, распространяемый чудовищем, был заглушен на время холодящим ароматом снотворного эликсира.

Потом он закупорил хлороформ и, словно им ободренный, сделал попытку освободить себя от ремней. Дверца кончалась острым железным краем. Лавардьер подполз к калитке и перетер ремень, который стягивал его правый локоть. Когда же руки его освободились, ему уже нетрудно было развязать и разрезать об острый край все петли и ремни.

Радостное чувство на мгновение наполнило его. Он будет свободен, если выломает два прута в клетке! Но она была так прочна, что недюжинная сила Лавардьера ничего не могла поделать.

Куда бы он ни бросился, щупальца Сусанны везде его могли настигнуть!

Тогда он стал рыть землю, как крот, тем более, что она была мягкая и рыхлая. Но он легко дорылся до теплых корней дерева, в которых слышалось биение какой-то страшной жизни, и не в состоянии был подрывться под решетку — так глубоко загнали ее в почву.

Лавардьер пришел в отчаяние. Может быть, еще одна минута, и к нему протянутся щупальца. Внезапным вихрем пронеслись в его воображении все самые яркие минуты его жизни. Образ его матери, девушек, которых он любил, кар-

тины природы. Правда, жизнь его еще только начиналась. Сколько наслаждений предстояло впереди! Он подумал о Мили, как он назвал Милочку. Он был влюблен, когда встретился с нею, в прелестную девушку, с артистической натурой и тоненьким станом. Как он мог изменить ей? Что на него повлияло? Загадочность Мили? Ее безумные, развратные предложения, ее порочность и невинность? Странное сочетание ангела и дьявола? Или она привлекла его к себе тем магнетизмом, под чарами которого она сама находилась? Отчего даже в этот страшный миг он так пристально остановился на ней и даже как будто сожалеет о том, что ему не удалось овладеть коварной соблазнительницей?!

Не закричать ли, чтобы пришли и выслушали его? Измена отечеству готова была сорваться с его губ. Но горячие слезы брызнули из глаз. Он закрыл лицо руками и, скорчившись на разрытой земле, он долго и безутешно рыдал.

Вдруг раздался шорох, сопровождаемый легким потрескиванием и шипящим свистом. Лавардьер поднял голову. Щупальца Сусанны раскрывались и одно за другим медленно начинали колебаться и змееобразно извиваться в голубом воздухе. Поминутно прибывала их энергия. Лавардьер, как очарованный, с ужасом смотрел на мясистую ветку, которая, растягиваясь, прежде других стала приближаться к нему с острыми иглами на краях эластической воронки. Иглы вопьются в тело, — в плечо, в руку, в лицо — клейкая воронка потянет к себе, на помощь двинутся другие щупальца — и человек взлетит наверх и исчезнет в желудке проклятого творения. Анри боялся больше всего, чтобы не сойти с ума от ужаса. Он быстро достал из кармана пузырек с хлороформом, пальцем выбросил пробку и хотел облить лицо, чтобы впасть в бесчувственное состояние.

Но липкий хобот прожорливого растения уже коснулся его руки, другой хобот схватил за плечо, третий за колено. Над ним закопошились все щупальца Сусанны, быстро сжались, и он увидел себя подхваченным к самому потолку беседки. Под ним зияло что-то вроде пасти, в которой два часа тому назад исчез теленок.

Иглы были не длинные, но они жали все тело, и Лавар-

дьер был близок к обмороку, когда, инстинктивно отбиваясь свободною рукою от чудовища, он вылил в его пасть все содержимое пузыряка...



Случилось чудо. Сусанна ослабела, щупальца ее повисли и мягко уронили Лавардьера на землю. Местами кожа его горела, как от ожога крапивой — и только. Он потрогал себя. Все члены его были целы. Гнилостный запах в клетке заглушен был запахом хлороформа. Повернувши голову в сторону чудовища, Лавардьер увидел, что все его ветки отвесно опустились к земле и были неподвижны. Сусанна обратилась в мертвую плакучую березу.

Лавардьер вскоре поднялся и отдал себе отчет в происшедшем. Неописанная радость вдруг охватила его. Он подошел к самому дереву. Ствол похолодел. Но в нем жизнь еще теплилась. Очевидно, на него подействовал хлороформ. На-

долго ли? Лавардьер обыскал свои карманы и нашел в одном тоненький перочинный нож, достаточно, однако, острый и длинный для того, чтобы произвести операцию, какую он вдруг задумал. Щупальца висели, как спящие удавы. Он схватил одно из них, потянул и отрезал от главного ствола. Ветка тяжело упала на землю, как отрубленная рука гиганта, а из раны по стволу заструилась красная жидкость.

Нож легко входил в ткань растения. Надо было только преодолеть сопротивление верхней кожи. Упал на землю второй удав. Но кожа третьего была так тверда, что перочинный нож застрял в нем и сломался.

Надо было бежать. Решетка же не поддавалась никаким усилиям, и напрасно Лавардьер обломал себе ногти.

Между тем, Сусанна не умерла и могла проснуться. Отрезанные щупальца, может быть, способствовали ее пробуждению, потому что остальные щупальца, — а их было много — несколько раз вздрогнули тщетно, пока старались преодолеть наркоз.

Лавардьер был так измучен, и новые страдания, ожидавшие его, были так неизбежны, что он пожалел, отчего не погиб сразу.

Время шло. Какой-то таинственный свет стал примешиваться к электрическому. Оглядевшись вокруг, Лавардьер заметил, что оранжерея, казавшаяся ему бесконечной, сжалась и сузилась. На самом деле, это был небольшой тропический сад. На стеклянную крышу его садились птички и чирикали. Рассветало, вспыхнула заря. Молодой человек стал соображать, как он мог бы подняться по решетке до потолка, разбить стекло и спастись через крышу. Это было тем более легко, что человекоядное растение спало, и им можно было воспользоваться, как точкой опоры.

XIV

Но тут Лавардьер услышал шум шагов. Вдали, в аллее, он увидел силуэт доктора Карловича, который шел прямо к

беседке, чтобы убедиться, проснулась ли Сусанна и жива ли жертва.

Пленник быстро забежал за широкий ствол дерева и прикрылся его страшными безжизненными щупальцами.

Карлович подошел к решетке и разразился проклятиями на неизвестном Лавардьеру языке. Потом он открыл клетку и с яростью вошел в нее. В руке у него была трость. Бормоча, он стал тыкать ею в отрубленные щупальца, неподвижно висевшие. Лицо его было смертельно бледно. Он испугался за свое любимое детище.

— Сусанна, Сусанна! — закричал он с отчаянием.

Он подошел еще ближе к ней. Но тут с дерева спрыгнул Лавардьер прямо на него. Доктор вскрикнул от испуга и вместе от удара, который нанес ему, как знаток бокса, молодой человек между углом челюсти и ухом. Удар этот английские боксеры называют «суингом». Карлович упал, и кровь полилась из его ноздрей и из полуоткрытого рта.

XV

Лавардьер выскочил из клетки и побежал по аллее. Он все бежал, и ему уже стало казаться, что оранжерея бесконечна. Но он опять увидел беседку и лежащего на земле доктора. Какая-то веревка спускалась с потолка недалеко от решетки. Он потянул за нее, и открылся вентилятор. Свежий воздух ворвался в оранжерею и, как показалось Лавардьеру, сейчас же зашевелились уцелевшие щупальца Сусанны. Он захлопнул клетку, которая запиралась американским замком, и снова побежал. Но лабиринт был так устроен, что он каждый раз возвращался к беседке.

Когда он в последний раз проходил мимо нее, стараясь изучить извилистые аллеи в оранжерее, Сусанна окончательно проснулась, и из ее центральной воронки торчала только худая человеческая рука в белоснежном рукавике, нервная, волосатая и с великолепным изумрудом, ограненным в виде кабошона, на мизинце.

Лавардьер отвернулся с ужасом и с тайным удовлетворением.

Осетин и Абдул стояли перед ним. Он вздрогнул, да и было от чего. Но они упали перед ним на колени и стали прикладывать руки к сердцу. Разумеется, человек, который спасся из объятий Сусанны и самого доктора принесший в жертву этому чудовищу, должен был показаться этим дикарям еще более могущественным чародеем.

Лавардьер понял действительную причину робости обоих гигантов и жестом приказал им идти. Они зашагали, и он последовал за ними.

XVI

— Анри! — закричала девушка с острым подбородком, вбегая в комнату, в которую вошел Лавардьер, в ту самую, где он сидел в кресле, связанный по рукам и ногам. — Что вы сделали с моим отцом? Его нет? Он жив, или его больше нет на свете? — спросила она с выражением несказанного горя на своем странно-красивом лице и вместе с худо сдерживаемой радостью освобождения.

— Мили, — сказал Лавардьер, — страшная сказка кончилась. Сусанна предпочла его заключить в свои объятия.

Девушка вся задрожала, и ноги подкосились под ней. Лавардьер поддержал ее.

— Мили, передайте им, чтобы они немедленно приготовили для меня автомобиль! — сказал Лавардьер.

Когда осетин и Абдул ринулись исполнять приказание, Лавардьер показал девушке свои истерзанные руки и укоризненно посмотрел на нее.

— Итак, его больше нет! — вскричала она. — Я боюсь туда идти... Я боюсь Сусанны!

— Я бы мог вам страшно отомстить, Мили, по признаюсь, когда я был на волоске от смерти, я думал о вас.

— О, благодарю вас!

— Конечно, это была минута слабости.

Он взял ее за руку.

— Мили! Я не буду вам мстить. Но вы должны согласиться, что сила теперь принадлежит мне.

— Вы — мой владыка! Распоряжайтесь много, как своею рабою, — с легкой краской потупляя глаза, проговорила Мили. — Но он еще так недавно умер... Потом, не правда ли?

— Не потом, Мили, а сейчас. Укажите мне сейчас, — строго начал он, — где находятся все дипломатические документы и переписка покойного Карловича.

Она подняла на него глаза, посмотрела на Лавардьера сухим, недоумевающим взглядом и, как бы спохватившись, проговорила:

— А, вам нужны документы? Он очень дорожил ими.

И, подведя Лавардьера к буфету, она нажала пружину. Полки с посудой опустились вниз, и вместо них выдвинулись ящики с портфелями и с пакетами.

— Берите, все ваше. Планы мобилизации. Проект морской войны. Шифры всех кабинетов... Меня, разумеется, не интересует. Но, может быть, возьмете и это? Возьмите, пожалуйста, чековые книжки на огромные суммы во всех банках мира... заранее подписанные отцом; стоит только проставить число. Он как бы предчувствовал возможность внезапной кончины. Возьмите, что же вы не берете? Неужели я ничем не могу вознаградить вас? Возьмите, а меня убейте!

— Мили, я не способен ни на то, ни на другое, — сказал Лавардьер. — Возьми свои деньги и немедленно уезжай в Париж и жди меня. Одного только я хочу, — прибавил он.

— Вы простили меня? — с недоверчивой застенчивостью спросила девушка.

Он взял ее руку.

— Значит, вы любите меня, что ли? — почти гневно спросила она.

— В тебе есть что-то свирепое и вместе раболепное.

— Я не свирепа, — поцеловав руку Анри, сказала девушка, — но я научилась подчиняться. Видишь, то, что ты сделал с моим отцом, кажется мне законным. И ты сам стал для меня каким-то сверхъестественным существом.

— Итак, ты повинешься?

— Я вся твоя.

— Значит, через неделю я увижусь с тобой в Париже.

Он посмотрел на нес глубоким взглядом, пожал ей руку и, нагрузившись бумагами доктора Карловича, поехал на дачу к генералу Анрио.

XVII

Лавардьер поспел к условленному часу. Абдул был его шофером. Чемодан с платьем и бельем был им сохранен в целости.

Переодевшись при помощи молчаливого Абдула, Лавардьер велел ему возвратиться назад к Мили, сам отправился, как ни в чем не бывало, в комнату Лигото.

Выслушав молодого человека и приняв от него и рассмотрев привезенные документы, найденные им у доктора Карловича, Лигото долго молчал.

Наконец, не выдержав, расцеловал Лавардьера и поздравил его кавалером Почетного Легиона.

В Бретани к прежним прибавилась новая легенда или, вернее, новейшая. Автору рассказывали, что музыкант, игравший в ту ночь у развалин, был одним из агентов Карловича, которому надо было отвлечь от замка внимание генерала Анрио.

Лавардьер, кроме Почетного Легиона и денежной награды, получил от Лигото двухмесячный отпуск. В газетах писали, что молодой дипломат пристрастился к ботанике и вместе со своею молодою спутницею занят составлением монографии о мухоловках и других плотоядных растениях. Он считается богатейшим естествоиспытателем. Очень трудолюбив, предпринимает далекие путешествия, и от его открытий ждут чудес. А от его монографии ждут впечатления грома в ясную погоду.

Броу Молохэн

Дерево, которое Ест

— Кое-что здесь вас заинтересует, Флетчер, — заметил я, разворачивая утреннюю газету. — Вот, послушайте: «Вчера на выставке орхидей лорд Саутуолд приобрел превосходный экземпляр *Epidendrum vexillaria* за полторы тысячи гиней».

Флетчер зевнул.

— И поделом Саутуолду, — сказал он. — Я предложил ему этот экземпляр три месяца назад за пять сотен с гарантией, что это единственный образчик в стране, но он не согласился.

— О, так это вы нашли эпидендрум?

— Да, орхидея была частью коллекции, которую я привез с Малайского архипелага в прошлом году.

— Вы ведь очень преуспели в той поездке?

— Верно. За вычетом всех расходов, я заработал около двадцати тысяч фунтов.

— Двадцать тысяч фунтов! — изумленно воскликнул я.

Флетчер устало улыбнулся.

— Может показаться, что это большие деньги за три года работы, не так ли? — ответил он. — Но вы должны помнить, что если плата большая, то и риски, которым подвергается охотник за орхидеями, соответственно велики. Прокладывая себе путь через густые леса, пробираясь через стоячие болота, всегда хоронясь от диких зверей и еще более диких людей, охотник за орхидеями собственным трудом зарабатывает каждый пенни своих денег. А если он сталкивается с тем, с чем столкнулся я в этой поездке, никакое денежное вознаграждение не сможет возместить ему пережитую опасность.

— Вы намекаете на какое-то потрясающее приключение? — неуверенно спросил я.

Флетчер мгновение молча смотрел на меня, затем тихо сказал:

— Я не рассказывал эту историю ни одной живой душе в этой стране, так как она настолько выходит за рамки вероятности, что никто в нее не поверит; но вот доказательство, что все это произошло на самом деле.

И он медленно снял с головы парик.

— Боже мой! — воскликнул я. — Я и не знал, что вы об-

лысели!

Несколько оставшихся на голове Флетчера волос были коротко подстрижены, чтобы парик прилегал плотнее. К моему удивлению, кожа его головы была сплошь усеяна голыми пятнами диаметром от булавочной головки до шиллинга. Внимательно осмотрев их, я увидел, что их покрывала новая, нежная кожа, и по их внешнему виду было очевидно, что старая кожа была удалена сравнительно недавно.

— Любопытное зрелище! — заметил Флетчер, надевая парик. — Я стал похож на далматинца! Послушайте, давайте пообедаем здесь, и за обедом я расскажу вам эту историю, хотя ни на секунду не думаю, что вы в нее поверите.

Клуб исследователей славится своей кухней, и мы ели не торопясь, в полной мере наслаждаясь изысканными блюдами Феликса. Когда подали кофе, Флетчер закурил сигару и поудобнее устроился в кресле.

— Четыре года назад, — начал он, — я отправился на Восток, имея довольно определенное представление о краях, где я собирался работать. Предыдущий опыт охоты за орхидеями научил меня, что самые ценные орхидеи встречаются в наиболее отдаленных местах, и я намеревался свернуть с проторенных дорог и исследовать некоторые малоизвестные долины во внутренних районах громадных островов, которые простираются от Сингапура до Австралии.

Наняв сампан, управляемый малайцем и двумя китайцами, я побывал на Суматре, Яве и Бали, а затем переправился на Целебес, где добился немалого успеха. Затем я решил посетить Борнео и исследовать неизведанные глубинные районы этого острова в надежде избежать внимания охотников за головами и раздобыть при этом несколько новых экземпляров.

Как вам известно, Борнео примерно в три раза больше Британских островов, и хотя Саравак и полоса северного побережья сравнительно цивилизованны, большая часть острова, за исключением местностей в непосредственной близости от голландских торговых станций, абсолютно неизучена. Остров покрыт огромными лесами, пристанищем страшного тигра и не менее страшного орангутанга, где веселый вид

спорта — охота за головами — продолжается и сегодня, как сотни лет назад, и где слава вождя зависит главным образом от количества голов, подвешенных к стропилам его дома.

Когда я прибыл в Мендавай, помощник резидента (оказавшийся моим старым приятелем по колледжу в Бонне) нанял надежного старосту и пятерых даяков сопровождать меня в длительной экскурсии во внутренние районы страны.

Несколько слов о даяках. Из-за склонности к охоте за головами жители Борнео приобрели репутацию кровожадных дикарей; но, помимо этой маленькой особенности, их раса обладает многими достойными уважения качествами. Охота за головами — это просто обычай, возникший в результате межплеменных войн; и особенность даяка в том, что, хотя он и гордится количеством трофейных голов, которые может развесить вокруг своего жилища, вы можете абсолютно положиться на его верность, честность и храбрость, пока он находится у вас на службе.

Я собирался подняться по реке Мендавай до ее истока и тщательно исследовать притоки, образующие верховья, надеясь, что систематические поиски в далеких тропических долинах вознаградят меня несколькими новыми образцами. Отряд состоял из меня, китайцев Лунга и Линга, малайца Али, старосты даяков Раюта и его пяти спутников. Мы удобно разместились на большом сампане, однако я взял и другую лодку для осмотра небольших рек и ручьев.

На пятнадцатый день после отъезда из Мендава я мы увидели горную гряду, протянувшуюся через середину острова. Погода до сих пор была умеренной, но теперь внезапно наступила удушающая жара; ни единое дуновение воздуха не долетало с покрытых лесом берегов под палящими лучами солнца. В течение четырех дней мы гребли вверх по этому участку, и жара была такой сильной, что испарения с реки окатывали меня, как непрерывный ливень, когда я сидел под тентом на корме.

На двадцатый день у правого берега открылся канал — приток шириной в пятьдесят ярдов впадал здесь в главную реку. Мы с радостью поплыли туда в поисках укрытия. Де-

ревья по обе стороны смыкались над головой и защищали от жалящих лучей тропического солнца.

Путешествие до тех пор проходило без происшествий, но как раз перед тем, как мы свернули на эту речку, я впервые познакомился с орангутангом — диким человеком лесов Борнео. Мы плыли недалеко от берега, когда Рают, сидевший на носу, многозначительно прищелкнул языком. Его спутники немедленно перестали грести, и он указал на ветви большого дерева, нависавшие над водой.

— *Miac!* — прошептал он.

Я увидел, как зашевелилась листва, и, присмотревшись повнимательнее, различил неясную фигуру, спускающуюся с ветки на ветку. Прямо под деревом, наполовину погруженное в влажную грязь, лежало нечто, что я сначала принял за большое бревно. При ближайшем рассмотрении бревно оказалось крокодилом; он следил за движениями ветвей с таким же интересом, с каким всякое животное, ручное или дикое, рассматривает вероятный обед.

Внезапно раздался свирепый рев, и *миас* спрыгнул с дерева и крепко вцепился в спину крокодила. Ящер, впервые осознав природу ожидаемого им обеда, яростно хлестнул хвостом и, резко нырнув, попытался сбросить своего наездника. Потерпев неудачу в этом, он злобно огрызнулся, пытаясь схватить противника своими жестокими челюстями. Оранг только этого и ждал. Когда крокодил открыл пасть, он вдруг сжал верхнюю челюсть ящера и, упершись лапами в заднюю часть его головы, с невероятным напряжением всех сил выдернул челюсть из гнезда. Мы отчетливо слышали хруст костей. Конвульсивный взмах хвоста поднял фонтан грязи; оранг несколько минут простоял, прижимая челюсть крокодила к плечу и словно желая убедиться, что его врага больше нет. Затем он ухватился за нависающий сук и тихо влез на дерево.

Я хорошо рассмотрел чудовище. По моим оценкам, оно было не менее шести футов ростом; руки и туловище были заметно вытянуты относительно ног, а копна густых каштановых волос, падавших на верхнюю часть лица, придавала зверю особенно свирепый вид.

Речка казалась прохладной по сравнению с Мендаваем; поскольку она обещала нам благоприятные условия для плаванья, я решил оставить сампан недалеко от устья и исследовать ее в маленькой лодке, взяв с собой только Раюта и Бати. Этот мудрый старый даяк был в свое время известным охотником за головами.

На рассвете мы тронулись в путь и поплыли по речке, которая, сохраняя одинаковую ширину, медленно и ровно прокладывала себе дорогу через сердце леса. Жаркая, влажная атмосфера особенно способствовала росту тех деревьев, которыми орхидея любит питаться. Поскольку торопиться было не к чему, мы как можно тщательнее обыскали лес по соседству с ручьем. Результаты превзошли мои самые смелые ожидания, и мне посчастливилось заполучить несколько отборных экземпляров *Bulbophyllum*, один из которых был совершенно неизвестным.

Мой метод поиска состоял в следующем: я высаживал Раюта на один берег, а Бати — на другой, и они двигались параллельно ручью на расстоянии около ста ярдов, в то время как я греб на лодке и время от времени окликал и направлял их.

На пятый день я заметил явное нежелание даяков заходить глубже в лес, и если я по какой-либо случайности не окликал их, они оба сбегались на берег. Поскольку трусость — необычная черта для даяка, я не мог понять их поведения и спросил Раюта, чего он боится. Он в замешательстве опустил голову, а когда я повторил вопрос, ответил: «Бати, о вождь! говорит, что это царство Дерева, которое Ест».

— Что он имеет в виду? — удивленно спросил я.

— Это Злой Дух леса, о вождь! — прошептал он. — Дух сердится, когда люди приближаются к его деревне.

— Что за чушь! — ответил я с презрением. — Рают, ты годишься только для того, чтобы копаться в поле с женщинами!

Насмешка глубоко задела его, и не без некоторого достоинства он ответил:

— О вождь! почему эта река течет все дальше и дальше и все же не становится меньше, хотя мы приближаемся к ее

истоку? Потому, что это страна великих духов, и мы, будучи смертными, боимся навлечь на себя их гнев.

Следующий день доказал, что, как я уже некоторое время подозревал, наша речка была огромным каналом, прорытым в былые времена; громадные памятники, которые встречаются иногда в глубине лесов, свидетельствуют, что Малайский архипелаг был населен тогда высокоразвитой расой. Мы постепенно приближались к возвышенности и теперь достигли места, где канал прорезал склон холма, углубляясь значительно больше, чем на сто футов. Заметив в одном месте просвет в лесу, окаймлявшем берега, я поднялся на самый верх. Недавний торнадо произвел опустошение среди деревьев, образовав просеку шириной в несколько сотен ярдов, и за ней я увидел небольшую долину, простиравшуюся прямо впереди в окружении высоких холмов.

Эти холмы, вероятно, укрывали долину от тропической жары, создавая подходящие условия для роста орхидей, и я решил внимательно осмотреть такое многообещающее место. Один новый экземпляр вдесятеро окупил бы потраченное время и труды.

Подозвав даяков, я указал на долину и сказал, что поиски там, по всей видимости, окажутся успешными. Судя по их поведению, даяки были не в восторге от такой перспективы; но они промолчали — полагаю, боялись, что я подниму их на смех и обвиню в трусости — хотя я мог видеть, что они были ужасно встревожены.

С некоторым трудом мы спустились с холма и у подножия наткнулись на ручей, который, по-видимому, протекал по долине. Росшие вокруг деревья подсказывали мне, что нам повезет, и я двинулся вдоль берега ручья.

Рают притронулся к моему плечу.

— О вождь! — принялся настаивать он. — Не заходи дальше в долину. В воздухе витает смерть.

— Рают, — сердито ответил я, — ты трус. Я скажу великому голландскому вождю, чтобы он отправил тебя на рисовые поля с женщинами.

Он заскрежетал зубами от оскорбления.

— Я не боюсь ничего живого, о вождь! — ответил он. —

Но это обитель Злого Духа. Что ж, мы твои дети; делай с нами, что хочешь.

Я зашагал дальше, даяки следовали за мной по пятам, и мы прошли примерно половину долины, когда Раят снова прикоснулся к моему плечу. Я резко обернулся и увидел, что он указывает на лес; посмотрев в том направлении, я увидел поляну, видневшуюся сквозь деревья, и мы немедленно повернули к этому месту. Поскольку все обитатели леса стремятся к немногим открытым местам, мы приближались к кромке деревьев с большой осторожностью.

Огороженная деревьями поляна — или поляны, так как их было две, каждая площадью в несколько акров, — по форме в точности походила на цифру 8. Мы вышли к нижнему участку примерно в тридцати ярдах от горловины. Я осматривал деревья вокруг, когда Бати, чьи глаза вылезли из орбит, внезапно и яростно оттащил меня назад, одновременно указывая на необычное дерево, которое росло прямо в центре горловины и, будучи укрыто листвой, ранее ускользнуло от моего внимания.

Представьте себе грязно-зеленую колонну, впоследствии оказавшуюся полой, двадцати футов в окружности и ровно обрезанную на высоте тридцати футов от земли. С вершины ее, однако, поднимался круг похожих на плети ветвей, немного напоминавших те, что мы видим на ивах: каждая была длиной в пятьдесят футов и постепенно сужалась от окружности в шесть дюймов у основания к тонкому концу. Ветви почти касались деревьев, обступавших со всех сторон горловину, и были лишены каких-либо признаков листвы, однако нижние стороны их усеивали любопытные круглые диски разного размера.

Но мой взгляд, как магнит, влекло иное. Дыхание у меня перехватывало, в горле стоял ком — там, на отростке, который резко выдавался из ствола на высоте около шести футов от земли, росла самая чудесная орхидея, какую когда-либо доводилось видеть человеку.

По форме и размеру она напоминала обычный зонт, но никакие слова не могут даже в слабой степени передать ее чудесные цвета. Пока я зачарованно глядел, цветок медлен-

но менял свои оттенки прямо у меня на глазах. То, что минуто назад было ярко-алым, теперь стало темно-синим; за ним последовал ярко-зеленый, который, в свою очередь, уступил место прекрасному оранжевому. Каждая цветовая волна поднималась сбоку и мало-помалу распространялась по всей поверхности цветка. Я восхищенно смотрел на чудесное видение, увлеченно думая о том, какое впечатление произведет эта тропическая жемчужина в далеком Лондоне, как вдруг мое внимание привлекло движение на поляне. Подняв глаза, я увидел оленя, идущего через верхний участок к горловине. Он как раз приближался к орхидее, когда та вдруг превратилась в настоящий калейдоскоп меняющихся красок. Животное смотрело на цветок, словно загнипнотизированное.

К моему невыразимому ужасу, змееподобные ветви, которые мгновение назад росли вертикально, неожиданно склонились вниз и окружили несчастное животное. Олень яростно сопротивлялся, издавая громкие всхлипывающие крики ужаса, но пара ветвей обхватила его шею и быстро задушила. Ужаснувшись до предела, я увидел, как ветви начали медленно поднимать тело оленя с земли.

Подумав, что это, должно быть, какая-то фантастическая игра воображения, я повернулся к своим спутникам. Бати опустился на землю, закрыв лицо руками, в то время как Рают, выпучив глаза, выглядывал из-за моего плеча. Его лицо приобрело оттенок грязного пепла, копые выпало из его ослабевших рук.

Я снова посмотрел на дерево и увидел, что олень поднимается все выше и выше. Омерзительная орхидея, сделавшая свое дело, теперь медленно, как и прежде, меняла цвета. Тело поднималось, и было жутко наблюдать, как каждая ветвь дерева располагалась наилучшим образом, чтобы распределить вес. Те, что были с ближней стороны дерева, обвивали тело, в то время как противоположные ветви наклонялись прямо и, сплетаясь с другими, поднимали тушу, пока не вытянулись во всю длину высоко над стволом; затем они наклонились и медленно опустили мертвого оленя внутрь ствола.

Мне не стыдно признаться, что, когда олень исчез, спазмы ледяного холода пробежали по моему телу, и я задрожал от ужаса. Абсолютная отвратительность происшедшего и печальное осознание опасности, которой я избежал, полностью парализовали меня, и я мог только со страхом и восхищением разглядывать противоестественное чудовище.

Вскоре ко мне вернулось самообладание, а вместе с ним и то алчное чувство, с которым всякий охотник за орхидеями смотрит на новый экземпляр. Кроме того, я испытывал определенное презрение к себе за то, что поддался минутной панике в присутствии моих спутников. Я стоял, обдумывая различные способы завладеть этим чудесным цветком.

Внезапно пришло вдохновение, и я увидел возможный путь к успеху. Повернувшись к Раюту, я резко сказал:

— Рают, ты женщина!

Он бросил на меня взгляд, полный ужаса и укоризны.

— Ты женщина, — повторил я, — и чтобы показать тебе, как мало белый человек боится твоего Злого Духа, я срежу эту орхидею и унесу ее.

Даяк провел языком по пересохшим губам, пытаясь заговорить; второй даяк лежал неподвижно, как бревно.

Я сделал шаг на поляну, но Рают с судорожным усилием встал передо мной.

— О вождь, — выдохнул он, — не приближайся к Дереву, которое Ест! Помни о судьбе оленя.

Моя кровь вскипела. Нетерпеливо оттолкнув его в сторону, я двинулся вперед и остановился там, где был вне досягаемости этих дьявольских рук. Ужасное чудовище сразу же почуяло меня. Змееподобные ветви наклонились ко мне, украдкой раскачиваясь взад и вперед в попытке дотянуться до меня. Лепестки цветка превратились в настоящую радугу переливающихся красок.

Даяки обрели некоторое мужество, увидев, что я возвращаюсь невредимым. Я объяснил им свой план. В долине мы заметили на гарцинии стаю крупных обезьян; теперь я тихо подкрался к ним и подстрелил одну. Захватив добычу, мы вернулись к дереву. Здесь я объяснил Бати, что он дол-

жен бросить тело обезьяны поближе к ветвям, в то время как я займу место на другой стороне, возле орхидеи. Я надеялся, что, пока все руки дерева будут заняты подъемом тела, я смогу подбежать и срубить отросток с орхидеей. Рают будет стоять рядом, чтобы предупредить меня о возможной опасности.

Бати швырнул тело обезьяны к дереву; через мгновение ветви наклонились и схватили его. Дождавшись, пока они все сцепятся, я прыгнул к стволу и ударил по отростку. Струя черной жидкости вырвалась наружу, когда топорик погрузился в кожистую субстанцию. Я поспешно поднял руку, собираясь повторить удар, однако Рают крикнул: «Беги, о вождь, беги». Я тотчас отскочил, но опоздал — всего на мгновение. Концы трех веток опустились мне на голову, когда я прыгнул назад; и, хотя инерция несла мое тело, эти дьявольские руки, вытянутые во всю длину под действием веса, удерживали мою голову и верхнюю часть туловища в нескольких дюймах от земли. Диски обжигали кожу головы, как расплавленный свинец.

К счастью, я не потерял контроль над своими чувствами, хотя вспышки живого огня, казалось, пронзали мой мозг. Я велел Раюту схватить меня за ноги. Он немедленно подчинился и стал тянуть, так что моя голова оказалась вне досягаемости других рук, которые бешено извивались взад и вперед в попытках дотянуться до меня. Им не хватало всего нескольких дюймов.

На удивление безразличным голосом я попросил Бати ухватиться за одну из моих ног, а затем, посоветовав им крепче держать мои ступни, отдал приказ: «Раз — два — три — *тяните!*». Сверхчеловеческим усилием они оттащили меня, оставив три четверти кожи головы прилипшими к дискам. Тогда я потерял сознание и больше ничего не помню.

Очнулся я на сампане, возвращающемся в Мендавай. Там мой друг, помощник резидента, поставил меня на ноги.

Это случилось почти два года назад; но даже сейчас очарование чудесного цветка по временам овладевает мной, и я чувствую, что однажды вернусь в ту тропическую долину.

Если я добьюсь успеха, орхидея произведет сенсацию, какой никогда не знал ботанический мир. Если нет, я пополню собой число жертв этого таинственного ужаса — Дерева, которое Ест.

Юрид Ласевич

Звездная роса

I

Перед виллой фабриканта Керна стоял готовый к отъезду автомобиль. Герман Керн, цветущий мужчина с открытым, умным лицом, торопливо простился с прибежавшими из сада двумя молодыми дочерьми. Старшей, Гарде, он сообщил вскользь, что едет по важному делу, касающемуся казенного подряда. Автомобиль зажужжал, запыхтел и отъехал, поднимая легкую светлую пыль. Младшая дочь Керна, Зиги, убежала обратно в сад играть в лаун-теннис. Гарда устало побрела в парк. Ей хотелось тишины и покоя. Хотелось быть дальше от дома, вечно полного гостей, смеха и праздничной суеты. Она пошла к своему любимому месту, в самом конце парка, на границе примыкавшего к нему леса. Это была небольшая поляна среди покрытых темными соснами высоких холмов. Один скалистый выступ холма выдавался далеко вперед, образуя нечто вроде грота, над которым повисли могучие ветви бука — старого лесного великана. Это место звали «Богатырской могилой»... Потому что, по народному преданию, здесь похоронен был богатырь.

Еще издали Гарда увидела к досаде своей, что кто-то сидит на скамье за столиком под огромным деревом. Но когда она подошла ближе, лицо ее просветлело.

Доктор Эйнитц так увлеченно и сосредоточенно разглядывал в лупу какой-то листик, что не видел и не слышал приближения Гарды. На столике лежали его соломенная шляпа, несколько вырванных с корнями растений, ножики, ножницы и два стеклянных пузырька. Когда Гарда подошла к нему, он не сразу ее узнал. Потом вскочил и смущенно, неловко поздоровался с ней.

— Что это у вас? — удивилась Гарда. — Ах! Да ведь это моя «Звездная роса!»

— Как? Как? Как вы сказали? «Звездная роса?» Вам знакомо это растение? — возбужденно спросил доктор.

— Это я для собственного своего удовольствия назвала так это растение, — ответила Гарда. — Потому что это кругленькое возвышение посередине блестит, как росинка. Это

растение совершенно еще неизвестное и растет оно только здесь, подле Богатырской могилы, ни в каком учебнике ботаники его нет, и я считала его своей тайной...

— Я не раскрою ее до вашего разрешения... — успокоил ее Эйнитц.

— Мы можем, доктор, заключить, по крайней мере, договор. Вы будете изучать «Звездную росу», определите ее и опубликуете результаты своих исследований. Но не укажите места открытия. А вы и то подумайте, ведь нам житья не будет от ботаников...

— Умолчать про место нахождения вряд ли возможно будет. Но где именно вы нашли это растение?

— Да вот здесь... под плющом, — сказала Гарда Керн. — Больше я нигде не видела его. Этот клочок земли, в сущности, даже вне нашей усадьбы. Он принадлежал нашему соседу, моему крестному отцу, Гео Сольвесу. И я его интересы оберегаю.

— Нашествие ботаников мы как-нибудь же предотвратим. Так Гео Сольвес вам крестный отец? Какая вы счастливица!

— Да, я горжусь этим... Но скажите, однако, что это за растение?.. Эти пять отогнутых назад листиков и падающие на них от блестящей головки посредине шелковые нити... будто серебристая вуаль... Эго восхитительно!

— Это, во всяком случае, не цветок... Я разглядел уже в лупу, что семян в нем нет. Нити же, которые вы, вероятно принимаете за тычинки, очевидно, другой какой-то орган. И это возвышение, которое вы метко сравнили с каплей росы, не пестик. В этом я убедился. Можно ли причислить его к папоротникам, или это какой-нибудь новый вид тайнобрачных растений, выяснится только с помощью микроскопа...

— Я должна еще вам сказать, — начала Гарда, — что оно появилось здесь лишь с прошедшего года. Я пробовала развести его путем отводков в других местах, но оно принялось только в двух, опять-таки лишь подле плюща. Я искала плодов очень внимательно, но ничего не заметила. Я угадываю и соглашаюсь с вашей мыслью, что размножение этого растения происходит, вероятно, каким-то особенным путем, как

у органических пород... Кто знает... Быть может, это не растение вовсе, а иное какое-то существо! Какой-нибудь эльф, дух, с настоящим живым тельцем! Вы смеетесь... Я говорю глупости... Но мне столь пленительным кажется такое предположение.

— Я вижу только, — сказал Эйнитц, — что для вас ботаника целый мир откровений. Если ваши намерения посвятить себя науке серьезны, — то вас ждут еще великие, дивные радости.

— Дело не во мне, — уклончиво ответила Гарда. — Пойдемте, я покажу вам сокровищницу похороненного здесь богатыря.

Она повела его в пещеру под выступом скалы, глухо закрытую от света густыми ветвями бука. Когда они несколько привыкли к темноте, они увидели какое-то призрачное сверкание, какую-то странную игру не то драгоценных камней, не то переливы золотых слитков.

— Это сказка, — изумленно промолвил Эйнитц. — Я знаю... это светящийся мох...

— Вы ведь врач, — сказала Гарда, — откуда у вас такие сведения по ботанике и биологии?

— У меня очень скромные сведения... Так только, нахватал кое-что. Скорее за мною очередь удивляться вашим знаниям...

— О, я только собираюсь учиться! — смущенно ответила Гарда и нерешительно добавила:

— Доктор, не зайдете ли к нам сегодня? Мне отец давно поручил пригласить вас...

Доктор столько же и удивился, сколько растерялся. В обществе он всегда робел и чувствовал себя неловко. А богатый гостеприимный дом фабриканта Керна, всегда полный гостей и женского общества, представлялся ему чем-то вроде скользкого льда, где он неминуемо, с первых же шагов поскользнулся бы. На приглашение симпатичной девушки он ответил уклончиво, и они разошлись в разные стороны...

Гарда распекла сторожа Гелимера за то, что он опять забыл завести фабричные часы.

— Но если бы вы знали, барышня, почему...

— Я и слышать ничего не желаю... Если еще раз повторится, тогда придется вам искать себе другое место...

— Но если бы вы знали, барышня... почему... Послушайте, барышня... На кладбище неладно...

Гарда махнула на него рукой и убежала в дом. По дороге она заглянула еще к химику Эммееру. Его новорожденный мальчик был ее крестник. Мать его лежала больная, и Гарда ежедневно заходила в туда распорядиться по хозяйству и выкупать ребенка. От химика она пошла, наконец, в дом с надеждой отдохнуть час-другой. Со дня отъезда отца она вовсе покоя не знала. Но телефону поминутно спрашивали отца, и звон стоял целый день. Тетя Минна волновалась за продолжительное отсутствие отца, нервничала и требовала от Гарды объяснений, которых та ей дать не могла.

В комнате Гарды стояла жардиньерка, вся обвитая темно-зеленым плющом. Под защитой его Гарда развела несколько отводков «Звездной росы», на которых распустились красивые, прелестные голубые цветы. Странное новое растение, кроме эстетического удовлетворения, представляло для Гарды еще прелесть обладания. Никто в мире о нем не знал. Оно было ее тайной, в которую, к сожалению, проник теперь этот длинный, застенчивый доктор. Но это, по видимому, порядочный и скромный человек. Ему можно доверять свои наблюдения.

В предыдущие дни она заметила какую-то перемену в цветах «Звездной росы». Они раскрылись шире, и светлые нити удлинились. На одном они выступили, как будто пучком. Когда она раздвинула листья плюща, она, к ужасу своему, увидела, что из пяти чашечек не хватает одной. Лепестки засохли и обвисли, а от серебристых нитей не осталось и следа. Гарда взволнованно вглядывалась во все щели и дырки. Если бы у нее был микроскоп, она могла бы поискать, быть может, следов разложившихся остатков в самих лепестках. Она вспомнила, что в фабричной лаборатории имеется не один микроскоп, и тотчас побежала к фабричным кор-

пусам. Там ждала ее печальная неожиданность: лопнула труба новой, дорогой машины. При взрыве ранило машиниста, обожгло нескольких рабочих, на фабричном дворе стоял глухой, смятенный гул. Гарде непредвиденно пришлось исполнять роль сестры милосердия. Потом надо было послать телеграмму отцу, потом успокаивать тетю Минну и затем еще принимать приехавших некстати гостей. Вечером пришел коммерции советник, родственник и друг семьи Керн. Гарда, прогуливаясь с ним по аллее парка, устало говорила ему:

— Я не в силах вынести больше этой непрерывной суеты и тревоги. Когда отец вернется, я попрошу его сдержать обещание и отпустить меня учиться. Не удивляйтесь, если я через несколько дней, исчезну отсюда..

— А я полагал, что вы перестали уже рваться отсюда, — грустно сказал Фрикгоф, — у вас тут такое широкое поле деятельности...

— И, несмотря на все это, я никакого удовлетворения здесь не нахожу. Только размениваюсь на тысячи всяких мелочей, и времени не нахожу, чтобы заняться чем-нибудь серьезно. Если вы мне друг, то вы меня поддержите в моем решении.

— Я вам друг, Гарда, вы это знаете... Потому я вас и прошу — взвесьте хорошенько ваше решение. Я думаю, что ваше счастье не в этом. Вы и другим бы могли дать счастье. Это не помешало бы вашей свободе...

— Нет, нет, не надо... не говорите мне теперь об этом...

Фрикгоф слушал и смотрел на нее с тоской и любовью, но разговора продолжать не мог...

Когда гости ушли и сестра и тетка Гарды отправились в свои комнаты, Гарда кликнула свою верную Дианку и вышла в парк.

Высоко на небе голубел молодой месяц. Деревья тесно сгрудились и, казалось, чутко вслушивались в шепот своих ветвей. В воздухе струился густой, сладкий аромат сирени. Она пришла к своему излюбленному месту, к буку, обвитому плющом, под которым росли таинственные цветы. Когда она присела на скамью, ей показалось, будто нежные опала обвевают ее лицо, и сознание ее затуманилось тихой

дремой. Вдруг она испуганно вздрогнула. Диана залаяла.

Собака поднялась — ее, по-видимому, встревожило что-то находившееся над головой Гарды. Таинственное очарование прежнего настроения рассеялось.

Собака еще полаяла немного, пробежала по аллее несколько шагов и пристыженно вернулась обратно. Гарда не могла отдать себе отчета ни в чувствах своих, ни в мыслях.

Что-то произошло здесь сейчас... Что-то непонятное, наполнившее душу ее какой-то таинственной радостью... Или все это был сон?.. Ей случалось не раз засыпать так сидя. Она встала и пошла домой окольным путем, мимо кладбища, примыкавшего к парку. Она любила это место — там лежала ее мать. Скоро она услышала чьи-то шаги. Собака радостно бросилась к кому-то навстречу — это был старый сторож Гелимер.

— Слава Богу! Это вы, барышня? Как я испугался, — возбужденно сказал он, — с вами ничего не случилось?

— Нет, а что? Вы меня приняли за привидение? — засмеялась Гарда.

— Не смейтесь, барышня, — таинственным тоном сказал Гелимер. — Уйдемте скорей отсюда.. Здесь не чисто...

Гарда громко расхохоталась:

— Гелимер, вы...

— Нет-нет, барышня, я совершенно трезв, но клянусь вам — я сам видел... какой-то свет между деревьями... это души людские летают.

— Бог с вами, Гелимер, это, вероятно, светлячки...

— Нет-нет, светлячков я знаю... Эти гораздо больше... но такие яркие, чуть-чуть светящиеся... Будто куколки маленькие... Мы сейчас еще, быть может, увидим их... Тише, Диана. Вот там, в ветвях, вы видите, барышня?

Гарда внимательно взгляделась в темноту. Странно... там действительно мерцал какой-то желтоватый свет.

— Ах! — воскликнула она. — Да это раakitник; он всегда светится так...

— Нет, барышня, нет... он шевелился раньше...

— Смотрите, он теперь удаляется.

В это мгновение собака залаяла и повела носом в возду-

хе. Лишь на окрик Гелимера она успокоилась опять. Гарда пристально смотрела в чашу ветвей.

— Во всяком случае, Гелимер, то, что вы видели, — не привидение.

— Барышня, — тихо ответил Гелимер, — такие вещи бывают... Человеческие ли это души, я наверное не знаю, но на кладбище, конечно, о таких вещах думаешь.

— Ну, ну, не болтайте вздору, — ласково пожурела его Гарда и быстро пошла домой, окрыленная какою-то смутною, радостною надеждою.

«Нет! — сказала она себе... — Привидений нам не надо, но “Звездную росу” мы завтра же поищем на кладбище».

II

Следующий день был дождливый, и Гарде лишь на третий день, в пятницу, удалось пойти на кладбище. К великому ее удивлению, большинство шпорников оказались увядшими, но рядом распускались новые чашечки.

Жизнь на вилле была в эти дни, но обыкновению, шумная и тревожная. У тетушки Минны любезность ежечасно сменялась недовольством и обратно; хозяйство требовало неусыпных забот Гарды, гости приходили и уходили, в комнате Гарды вечно толпились подруги и родственницы, и ей не удавалось урвать минуты для любимых занятий.

Отец вернулся на рассвете радостный и оживленный. Он очень доволен был покупкой новых машин, которые были уже в пути. Для всех членов семьи он привез ценные, со вкусом выбранные подарки. По тому, как тетушка Минна поглядела мимо футляра с прелестной брошкой, Гарда поняла, что между нею и отцом опять что-то пробежало. Тетушка ревновала его к неведомым особам, с которыми он, вероятно, встречался в своих частых отлучках. И каждая деловая поездка ее кузена создавала ей муки и терзания.

Днем Гарда ездила в город за хозяйственными покупками и вечером только свиделась опять с отцом.

— Мне надо поговорить с тобой, радость моя... — ласково сказал он.

— Я вижу, — ответила Гарда.

Они молча дошли до уединенного места в парке и сели на скамью.

Гарда видела, что он волнуется, что в нем происходит какая-то тяжелая борьба, и в горячем порыве обвила руками его шею и прижалась к нему.

— Дорогая моя, — сказал он сдавленным голосом. — Ты во что бы то ни стало хочешь уехать? Ни в каком случае остаться не можешь?

— Пора, отец... Ведь ты мне обещал... Меня все здесь тяготит. Уж одна тетя Минна... Опять она плакала, убивалась... Она видела, что твоя телеграмма отправлена была из Бреслава. И зачем ты это сделал... Зачем ты опять виделся с этой особой?

— Милая моя, хорошая... Это ужасно, что я говорю об этом с тобою. Но я не мог иначе... Она заставила меня. Как-никак, я перед ней виноват... И сколько-нибудь я должен испустить свою вину... Я в каком-то тупике очутился... И выхода не вижу... Если еще ты оставишь меня!..

— Но я не могу, отец, выносить дольше этой вечной тревоги, этой совместной жизни с тетей Минной... Ведь это одна мука — такая ревность, и мука для всех.. Она хочет, чтобы ты на ней женился... Она вбила себе это в голову и помещается на этой мысли...

— Бедная моя девочка, — сказал Керн, — я понимаю, какая тягостная атмосфера создалась в доме... Это отравляет молодость и тебе и Зиги. Но во всем виноват я один... Я обещал ей жениться на ней...

— Ты обещал?!.. Но когда же?

— Вы обе еще учились тогда в пансионе... Мы жили здесь одни... Дела шли плохо... Минна выказывала мне столько участия, была так мила, добра... Ну, словом, я говорил тогда, что женюсь на ней. Но у меня не хватало на это решимости... Я стыдился людей и вас... Прости меня, Гарда!..

Она молча поцеловала его.

— Бедный мой папочка, ты иначе не мог — такой уж ты человек... Но об одном я тебя прошу... Это ты обязан сделать, чего бы это ни стоило тебе... Истории этой в Бреславле надо положить конец. И потом обещание — это обещание, отец. И надо его исполнить.

— Ты знаешь, как я ценю и люблю Минну, но при теперешних обстоятельствах это невозможно.

— Но почему... Если ты сумеешь ликвидировать эту историю в Бреславле, все может еще уладиться... И мы... ну, словом... Покойной тебе ночи, папочка!

Большие окна в комнате Гарды были настежь раскрыты. Из сада шел аромат душистой майской ночи. В доме было тихо. Гарда, будто нежась в этом долгожданном безмолвии, предвкушая отдых, легла в кровать и взяла в руки книгу. Но едва глаза ее пробежали полстранички, из-за двери послышалось тихое всхлипывание, потом стоны, потом громкий истерический плач. Это с тетей Минной сделался припадок.

Гарда поспешно накинула на себя капот и побежала в комнату тети Минны... Оказалось, что в руки ее попало письмо пресловутой дамы из Бреславля к Герману Керну... И содержание этого письма не оставляло никаких сомнений насчет характера их отношений.

Успокоившись немного, она стала осыпать грубыми, несправедливыми упреками Гарду, обвиняя ее в интригах против нее...

Гарда вернулась в свою комнату с осадком горечи и мути в душе... Запутанные семейные отношения превращали в ад жизнь в этом богатом, радушно открытом для гостей доме... Лучшие дни, годы молодости уходили на тщетное распутывание клубка, который с каждым днем все более запутывался... Ухать! Легко сказать! Но тогда вся тяжесть ее существования взвалится на младшую сестру, на Зиги! Выйти замуж за компаньона отца, за Фрикгофа, который искренне ее любил и сулил ей свободу?.. Но он никаких чувств, кроме уважения, ей не внушал... И потом, оставаясь жить здесь, она осталась бы в том же заколдованном кругу домашних дряг... Замужество не внесло бы в ее жизнь ника-

ких перемен!... Она вспомнила д-ра Эйнитца... С этим ее связывала теперь общая тайна, но она так мало еще знала его... Один только у нее есть бесценный, бескорыстный друг, ее крестный отец, Гео Сольвес... Только ему она могла бы открыть свою душу. Она повернула голову к жардиньерке, увитой плющом, на которой стоял мраморный бюст Сольвеса и от изумления мгновенно забыла о нем...

В углу жардиньерки, где росла «звездная роса», она увидела вдруг два призрачно-мерцающих, голубоватых пятна. Две чашечки, в которых Гарда еще днем подметила удлинение серебристых нитей, отчетливо выделялись теперь из зелени. Гарда видела, как светящаяся нити сблизились наподобие венчиков. И от них исходило это прелестное голубоватое сияние. Сердце Гарды громко застучало, когда на глазах ее таинственное явление приняло новую форму. От чашечек поднялся легкий, едва уловимый, беловатый туман. Смутных очертаний бледное облачко поднялось выше, постепенно приняло продолговато-округленную форму и задвигалось плавно, легко в темном воздухе комнаты. Нежные фигурки мягкими движениями освобождались от каких-то оболочек и будто вытягивали тонкие руки, снимали нежное плетение покрывала, и тогда показались маленькие человекоподобные существа... Они медленно и свободно скользили во все стороны, словно изучали устройство и расположение комнаты. Гарда, как зачарованная, упивалась этим дивным сном наяву. Или цветочные эльфы действительно ведут хоровод в летние ночи? Или только из чашек «Звездной росы» выходят такие воздушные существа? Что скажет на это Эйнитц? Но теперь эльфы растут, они плывут прямо к Гарде... И ей хорошо, хорошо от их близости! Какой-то освежающей, кроткой лаской веет от этих чуждых ей существ!.. И на душу нисходит такой мир, такая тишина! Гарде слышатся лесные голоса, неведомые миры раскрывают свои царские врата... суета и тревоги дня уходят в мглу забвения, и в сердце расцветают радостные надежды...

III

Фабричный врач Эйнитц тем временем с глубоким интересом и увлечением изучал новооткрытое растение. Путем тщательных микроскопических исследований он убедился, что колокольчики, которыми восторгалась Гарда, в сущности не цветы, а скорее носители шпорников. Но то, что он наблюдал при дальнейшем быстром развитии растения, настолько разнилось от всех наблюдений над тайнобрачными растениями, что доктор прямо не верил своим глазам.

Несомненно было, что процесс роста и окрашивания продолжается лишь до известного состояния. Затем клеточки постепенно тускнели. Никакими средствами невозможно было вызвать окраску, и самый препарат медленно исчезал под микроскопом. Общая масса нитей оставалась в чашечке, но под микроскопом живых клеточек разглядеть нельзя было. Надрезанные для опыта части растения новыми не заменялись.

Целая неделя прошла в напряженных исканиях разгадки тайны, которая вдруг встала перед ним. С Гардой он все эти дни не виделся. Несколько раз приходило ему в голову, что на приглашение надо из вежливости ответить визитом, и всякий раз врожденная робость подсказывала предлоги, удалявшие это решение. Наконец, в субботу вечером он твердо сказал себе, что на следующий день, в воскресенье, отправится с визитом на виллу Керна, чего бы ему ни стоила эта отвага. Поздно ночью Эйнитц принялся за изучение нового препарата. Он в первый раз еще заметил, что у двух из шпорников развитие нитей произошло необычайно быстро. Чтобы изучить это явление, он отрезал частичку растения и положил его под микроскоп. И тотчас заметил, что она мгновенно исчезла из его глаз.

В это время его позвали к опасному больному и он должен был оторваться от захватившей его работы. Когда он вернулся через час и раскрыл из темного коридора дверь в свою комнату, он увидел у раскрытого окна какое-то смутное мерцание, словно в окно уплывал какой-то светящийся

предмет величиною с человеческую руку. Он бросился к окну, но странное видение уже исчезло во мгле летней ночи.

Он быстро стал раздеваться, не зажигая света, и когда вынул из кармана и положил на стол футляр с инструментами, взгляд его машинально остановился на окуляре микроскопа. Поле зрения бледно светилось. Или это отраженный свет?.. Уходя, он оставил препарат под объективом. Эти самые клеточки светились теперь слабым фосфорическим блеском. Эйнитц хотел зафиксировать рисунком то, что видел на окуляре, и зажег лампу. Но при свете на стекле никакого сияния не оказалось. Он погасил огонь и в темноте увидал опять бледно, смутно светящийся предмет. Когда он вновь осветил комнату и взглянул на оставшиеся в горшках цветки «звездной росы», он, к изумлению своему, увидал одни только уныло обвисшие лепестки, серебристые же нити со всей тонкой тканью вокруг бесследно исчезли.

До самой зари Эйнитц безуспешно искал под микроскопом каких-нибудь следов нитей в лепестках и нижних частях, растения.

На следующий день, около полудня, он с бьющимся сердцем подходил к вилле фабриканта Керна. Общество попечения о больных в Висберге устраивало большое благотворительное празднество, и дочери Керна принимали в устройстве его деятельное участие. Целые дни проходили в заседаниях комиссии, в разных хлопотах, и доктор, просидев в гостиной с тетей Минной полагающиеся для визита двадцать минут, ушел, не дождавшись Гарды. Только по тому щемящему чувству недовольства, с которым он покинул виллу, он понял и решился, наконец, сознаться себе в том, что шел туда только ради Гарды.

Он встретил ее через несколько минут в парке. Первые слова были о «Звездной росе». Доктор Эйнитц рассказал Гарде о результатах своих наблюдений.

— Структура цветка чрезвычайно сложна, но схожа с некоторыми тайнобрачными растениями, папоротниками, мхами... Но в нем есть что-то странное, прямо непонятное, чего объяснить нельзя никакой догадкой или научной гипотезой. Я почти убежден, что в организме этого растения имеют-

ся ткани, встречающиеся лишь в нервных клетках, в мозгу человека..

Вполне точно и определенно мне не удалось изучить эти ткани, так как препараты исчезали под объективом... Что-то прямо загадочное... Представьте себе, в эту ночь...

— В эту ночь... — невольно и взволнованно повторила за ним Гарда и остановилась.

Доктор Эйнитц рассказал ей о явлениях, столь поразивших его в прошлую ночь.

— Это, очевидно, какая-то переходная стадия между органическими формами... Но проявления жизни в этом растении столь различны от всех наблюдавшихся периодов развития в других растениях, столь необычайны... что... что мои фантастические предположения я вам одной решаюсь поверить. Сколько я ни бился, а до основной ткани этого растения добраться не мог... Она улетучивалась на моих глазах. Я не сомневаюсь, что в составе его организма что-то совсем новое для нас, как и сама она эта «Звездная роса». Если эти неведомые организмы состоят из нервных клеток, то можно предполагать, что это сознательные какие-то, незримые нам, одаренные разумом существа. Не считайте меня, ради Бога, за фантазера, но я пред этой тайной прямо...

Он растерянно замолк.

Гарда сочувственно взглянула на него. Она понимала, что недоумение этого серьезного, добросовестного человека пред загадкой природы может граничить с отчаянием. Но она знала, по крайней мере, видела еще больше его. И когда он беззвучно промолвил:

— Впрочем, быть может, я ошибаюсь...

Она воскликнула:

— Вы не ошибаетесь! Я не могу умолчать о том, что знаю...

Она рассказала ему, что она наблюдала в своей комнате... Как отделялись от растения внутренние части, как менялись их окраска и очертания... И добавила, что все это казалось ей сном...

— Нет, вы не грезили, — твердо сказал доктор Эйнитц, — я вижу тесную связь между вашими и моими наблюдениями. Особи второго периода развития «Звездной росы»,

очевидно, прозрачны, как воздух, светятся собственным светом, и потому более яркий свет затемняет их, а в темноте они видны. Очевидно также, что, дойдя до периода зрелости, они отделяются от своих оболочек и свободно носятся в воздухе, как кораллы в море. Это изумительно, это ново... но не необъяснимо...

Глаза Гарды возбужденно горели.

— Я убежден, — продолжал доктор Эйнитц, — что существует физическое родство между ними и животным миром, допускаю и психическое сходство. Но... тут неизбежны обычные вопросы и сомнения. Из растений, насколько нам известно, непосредственный переход в животных, одаренных мозгом и разумом, невозможен. Такой переход противоречит закону развития, по которому разделение между растением и животным происходит у самых низших элементарных организмов. Об этот закон разбивается и наша гипотеза о совмещении растения с разумным существом. Такое совмещение немислимо на Земле!

— Но Земля — это еще не весь мир! — воскликнула внезапно Гарда.

Эйнитц изумленно взглянул на нее.

— Это правда, это правда, — сказал он. — Но ведь мы на Земле находимся. Мы должны лишь тем пользоваться, что можем доказать. Во всяком случае, утверждать или сомневаться я нахожу еще преждевременным. Надо еще поработать... Если бы вы мне указали, где я вернее найду распустившиеся цветки...

Гарда подумала о кладбище. Там, подле могилы ее матери, она нашла под плющом целый рассадник «Звездной росы». Она сказала это и, пригласив его прийти на виллу вечером, обещала сорвать для него несколько стеблей. Лучшее всего было, по ее мнению, посвятить в их тайну отца, как человека, чутко откликающегося на все новое и живое. Он предоставил бы в его распоряжение лабораторию, в которой имеются наилучшие аппараты для фотографирования и даже для микрофотографии. Это значительно подвинуло бы его исследования... Доктор Эйнитц горячо поблагодарил и обещал вечером прийти.

* * *

Гарда сумела заинтересовать отца ботаническими изысканиями доктора Эйнитца. Она сказала ему, что обнаруживается существование совершенно новых химических веществ. Присутствовавшие при разговоре гости и младшая сестра, веселая Зиги, каламбурили по поводу открытия незримых тканей, вспоминали Андерсена «Платье короля», шапку-невидимку и трунили над увлечением Гарды. После обеда вся семья Керна отправилась на обычную воскресную прогулку в экипаже. Гарда от участия в прогулке отказалась и пошла на кладбище за «Звездной росой», как обещала доктору Эйнитцу. День был солнечный, тихий и ласковый. Придя к могиле матери, Гарда присела на лавочку под деревом и невольно отдалась во власть грустных и радостных воспоминаний.

В тени плюща, покрывавшего могильную решетку, она разглядела уже много новых прелестных цветков «Звездной росы» и заметила, что в прежних, которые она видела здесь несколько дней назад, значительно поднялись шпорники. Гарда сидела, прислонившись головою к дереву, и почувствовала опять с почти радостным испугом уже знакомое ей освежающее дыхание каких-то незримых, беззвучных существ. Диана насторожилась и залаяла, как тогда у «Богатырской могилы». И вдруг — Гарда даже в эти мгновенья не могла дать себе отчета, сон это или явь: она услышала тонкий, нежный шепот, будто тихие касания серебряных струн. И потом опять наступила глубокая тишина. Гарда встряхнула головой.

— Боже мой, да это безумие!.. — сказала она себе. — Но ведь я совершенно здорова. О галлюцинациях слуха не может быть и речи...

Гарда, стараясь не думать ни о чем, быстро сорвала несколько стеблей и направилась было к дому, но на полдороге свернула и пошла к «Богатырской могиле».

Здесь ее нашел вскоре доктор Эйнитц.

* * *

— Выработали вы план действий, доктор? — спросила Гарда.

— О каком-либо плане не может быть речи, потому что мы имеем дело с существами, противопоставляющими нашей воле свою волю. Вся трудность задачи в том, чтобы зафиксировать фотографическим образом исходящие из растений лучи, или «эльфов», как вы их называете. Только таким путем можно было бы доказать их физическую реальность. Я предложил бы заключить несколько цветков в стеклянный ящик с густыми проволочными решетками вместо дна и крышки, чтобы не мешать притоку воздуха.

— Я должна вам кое-что рассказать, доктор, — нерешительно сказала Гарда. — Во всем этом так тесно переплетается возможное с фантастическим, что я не решаюсь принять только за игру воображения все, что привелось мне видеть и слышать в эти дни. Я явственно слышала голоса, и я смею думать, что это не лишено некоторого значения. Или же я больна...

Я вспомнила слова дяди Гео, а ведь он ученый. Мы говорили с ним не раз о душе растений. Он в этом ничего невозможного не видит. Если же это допустить, то, стало быть, человеческие чувства могут воспринимать и жизнь растений.

— Вопрос о душе растений, конечно, не естественнонаучный вопрос. Субъективные впечатления нельзя доказывать... Может ли жизнь растений воздействовать на нервы людей?.. Знаете, я ничего не решаюсь отрицать в данном случае... В конце концов, каждый человек верит в то, что он сам видел и слышал... Мы с вами были свидетелями удивительных вещей. Вы даже больше знаете меня... Меня занимает больше всего то обстоятельство, что впечатления, которые нас обоих волнуют, вы ведь переживали только вблизи этого растения... очевидно, какая-то таинственная магическая сила исходит из него и передается человеческому нервному аппарату... Если бы это удалось доказать... Подумать только надо!... Доказать, что мы живем среди незримых, неведомых существ... И, быть может, они видят нас, быть может, живут какой-то особой жизнью, не менее культурной, чем наша... или, кто

знает, быть может, даже высшей культуры...

Гарда задумчиво слушала его.

— Сколько тайн, сколько загадок в мире!.. — тихо сказала она.

Они встали и молча пошли к дому.

IV

Над горными вершинами стелются беловатые облака. Легкие, прозрачные пятна скользят в воздухе, сталкиваются, расплываются. Под ними лежит страна, покрытая роскошной растительностью, изрезанная камнями, соединяющими озера и моря. На водных зеркалах играет сказочных окрасок отражение, потому что небо над этим дивным краем голубовато-лиловое и на нем сверкает огромный диск с нежно-затуманенными краями. Одна серповидная часть его горит белым светом, остальная — переливчатая. Краски ласковые и мягкие. Ни одного пятна, режущего глаз или ослепляющего, но все чарует, как сказка и мечта.

Только в одном месте, к которому обращена серповидная белая часть диска, лучится в бездне неба яркая звезда. Это наше Солнце. Наше Солнце, находящееся от диска на расстоянии, которое в тридцать раз больше пространства, отделяющего его от земли.

Большой светящийся диск на небе — это крайняя планета нашей солнечной системы — Нептун. Эта страна с роскошной растительностью и морями — спутник планеты Нептун. Солнечные лучи дают этой стране девятисотую часть того света, который Солнце льет на землю. Даже и в этой доле солнечные лучи равны свету шестисот тридцати полнолуний. Но он затемняется еще плотностью атмосферы Нептуна. Зато планета сообщает своему спутнику, кроме света, и тепло, потому что она газообразна и горяча. Жителям спутника Нептуна она кажется диском, который больше нашей луны в шестнадцать раз. На этом спутнике луны имеются жители и весьма многочисленные. Он несколько

схож по физическому устройству с нашей Землей, хотя по величине немного больше луны. Благодаря своему небольшому объему, эта планета остывает скорее других планет. Сила притяжения на ней значительно слабее, нежели на нашей планете. Все на ней легче, свободней и подвижней. Организмы на ней также отличаются от наших растений и животных.

Как законы механики, так и основные живые формы одинаковы во всей вселенной. Взаимное действие клеточек, их разделение и развитие, образование органических особей высшего порядка, сложных организмов с высокоразвитым сознанием — все эти законы одинаковы во всей вселенной. Различны только жизненные формы и те пути, которыми отдельные организмы идут к единению с природой.

Белые полосы на вершинах и скатах гор и светлые облачка, отделяющиеся от них, — не что иное, как мастерские ут-вердившихся здесь жителей, именующих себя идонами. Эти жилища можно сравнить разве только с корзинами, тонко сплетенными из нежных листьев и покрытыми прозрачной светящейся паутиной.

Они заключают многочисленные комнаты, расположенные самым фантастическим образом, потому что в архитектуре здесь не приходилось принимать во внимание закона тяжести и притяжения. Кое-где на крышах веселых домов отдыхают идоны. Большинство летает в воздухе. Это их обычный способ передвижения. Идоны — маленькие, грациозные существа, вышиною в треть метра, с подвижными гибкими руками и крылоподобными ногами. Человеческому глазу они едва видны, потому что тела их почти прозрачны, и только от больших глаз их исходит яркий свет. Внутреннее строение их организма в значительно большей степени, чем у человека, приспособлено к преобладанию духовной жизни. Их можно было бы назвать витающими мозгами. Физическая сторона их жизни мало утруждает их, вся их энергия сосредоточена на мыслительной работе. Творящая сила природы у них приняла форму самостоятельного самосознания.

Фантазия их одолевает все препятствия в действительности. Жизнь их — свободная игра доброй воли и благотвор-

ной любви. Идоны не рождаются идонами и сами не рожают идон. Они вырастают из растительной породы, размножаются путем деления и развития клеточек. Но сами идоны — совершенно свободные особи, устраивающие свою личную жизнь по своему вкусу и желанию и знакомые со всеми тончайшими оттенками любовных радостей и печалей.

От этих соединений происходит новая форма, распадающаяся на растительные зародыши. Из них затем опять вырастают растения, предшествующие новой органической породе. Переходом через корневидные растения эти существа поддерживают связь с жизнью и мощью мирового организма. Родовое же развитие идон и их свободная воля дают им возможность служить виду всем своим совершенствующимся опытом. Эта непрерывная смена растительной и нервной жизни, счастливое разделение труда довели физическую энергию и духовную мощь до наивысшей точки.

Молодая идона, Фену, вылетела из своего домика и спустилась вниз, к цветущим лесам и лугам. Она летела медленно и осторожно, словно прятала что-то драгоценное под своим легким покрывалом. Вокруг нее летал ее муж Френ, уклоняясь то влево, то вправо, то поднимаясь выше, то опускаясь, будто изучая пространство, чтобы защитить Фену от случайной помехи. Расстояния, отделявшие их, не мешали им обмениваться мыслями. Правда, и у них речь передавалась путем колебания воздуха, но их органы слуха были несравненно восприимчивее, чем у людей. И для взаимного понимания они пользовались самыми разнообразными и утонченными способами. Фену летела через цветущий луг к большому лесу. Весь он был похож на один распутившийся цветник. Ветви деревьев покрыты были здесь и там голубыми чашечками. Цветущие растения, высокие и низкие, покрывали землю, и самые разнообразные пестрые животные бегали между деревьев и носились в воздухе. Все эти животные развивались, как и идоны, в смене поколений с растительным миром. Каждой животной породе соответствовала известная растительная порода, и все они составляли предшествующую ступень высших форм развития.

— Я вижу уже холм матери, — сказала Фену, — отдохнем

немного.

— На ветвях этого темного дерева, — ответил Френ.

Они опустили на ветку.

— Теперь уже Нептун недалеко, — начала Фену, — хотелось бы мне опять увидеть звезды.

— Туда еще очень далеко, — сказал Френ. — Но об этом надо будет подумать. Отчего тебя так тянет к звездам? Разве у нас не искрятся всюду огни?

— О, Френ, но ведь звезды — это миры, которые гораздо больше, красивее нашей планеты. Сколько счастья должно там быть!

— Как знать? Некоторые ученые утверждают, что звезды так же необитаемы, как и планеты, вращающиеся вокруг Солнца. Они утверждают, что единственные разумные во всей вселенной существа живут только в нашей стране, потому что здесь имеются все условия для существования идон.

— Вот как! И кроме идон, разумного существа и быть не может в мире? — загорячилась Фену. — Если разум ничего уделить не может другим планетам, то почему такая расточительность в отношении идон? Зачем существуют эти большие планеты вокруг Солнца, если не дано там жить разумной жизнью? Или мудрецы полагают, что планеты носятся в воздухе, как мертвые камни? И откуда знают мудрецы, что у планеты нашей нет души?

— Не горячись, Фену, в душе нашей планеты никто не сомневается, но единственные разумные существа — это все-таки мы. Помнишь, милая, книгу Нурля, которую мы с тобой читали — о том, как одна идона попала на планету вблизи солнца? И жителями этой планеты оказались исполинские существа, которые думают и говорят, но не летают. Там и всевозможные растения, и большие деревья, и красивые цветы. Жители этой планеты утверждают, что растения вовсе души не имеют. Они их не считают даже сознательными существами, потому что не умеют с ними говорить. Они в своем развитии совершенно оторвались от растений и воображают, что они одни во всей вселенной сподобились особого откровения, которому чужда осталась вся остальная природа.

— Я помню эту книгу. Но я думаю, что автор просто хотел дать остроумную сатиру. Если бы в действительности существовали где-либо такие существа, то это было бы ошибкой природы, которую мировой разум не замедлил бы исправить. Такие существа или погибли бы, так как утратили связь с природой, или вновь обрели бы ее, познав свое заблуждение.

Фену вздрогнула.

— Что с тобой? — тревожно спросил Френ.

— Как, должно быть, тяжело и страшно быть женщиной на такой планете! Это постоянная забота о новой жизни, ответственность, страх за непредвиденность, над которой мы не властны! Ни покоя, ни счастья! Все силы, все время отдавать маленьким беспомощным существам, и не иметь возможности выполнять свою гордую жизненную задачу, свободно и полно развивать свою личность... Какой ужас!..

— Конечно, — ответил Френ, — забота о будущем поколении совершенно поглощает все помыслы, и для стремления к высшим целям не остается больше места в душе. Нельзя любить Бога в самом себе и не видеть самого себя в этом Боге. А вечная забота о детях — это, в сущности, забота и любовь к себе, одинаково же любить Бога и себя нельзя.

— И потом, какая ужасная мысль, что высшее блаженство любви связано с ответственностью за будущую жизнь! Какое бессмыслие и какая пытка! Если есть где-либо такие несчастные женщины, которые производят на свет подобных себе существ и должны их растить и нянчить, то нет ничего удивительного в том, что такие обиженные природой создания не могут найти своего Бога...

— Что же, возможно, что многие существа приходят к нему окольным путем страдания... У нас тело и душа связаны неразрывно. Но те существа, о которых писал наш ученый, лишь путем долгого-долгого процесса мыслей и страдания могут прийти к сознанию своего единства с природой.

— В моей голове эта жизнь даже не укладывается.... Представить себе только надо, что мы, идоны, живем с нашими родителями, и они тоже идоны... Сколько тягостных осложнений создавалось бы! Как могут молодые и старые пони-

мать друг друга? И потом, эти взаимные заботы, взаимные обязательства! Какая же тут возможна самостоятельность мысли и воли? Самым сильным чувством, вероятно, было бы желание освободиться друг от друга. Насколько счастливее мы! Живем свободно, радостно, без обязательств к нашим предшественникам, без забот о потомстве. И в то же время, когда есть потребность излить свое чувство, можем говорить с матерью, давшей нам жизнь и силу высоких духовных стремлений!...

— Полетим скорее, Фену, к твоей матери. Био благословит наше сокровище прежде, чем оно вернется в недра жизни, чтобы набраться там сил для наших внуков...

Они полетели дальше и скоро достигли цели.

* * *

Био было крохотное, прелестное деревцо, на веточках которого красовались красивые голубые цветки. Это растение, предшествующее живым идонам, носит на спутнике Нептуна название «Фиты». Идоны благоговейно чтят своих «Фит». Юным росткам они оказывают самое заботливое внимание. Только дальнейшее, конечное развитие его семян они предоставляют высшей власти.

— Здравствуй, мать, — сказала Фену, остановившись перед деревцом. — Мы прилетели к тебе с нашей заветной тайной. Благослови ее, прежде чем мы отошлем ее на темный извилистый путь надежды.

Био отвечала медленно и достойно, с светлой и покойной торжественностью.

— Благословляю красоту, которую вы, получив от меня, возвращаете вновь земле, сделав ее достойней и значительней. И пусть земля даст ей новую силу для дальнейшего расцвета и творческих порывов.

Идоны полны были гордости от сознания, что и они принесли свою мечту на алтарь вечно меняющейся, вечно творящей жизни. С радостью в сердце они полетели обрат-

но домой.

Из развевающегося покрывала Фену вылетело в пространство что-то прозрачное, едва уловимое. Оно рассеялось в миллионы невидимых маленьких клеточек. Это были преемники Био. Рой этих молекул дремлющей жизни носился в атмосфере, окружавшей спутника Нептуна. Одни из них медленно спускались на почву, где им суждено было пустить ростки и превратиться в растения.

Спутник продолжал свой путь вокруг Нептуна, и некоторые из молекул очутились на стороне, не получавшей света ни от солнца, ни от Нептуна. Здесь они попали в разреженную атмосферу высоких воздушных слоев, получили сильный толчок назад и отлетели от планеты в пустое мировое пространство. Но и в мировом пространстве нет полной пустоты. В ней носятся и кружатся частички, разными путями отделившиеся от своих планет. Смотря по величине своей, они или притягиваются к Солнцу силой притяжения, или отталкиваются солнечными лучами. Молекулы Био были так малы, что давлением солнечных лучей их отбросило несколько еще дальше в пространство. Долгий, долгий путь проделали одинокие скитальцы. В течение сорока лет летали они из одного воздушного слоя в другой, попадали в холод, в жару, в сырость, в сухой зной, пока наконец не попали на землю, где пустили ростки в тени темного скрытого плюща. Здесь с растением произошел тот же процесс, что и в родной обстановке: из голубых чашечек развились живые существа. Первая идона на земле, родная внучка Фену, развивалась из того цветка, который пересадила в свою комнату Гарда.

Едва она поняла, что находится среди чуждых ей существ, она вылетела в раскрытое окно: это было на заре. «Ильду», так она сама себя назвала (это на языке идон значит «единственная»), робко носилась в воздухе и искала товарищей. Подле темного бука, где она остановилась, она услышала говор каких-то странных существ, смутное представление о которых она получила уже от своих предков. Идодны рождаются со всем опытом и со всеми знаниями своих предшественников. И все-таки эти существа — это были лю-

ди, Гарда и доктор Эйнитц — показались Ильду загадочными. Идона решила выждать встречи с товарищами, чтобы обсудить с ними положение. Не далее как в следующую ночь она встретила молодых идон, только что вышедших из своих чашечек, и уже могла им сообщить некоторые полезные сведения о грубом, неприветливом мире, в котором они очутились. Идоны решили, что одна часть поселится вместе и образует свою колонию, а остальные займутся изучением людей. Руководителями этого отряда выбраны были Эльзу и Грет.

V

Когда фабрикант Керн брался за какое-нибудь дело, то уже не забывал о нем, пока не доводил до конца. Обещав Гарде оказать содействие доктору Эйнитцу, он обставил его самыми ценными пособиями и инструментами. Гарда деятельно помогала ему и в то же время училась у него. Зафиксировать таинственные существа, или эльфов, как он и Гарда их называли, ему так и не удавалось. Он сделал из этого заключение, что они замечают его попытки и умеют совершенно ускользать из его поля зрения. Странные существа властно влияли на его воображение, настолько, что у него не хватало даже отваги совершить над ними какое-либо насилие. На тех стеблях, которые они взрастили в закрытом стеклянном ящике, чашечки еще не распустились.

Доктор Эйнитц надеялся с этих пленников получить более или менее точные фотографические снимки. Герман Керн, ни перед чем не останавливавшийся в желании угодить любимой дочери, заказал особые восприимчивые пластинки. Для Гарды эти дни совместной работы с доктором Эйнитцем были чуть ли не первыми днями истинной радости в ее жизни. Ей было с ним хорошо, легко. Другие молодые люди, с которыми она встречалась, или ухаживали, или занимали ее разговорами по светской обязанности — и то и другое было одинаково скучно. Доктор Эйнитц по какой-то внезапной

прихоти судьбы стал ей товарищем, почти необходимым, и обоих связывала такая странная, такая очаровательная тайна.

В течение нескольких дней Гарда не слышала загадочных зовов из неведомого мира. Эльфы больше не являлись ей. Однажды Гарда, войдя утром в лабораторию, узнала от сторожа, что доктор проработал здесь почти всю ночь и на рассвете отозван был к больной. На стеклянном ящике Гарда нашла записку Эйнитца: «Не открывайте, пожалуйста, ящика. Здесь вполне развившиеся экземпляры — с трех часов ночи уже невидимы». Гарда взволнованно смотрела на темницу, в которой были незримые эльфы.

Ей пришлось в голову сделать фотографический снимок при дневном свете; быть может, пластинка покажет больше, чем может разглядеть человеческий глаз. Она установила аппарат, но, не будучи вполне уверенной в технических приемах, села за стол и открыла руководство. Вдруг она почувствовала на своем лбу знакомое уже ей свежее дыхание. Она испугалась, схватилась руками за голову. Но руки ее тотчас отпрянули назад, словно от электрического удара. Она чувствовала, что сила изменяет ей, но сделала над собой невероятное усилие и ждала... Ждала увидеть что-нибудь, услышать. Но она видела только ящик, и у нее было такое чувство, что она должна, должна немедленно его открыть... Она встала, как загипнотизированная, и сделала несколько шагов. Но в тот же миг явственно увидела записку Эйнитца — не открывать ящика ни в коем случае. Устоять, устоять против внушения — не думать о «Звездной росе!» Сосредоточить мысли на чем-нибудь другом... Но на чем, на чем?..

Бесконечная тоска охватила ее и страх перед чем-то неведомым, властным... Помогите, помогите!.. Она почувствовала какое-то покрывало на своей голове, вскрикнула, вскочила и в тот же миг услышала другой крик испуга...

Когда она открыла глаза, перед ней стоял Эйнитц с полотенцем в руках и взволнованно смотрел ей в лицо.

— Что с вами? — сказал он. — Вы испугались?

Гарда смущенно улыбалась и, стараясь скрыть свою сла-

бость, подтрунила над собой.

— Эльфы мне визит сделали, и я перед ними растерялась. Но, быть может, вы больше меня знаете, что здесь было? Расскажите!

— Я застал вас в обмороке... Это все, что я видел... Я тотчас схватил полотенце и набросил вам его на голову... У меня была мысль, что я таким образом поймаю это существо, доведшее вас до такого состояния. И действительно, я почувствовал мягкий, сильно забившийся в моих руках предмет! Я хотел его удержать, но вдруг меня обожгла такая острая боль, что я должен был разжать руки... В тот же миг вы пришли в себя. Я поспешил к вам. Вот полотенце, — смотрите, это следы едкой кислоты, ее мог выделить только эльф.

— Вы ранены? — тревожно спросила Гарда.

— Нет, ничего, я омыл уже обожженное место спиртом. Не больше, чем от крапивного ожога. А вы теперь как себя чувствуете?

— Мне лучше, — ответила Гарда. — Досадно только то, что эльф от нас ускользнул. И, представьте себе, у меня такое было ощущение, что я должна во что бы то ни стало открыть ящик. Если вы бы не пришли, я, вероятно, это и сделала бы. Что вы на это скажете?

— Знаете, я большой скептик, — ответил он. — Я даже ваши переживания склонен был объяснять, как чисто субъективные явления. Но то, что сегодня произошло... Прямо думать жутко... Ведь это отрицание научной логики... Наука ясно доказала, — так, по крайней мере, мы привыкли верить, — что переход от растительного вида к животному совершается медленно, с чрезвычайно медленной постепенностью. То, что мы с вами видели и чувствовали, эта попытка эльфов воздействовать на вас; эти старания освободить заключенных эльфов и оказанные мне противодействия — все это опрокидывает всякие научные положения. Я прихожу к самому фантастическому предположению. Для нас с вами ясно, что мы имеем дело с сознательными существами. Но на нашей планете, на земле, непосредственный переход из растений в сознательные существа немислим. Стало быть, «Звездная роса» явилась к нам с какой-то другой планеты.

Это предположение не так фантастично, как, быть может, вам кажется. Мысль о зародышах, рассеянных в мировом пространстве, высказывалась многими знаменитыми учеными. Сванте Аррениус, например, точно вычислил — сколько времени должен лететь маленький зародыш от Нептуна до земли. С какой планеты явилась «Звездная роса», вряд ли мы узнаем. Я вам снимки свои последние показывал? — добавил он.

Он поставил перед нею под стереоскопом небольшой снимок. Гарда несколько мгновений внимательно рассматривала его.

— Послушайте, да тут что-то есть... — тихо и изумленно сказала она.

Они подошли оба к окну.

— Да, да... совершенно явственные фигурки... Одна летает, другая сидит.

— Те же самые очертания, как у тел эльфов, которых я видела однажды ночью в моей комнате.

Они молча и взволнованно разглядывали один снимок за другим, и с каждым мгновением перед ними все глубже и увлекательнее раскрывалась сказка жизни.

— Это сон, доктор Эйнитц!.. — тихо сказала Гарда.

— Мы с вами на зачарованном острове, в царстве эльфов, — так же тихо ответил он. — Мы с вами вдвоем, и никто этого не знает. Гарда... — почти без звука промолвил он.

Она подняла на него свои лучистые глаза.

— Мне домой пора, — сказала она. — А что вы намерены сделать с этим несчастным пленником?

— Это задача, — сказал Эйнитц. — Ни видеть, ни поймать его нельзя. Попробовать разве резиновыми перчатками? Но что мы с ним будем делать? Остается только наблюдать и ждать. Попробуем еще воздействовать на него какими-нибудь световыми или химическими способами. Быть может, удастся каким-нибудь способом усыпить его или убить, и таким образом сделать его тело более доступным исследованию.

— Мне жаль тебя от души, мой прелестный эльф, — шутливо сказала Гарда, обращаясь к ящичку. — Но завтра у тебя

будут товарищи. Смотрите, доктор, тут распускаются новые чашечки. А теперь я пойду...

* * *

Доктор Эйнитц принялся за работу с удвоенной энергией. За дни усиленных наблюдений за «Звездной росой» он проследил уже все стадии ее развития и момент отделения эльфа от цветка. Ему удалось вовремя покрыть цветки тонкой сеткой и заметить, что она легко приподнимается. Сильной струей хлороформа он предупредил вылет эльфа. Сетка опустилась, и по некоторым слабым световым отражениям он заметил, что в чашечке действительно находится какое-то безжизненное тело. Этот опыт он проделал несколько раз, и все парализованные таким образом организмы положил в спирт. Обо всех своих наблюдениях он написал обстоятельный доклад, который хотел послать двум известным ученым — зоологу и ботанику — и спросить у них совета или указания. Он чувствовал недостаточность своего знания для продолжения дальнейших опытов. Гарда смутилась, когда он сообщил ей свой план. Ей казалось, что чужие люди отделят их от царства эльфов, к которому они так близко подошли, и разрушат мечту, которая озарила ее жизнь таким радостным смыслом. Она не решалась сознаться себе в этом — она не хотела, чтобы тайна, связывавшая ее с этим симпатичным, милым доктором Эйнитцем, сделалась общим достоянием. Но он был прав, и она ничего ему возразить не могла. Со своей стороны она заявила, что напишет своему другу — дяде, известному ученому географу Гео Сольвесу.

VI

Гарда с увлечением заполняла страницу за страницей. Она сидела за столиком у «Богатырской могилы», где пришлось

пережить ей столько незабвенных чудесных минут. Кругом была глубокая тишина, та удивительная летняя тишина, в которой голоса природы становятся близкими и понятными человеческому уху. Незаметно внимание Гарды перешло от письма к дяде Гео к таинству, совершавшемуся вокруг нее. Многоликая, многозвучная жизнь вила свою бесконечную нить. И каждый атом этой великой объединенной работы был полон чудесного, таинственного смысла. Тихо, нежно и все отчетливей и яснее уловила Гарда какие-то необычные, трепетные голоса. Из отдельных слов, из отдельных фраз складывалась в ее сознании стройная речь. Говорили растения. Говорили об узости человеческого понимания, об эгоизме и властолюбии людей. Говорили с негодованием, что один человек убил забредшего на землю эльфа и убьет еще многих для каких-то своих корыстолюбивых интересов. Говорили, что надо положить конец долготерпению и отомстить людям за их беспощадный эгоизм. «Мстить, мстить, мстить... — слышала Гарда на разные голоса. — Это преступники!.. безбожники...»

Гарда сидела, как оглушенная. Кругом опять была глубокая мирная тишина.

«Преступники!.. Вернер Эйнитц и она — Гарда?!. Идоны что-то замышляют против нас. Они хотят мстить, мстить...»

Гарда в ужасе вскочила. Она была уверена, что то, что она сейчас пережила, не было сном. Она была убеждена теперь, что вокруг нее существа сильнее ее... Что во власти их делать людям добро и зло... И люди беспомощно бьются и долго-долго еще будут биться в сетях неразрешимых загадок, недоказанных предположений и робких, жалких догадок. Она вернулась домой удрученная, прибавила к письму своему дяде описание только что пережитых минут и прилегла на диван. Она чувствовала бесконечную усталость во всем теле. Каких-то невиданных очертаний ветви скоро затрепетали над ее головой, какие-то фантастические цветы склонялись к ее ищущей. Эльфы хороводом кружились перед нею, и вдруг на нее полился золотой дождь. Золотые крупинки сталкивались и звенели, как далекие струны — тихо, тихо... и все затихло... все погасло...

VII

Жизнь Гарды разделилась теперь на две половины. Одна протекала в семье, в хозяйственных хлопотах, в заботах о близких. Другая — в заколдованном кругу ее новых интересов и захватившей ее тайны.

Отец уезжал по делам, и тетя Минна волновалась. Ей надо было ее успокаивать. Все хозяйство лежало на ее плечах, и служащие, начиная от управляющего и кончая ночным сторожем, за всяким пустяком обращались к ней. Потом вдруг от Фрикгофа пришло письмо с обстоятельным изложением его нежных чувств и предложением. Надо было и ему ответить. Гарда знала, как огорчит отказ и его, и ее отца. Но теперь она говорила себе, что не имеет даже нравственного права соединять свою судьбу с чужою жизнью... Теперь, когда ей грозят какие-то неведомые опасности, ее прямой долг избежать кого бы то ни было... Разве только, конечно, если человеку грозит такое же несчастье, как ей... Но это совсем другое дело...

Она широко открыла окно в сад. Стояло чудесное солнечное утро. Она быстро оделась и побежала в лабораторию. Было всего только семь часов, но доктор Эйнитц сидел уже за работой и встретил ее с сияющим лицом.

— Вы поверите, что я вчера слышала идон?

— Кого- кого?.. Идон?.. Это что такое?..

— Ну да! Представьте себе. Они так себя называют... идонами.

И Гарда с бьющимся сердцем рассказала доктору, что она слышала от существ другого мира.

— Что же, этого надо было ждать! — сказал Эйнитц. — Раз наш глаз воспринимает движение и очертание этих таинственных существ, то очевидно, формы, в которых проявляется их сознательная жизнь, могут передаваться нам в доступных нашему пониманию звуках. Ведь речь идет об индивидуальном представлении сознательности у растений, и собственные имена, как «Идоны» и «Био», создались в вашем мозгу. Неведомые нам формы растительной речи проник-

ли в ваше сознание какими-нибудь акустическими образами, прозвучавшими для вас, как «Идоны» и «Био». Все это в высшей степени интересно, и мне кажется порой, что мы с вами находимся по ту сторону действительности. И кто знает, что мы еще увидим и услышим! Я пойду наверх, посмотрю, что случилось с заключенными эльфами, а вы подождите меня здесь.

— Нет, нет, ни за что! — твердо сказала Гарда. — Я пойду с вами.

Они осторожно вошли в темную комнату.

— Как сильно спиртом пахнет!... — заметила Гарда. — Но в ящике ничего нет...

Она повернула электрическую кнопку и осветила комнату.

— Исчезли! Взгляните-ка: в сетке будто выпилено отверстие. А здесь, а здесь, — воскликнула Гарда, — осколки стекла!

Сосуд со спиртом, где лежал мертвый эльф, разбит.

— Смотрите-ка, смотрите-ка сюда!..

В комнате стоял хаотический беспорядок. Все ящики были разбиты. Сетки и крышки были разбросаны по всем углам. Весь материал, который Эйнитц тщательно собирал, был уничтожен. Даже фотографические снимки и рисунки были совершенно испорчены. Сохранились только снимки аппарата, лежащего в шкафу. Шкафа идоны не коснулись. Доктор Эйнитц мрачно смотрел на опустошенную комнату. Все погибло... Надо отказаться от всех дальнейших попыток изучить эти таинственные мстительные существа. И с прекращением работ прекратятся и частые встречи с Гардой — золотые минуты его жизни. Он взглянул на Гарду. Она сидела за столом и безмолвно смахивала с ресниц набегавшие слезы. Эйнитц подошел к ней.

— Месть идон, — тихо сказал он. — Но вина лежит на мне одном. Я отнял у вас вашу тихую радость — «Звездную росу». Простите, но я отказаться от начатого дела не могу. Я буду бороться и готов ко всему. Но я не хочу, чтобы вы подвергали себя опасности. Этого я не хочу, Гарда, — тихо добавил он и глубоко заглянул ей в глаза.

Она с любовью встретила его взгляд.

Эйнитц схватил ее руку и прижал ее к своим устам. Гарда хотела что-то сказать, по ничего не сказала. Они только потянулись один к другому и губы их сказали друг другу то, чего никогда никакие речи в мире сказать не могут...

Гарда вдруг вырвалась из его объятий и отбежала в другой угол комнаты.

— Не подходи! Не подходи! — крикнула она. — Если идоны здесь, они все видят...

— Это теперь безразлично, — сказал он, смеясь. — Подумай только — если бы они захотели выболтать, то ведь не нам, а другим, и тогда они сами выдали бы свое существование.

Гарда согласилась с ним, и оба стали приводить комнату в порядок. Это стоило им немалого труда, так как лаборатория имела такой вид, словно была стоянкой неприятельского отряда.

— Необходима безусловная осторожность, — сказал Вернер. — Мы должны выяснить причины этой вспышки. Что они освобождают своих пленников, это естественно. Что они унесли своих мертвецов — можно объяснить религиозными мотивами. Но зачем они уничтожили свои собственные ростки, фотографические снимки, рисунки?..

— У нас ничего почти не осталось, — скорбно вздохнула Гарда.

— О, но то, что я получил, я не обменяю на всех идон, вместе взятых.

— И я тоже, пожалуй, — с прелестной плутовской улыбкой ответила Гарда.

VIII

Идоны основали свою колонию в уединенном месте, на вершине утеса, который люди называли «Богатырской могилкой». Жилища их были не так красивы и удобны, как на родной планете, потому что строительный материал, кото-

рый они нашли на земле, мало отвечал их потребности. Кроме того, у них не было примера и опыта их предков и соплеменников. Экспедиционный отряд под руководством Эльзу и Грет летал в воздушном поезде, среди людей, наблюдал и изучал их.

Колония же, которой предводительствовала Ильду, наистаршая из земных идон, наблюдала тех людей, которым известно было существование идон. Если отдельные человеческие приемы и не были вполне ясны для них, то они отлично все-таки понимали, с какой целью Гарда и Эйнитц затеяли эту лихорадочную работу в лаборатории.

Первая разившаяся в плену идона назвала себя «Стефу», и ее-то и снял Эйнитц вместе с ее возлюбленным «Лиссом», пытавшимся ее освободить. Этот же Лисс хотел путем гипнотического воздействия заставить Гарду открыть ящик и обжег руку доктора Эйнитца. Это было вызвано лишь необходимостью самозащиты, так как идоны ни малейшей вражды к людям не питали. Люди были для них только предметом научного интереса. Идоны слишком чтили все живое для того, чтобы умышленно причинять страдание органическому существу. Но для собственной безопасности они не хотели, чтобы люди знали о них. Поэтому они не решались для освобождения заключенной идоны прибегать к мерам, которые бы открыли людям их деятельность. Они не хотели делать решительных шагов до возвращения экспедиции, но когда они узнали, что Эйнитц посягает на жизнь идон, они вынуждены были изменить свой план действий. Они были оскорблены в своих лучших, священных чувствах, и ради спасения своих близких решили не щадить людей. Ильду созвала всех идон колонии на чрезвычайное собрание. Все сошлись на одном пункте, а именно: подобные враждебные действия людей впредь недопустимы. И необходимо изъять из их власти всех идон и предшествующие им растения. Решено было немедленно освободить заключенных и путем уничтожения аппаратов лишить людей возможности овладеть новыми идоном. Конечно, жители Земли должны были узнать о силе и способностях идон и о средствах, которыми располагают идоны, но другого способа борьбы у

них не было. Против беспощадности они решили выставить свои силы. Некоторые из идон, лично пострадавших от людей, были того мнения, что в борьбе с людьми ни перед чем останавливаться не надо. Существа, которые сознательно и умышленно покушались на жизнь других существ, по их мнению, никакой пощады не заслуживают. Во власти идон было истребление всего человечества. Благодаря тому, что они могли приближаться к ним, оставаясь невидимыми, они имели возможность одним уколом или электрическим ударом убить человека.

Это Лисс, возмущенный страданиями Стефу, выступил с предложением радикальных мер. Но сама Стефу заступилась за людей, которых она близко наблюдала. На ее взгляд, покушение людей на идон не было только проявлением злой воли. Они преследовали при этом важные для всего человечества интересы, еще чуждые пока идонам. В заключение, единодушно принято было предложение Ильду — ограничиться пока только разгромом лаборатории. В ту же ночь, когда это решение приводилось в исполнение, и в то самое утро, когда Гарда и Вернер переживали в лаборатории ужас потери и счастье любви, руководители экспедиции Эльзу и Грет делали доклад собранию идон.

Грет и Эльзу со своими спутниками совершили много поездок в разные стороны. Путем астрономических наблюдений им удалось определить размеры планеты. Огромное количество жителей, разнообразие их жилищ и вид поверхности скоро доказали им, что этим внешним путем обозрения им вряд ли удастся познать сущность этого мирового организма. Они решили тогда действовать своим центральным органом, то есть вычитывать непосредственно из человеческого мозга человеческое представление об их мире, жизни и задачах. Идоны скоро убедились, что в умственном уровне людей существуют большие различия, но что есть немногие дальновидные индивидуумы, которые могли им объяснить то, что им нужно было знать. Идоны пользовались своим даром гипнотического воздействия и подвергали восприимчивых к гипнозу людей форменному экзамену. Человеческие мозги были для них библиотекой, в кото-

рой они находили ответы на все свои вопросы. Их тяготила необходимость физического прикосновения к голове человека для того, чтобы читать в нем, как они выражались. Люди не могли не почувствовать какого-то внешнего воздействия на свои нервы, и идоны опасались, что они станут доискиваться причин происходящих в них явлений.

Но Грет случайно заметила, что исходящие от идон световые волны могут служить мостками между человеческим мозгом и центральным органом идон. Благодаря этому, они в течение нескольких недель составили себе представление о человеческой культуре.

— Планету, на которой мы находимся, — докладывала Грет собранию, — здешние обитатели называют «Землей». Это та самая, которую мы называем «Третья», то есть третья планета от солнца. Она значительно меньше нашей планеты, но несравненно сильнее, так как заселена тысячью шестьюстами миллионов жителей и бесчисленными животными и растениями. Благодаря этому, она достигла известной культуры.

— Культуры?! — воскликнуло несколько голосов.

В собрании пробежал шепот удивления.

— Да, — продолжала Грет, — я употребила это выражение, так как состояние, в котором находится Земля, все-таки означает для нее известную ступень на пути к совершенству. Хотя, с нашей точки зрения, она совсем некультурна. На наш взгляд, планета идет к развитию, к идеалу единства прямо невероятным и непостижимым окольным путем. Но в этом лежит глубокий смысл. Необъятный дух космоса на другой планете избрал совершенно иные формы проявления. Разнообразие неисповедимых путей его может только исполнить нас благоговейного удивления.

Растения на Земле имеют о людях очень смутное представление, и не могли дать нам каких-либо определенных сведений. Но и сами люди еще не постигли всего смысла живущего — они видят в растениях только средства для их человеческого существования, а не участников духовной жизни планеты.

На Земле живут два многочисленных вида, которые

друг друга не понимают: растения и животные, из которых самые разумные — люди. Это раздвоение внесло в духовную жизнь планеты болезненный разлад. Люди живут какой-то обособленной группой, без тесной духовной связи с окружающим их миром. Им еще только предстоит долгий и тяжелый путь к слиянию с природой. Они еще только томятся, и то немногие из них, о сознании единства мира, где каждый чувствует себя величиной и нераздельною частью великого. Быть может, и нашим предкам в незапамятные времена пришлось проделать этот путь. Но люди стремятся вперед, путем труда и познания стараются приблизиться к идеалам нашей культуры. Жизнь их — тяжелая, полная труда и забот, полная страха и опасений. Им совершенно чуждо то безоблачное блаженство, в котором проходит наша жизнь. Их тяготит настоящее и пугает будущее, потому что оно связано с каким-то концом, с призраком тьмы, в которую тоскливо и тщетно вглядываются их светлые глаза. И в жизни каждого отдельного человека мы наблюдали то же самое раздвоение. Вечно творящую, свободную мысль, то есть свой внутренний мир, они называют фантазией, а то, что их окружает, что им мешает, с чем приходится бороться, они называют действительностью. Удовлетворение они получают только извне, фантазия же ставит им все новые и новые требования, и потому они вечно в томлении и тоске. Чем больше мы наблюдали людей, тем чаще приходила нам мысль, что вся эта планета — ошибочный опыт природы.

Грет замолкла, и слова попросил Лисс.

— На мой взгляд, такой организм даже не имеет права на жизнь. Для людей, мне кажется, лучше вовсе не жить, нежели являть вселенной такую жалкую картину безуспешного стремления к разуму. Лучше вычеркнуть их в бессознательном состоянии из живого мира, чем дать им возможность влачить без конца свое мучительное существование. Волею неведомого мы, представители более совершенного вида, попали на землю, и я полагаю, что наш долг исправить ошибку природы. Я предлагаю истребить все человечество...

— Если мы посланы сюда с какой-либо целью, — горячо возразила предводительница колонии Ильду, — то спасения ради, а не для зла. Я считала бы наиболее целесообразным вступить в общение с высшими организмами Земли, с людьми, и помочь им, советами и указаниями, пересоздать свою культуру. Но по тому, что нам сообщили наши друзья, побывавшие у людей, это кажется мне невозможным. Грет права. Обитатели земли идут совершенно иным путем, нежели мы. Мы не можем переделать их мыслительный аппарат и не можем думать за них. Но уже самая чуткость их к голосам из другого мира, к существам более высокой культуры, говорит за то, что они могут еще со временем войти в царство высшего разума. По-моему, они не совсем безнадежны. И мы не имеем никакого права путем истребления отрезать им путь к совершенству. Дальше, я позволю себе еще заметить, что вряд ли мы даже сможем привести в исполнение наше желание помочь людям. Я не вполне уверена, сможем ли мы утвердить наше существование в физических условиях этой планеты. И кто знает — не прекратится ли даже вовсе наш род в изменившейся среде.

После нескольких минут серьезного молчания, заговорила Эльза:

— Да, Ильду совершенно права. Мы все должны обдумать и взвесить ее слова. Мы живем уже немало дней на этой планете. А много ли состоялось браков? Правда, мы не должны об этом спрашивать, но если бы это было, мы это знали бы. Мы никого еще не видели здесь в праздничной одежде. А если бы браки и были, то откуда мы знаем, что тайна любви может приняться на этой почве. Мы нигде здесь не видели растений, подобных нашим матерям. Люди даже представления не имеют о подобной смене поколений. Если же нас не сменят новые растения, то вид наш выродится. И мы, может быть, должны отсюда уйти.

— Да, — решительно поддержала ее Ильду, — прежде всего мы должны иметь в виду интересы нашего вида. Если в течение ближайшего времени выяснится, что физические условия на этой планете не благоприятствуют нашему дальнейшему развитию, то мы должны будем исчезнуть отсюда.

Лисс опять попросил слова.

— После всего, что сказано Ильду и Эльзу, я беру свое предложение об истреблении человечества обратно. Какое бы решение мы ни приняли, мы должны, первым делом, позаботиться, чтобы идоны не попадались больше в руки людям. Мы-то сами можем уйти от них. Но у них останутся наши растения. Люди найдут способ вырастить идон где-нибудь в далеко укрытых местах, и мы бессильны будем помещать этому. Я полагаю поэтому, что первая наша забота должна быть о том, чтобы не допустить до дальнейшего развития пестики на оставшихся здесь растениях.

После недолгих прений, идолы решили уничтожить свои побеги, а вопрос об исчезновении с этой планеты подвергнуть вторичному обсуждению.

IX

Гарда ликовала. Приехал ее дядя Гео Сольвес, ученый, авторитетный в научном мире, и не только заинтересовался ее сообщениями о наблюдениях и опытах, которые она и Эйнитц проделали над таинственным цветком, но даже сам принял участие в лабораторных исследованиях. На второй же день его приезда Эйнитц сделал новое открытие. В чашечках «Звездной росы» вместо пестиков, из которых, по наблюдениям, развивались идоны, оказалась какая-то беловатая жидкость.

Самих же идон и след простыл.

Химический анализ обнаружил в жидкости присутствие элемента, входящего в состав каучука. Доктор Эйнитц и Гарда имели теперь влиятельного покровителя в лице Гео Сольвеса. Слово его было законом для фабриканта Керна. Когда Гео сказал ему, что открытие доктора Эйнитца может иметь серьезное практическое значение, Керн со всей свойственной ему горячностью ухватился за эту мысль. Тотчас выписаны были необходимые инструменты. На помощь доктору Эйнитцу приставлен был фабричный химик доктор

Эммейер, и работа, которая велась в глубокой тайне под непосредственным руководством Гео Сольвеса, не преминула дать самые блестящие результаты. Найдено было средство для выделки каучука самого высокого качества. Открытие это совершенно уничтожило всякую возможность конкуренции и сулило несметные богатства.

Лишь тогда, когда в значительности этого открытия не оставалось больше сомнения, Гарда решилась открыть отцу тайну своего сердца. Она знала, что отец желал ее брака с Фригкофом, его другом и компаньоном, и что отказ, которым она ответила на его предложение, глубоко его огорчил. Правда, он не сказал ей этого, но она видела по его затуманившимся глазам, что он сильно разочарован в своих ожиданиях. Брак любимой дочери со скромным фабричным доктором Эйнитцом был бы для него, быть может, ударом, тем более, что дела его в то время сильно пошатнулись, но теперь Эйнитц был уже не бедный фабричный доктор, а автор открытия, которое должно было осчастливить всю семью Керна. Гарда радостно и гордо сообщила о своем выборе. И теперь ее замужество раскрывало и перед ней неожиданные блестящие перспективы.

Под шумок всех этих событий, сестра Гарды, веселая Зиги, которая, казалось, ничем, кроме танцев и лаун-тенниса, не интересовалась, влюбилась в лейтенанта Шилена. У них дело обошлось гораздо проще, чем у Гарды с Эйнитцем, без участия идон и каких бы то ни было таинственных существ. В одно ликующее утро она пришла к отцу и заявила, что, хотя ее и считают только девочкой и шалуней и водят ее в коротких платьях... но все равно, она о себе совсем другого мнения... И вовсе не хуже Гарды... И тоже хочет выйти замуж.

Замужество дочерей привело к долго откладывавшемуся объяснению между Керном с теткой Миной. Теперь, когда они оба остались в доме одни, Керн исполнил свое давнишнее обещание: скрепил брачным союзом свою дружбу и ее любовь.

Идоны покинули землю. Но растений, которые Гарда окрестила поэтичным именем «Звездная роса», они унести с собою не могли. Они сделали все, что было в их силах, чтобы помешать дальнейшему развитию своего рода на этой несчастной планете, где цель и смысл жизни — корыстный труд. Из пестиков их не выделялись больше идоны, легкие светящиеся существа, творящие сказку жизни. Из них выделялась тяжелая жидкость, которой люди пользовались для своих целей, чуждых светлому миропониманию идон.

Все тайные радости и печали, которые Гарда и Эйнитц пережили в общении с таинственными существами, они сохранили глубоко в своих сердцах. Это осталось тайной их души, их любви. Она исполняла их радости и благодарности к Неведомому Богу, который сподобил их заглянуть в лик Вселенной.

Они сподобились видеть сон, который снится избранным.

Иероним Ясинский

Мертвые цветы

Шла старуха по Большому проспекту на Петербургской стороне. Она была отвратительно одета: юбка утратила свой первоначальный цвет и вся была в лохмотьях, на плечах болтался большой, тоже грязный, некогда серый, бахромчатый платок, и на сморщенном лице, с странной отчетливостью напоминавшем собою печеное яблоко, просительно бегали слезящиеся мышинные глазки.

Эта старуха была воплощением бедности, нужды и отчаяния, тупости и бессмысленного испуга.

Страшно было видеть на тусклой и мокрой панели приближение этого существа, мучительно похожего на женщину и всем своим видом кричащего, что оно хочет есть, пить и греться в тепле и уюте.

Я опустил руку в карман и стал искать мелочи. Деньги — единственное средство, при помощи которого мы, живущие в холе и довольстве и не очень задумывающиеся над завтрашним днем, отбиваемся от злых призраков, встречающихся постоянно на нашем пути.

Ужаснее всего было, что жалкая и страшная колдунья в протянутой руке, костлявой, неумытой, черно-желтой руке, как в птичьей лапе, держала два цветка — резеду и красную гвоздику — и, когда увидела меня, прямо направила на меня оба цветка.

Не сгибая колен и склонив сухой стан в неопрятном платке, несчастная, раздавленная, отвратительная старуха поднесла мне свои грошовые цветы и сказала:

— Я не прошу милостыни... Вижу, вы добрый господин, и не обидите меня... Купите у меня цветы... что дадите... я всем буду довольна... ради Бога, купите у меня два цветка!

Я дал старухе двадцать копеек и взял цветы.

Было холодное утро. Легкий туман колыхался над улицей. Пустынны были панели. Я разминулся со старухой. И от цветов, которые я купил у нее, какая-то легкая теплота распространилась в моей ладони. Не знаю, почему я не бросил цветы на мостовую. Мне казалось неловким бросить их. Старуха могла увидеть и взглядом упрекнуть меня за презрение к ее цветам; потом цветы остались в моей руке машинально.

Я вернулся домой и поставил их в вазочку. Они уж начинали увядать и ожили от воды; и мучнистый аромат распространился от них в комнате. Ярко пахла резеда, и в тон ей вторила гвоздика. Это был дуэт запахов.

В этот день холерная эпидемия в Петербурге достигла особенно высоких цифр. Кажется, она никогда не достигала такой высоты ни раньше, ни после. Был кульминационный пункт холеры.

Я сидел у письменного стола, думал о холере и представлял себе панику в тех квартирах или домах, где она появляется. Сам я был далек от страха холеры. Но меня стала беспокоить легкая боль в голове. Кабинет мой в нижнем этаже и выходит окнами на север. В пасмурную погоду темно в моем кабинете. Я зажег электричество и хотел заниматься, Но веки мои отяжелели. Я проработал перед тем всю ночь, и немудрено, что я заснул.

Мне снилась церковь с низким куполом и с пестрыми крестами вместо окон. Стекла светились зеленым и красным огнем, а посреди церкви на катафалке стоял гроб, и в нем лежала молодая женщина с бледным, как воск, лицом и с восковыми на груди руками. К подножию катафалка прислонен был венок из резеды и красных гвоздик. Никого не было в церкви, кроме покойницы. И было ужасно тоскливо и душно. Но вот пришла, не сгибая коленей, в грязном платке и, склонив стан, с протянутой вперед костлявой, черножелтой рукой сморщенная старуха, и стала подкрадываться к венку и так вцепилась в него, и с такой алчностью стала теревить его и вырывать из него резеду и красную гвоздику, что меня обвеяло всего смертельным ужасом, и я с криком проснулся.

Странный был сон и тяжелый. И спал-то я всего пять минут. Глаза мои встретили, прежде всего, два цветка, необыкновенно ожившие за это время: резеда надулась, окрепла, стала сочнее, а гвоздика распрямила свои лепестки и подняла их кверху. Мучнистый аромат не давал покоя.

Я поскорей выбросил цветы на кухню и опять вышел на улицу. И опять встретил я ту же старуху, продававшую два цветка.

— Не прошу милостыни, — начала было она, но узнала меня, и только благодарно поклонилась, а я перешел на другую сторону.

Я догадался. Не утверждаю наверное, но мне кажется, что нищая старуха — профессиональная посетительница и участница похоронных процессий. Венки живых цветов, возлагаемые на гробы покойников, были ее законной добычей. А может быть, несколько таких же страшных старух делят между собою и рвут на части надгробные венки.

Нищая жизнь, чтобы окончательно не погаснуть, цепляется за смерть.

Марджори Пиктолла

Черная орхидея

— О, Росарио, это не то место?

— Пока нет, сеньор. Еще немного, если святые будут к нам добры.

Мюллер оперся на весло и наблюдал за маслянисто-серым потоком, бегущим мимо лодки.

— Я сам виноват, — прорычал он Уорвику. — Ах, йа! В оргидеях нет никакой романтиги! Я слышал, как ты это говорил. Но тут жара, и зловонные запахи, и якуар, и ай-ай и аборигены колоссальной глупости. Ни капли романтиги! А я тебе верил.

— Ты все равно бы поехал, — мягко возразил другой молодой человек. — Я предупреждал тебя, что ты не получишь много материала для своей газеты, если мы ничего не найдем — тогда это не заинтересует ваших читателей.

— Я не верю, что здесь можно что-то найти.

— О, Росарио! Скажи сеньору еще раз!

— Мне нечего рассказывать, сеньоры. Я видел цветы, но не прикасался к ним. И мой отец тоже. Старый бог смотрит за реку, на камни и могилы дьяволов. И цветы у него в руках, так и знайте! Они черные — черные, как ил на отмели, черные, как ночь под манграмми. Они были там — он был там — как долго? *Quien sabe?*

— Я ни на секунду не боверю, что они черные. Они будут бурбурные.

— Что ж, скоро увидим!

Глаза Уорвика вспыхнули от возбуждения.

— Черная орхидея, — мечтательно пробормотал он себе под нос. — Так близко! Мечта стольких людей!

Сквозь испарения лихорадки над маслянистой рекой он видел высокие берега во вспышках красок — розовых, коралловых, канареечных, аметистовых. Там на задушенных чащей деревьях цвели орхидеи, а лианы свисали меж ними, как нити драгоценных камней. Но цветок его мечты был черным.

— Бурбурные, — проворчал Мюллер, но снова взялся за весло, и лодка тяжело пошла против течения.

Лес тянулся мимо широкими лентами. Мышцы Росарио перекатывались под промокшим хлопком. Мюллер стиснул

зубы, преодолевая неизбывную усталость этого места, и глубоко погрузил лопасть. И так еще час или больше, сквозь душающую растительность, вонь и пар разлагающейся жизни, живого разложения.

— Я не верю, — слабым голосом произнес наконец Мюллер. — Боб, хинин! Сколько дней с тех пор, как мы покинули Эссекибо? Сколько дней с тех пор, как мы похоронили бедного Фернандо? Это... это...

— Мы повернем, когда ты захочешь, — тихо сказал молодой Уорвик.

Они долго смотрели в худые, осунувшиеся от лихорадки лица друг друга.

— Нет, — наконец сказал Мюллер. — Я всего лишь любитель. Мы найдем; мы не повернем назад. Но в этом нет романтики.

— Я знал, что ты не сдашься, Отто.

Росарио повернулся к ним, и на его меланхоличном лице мелькнул проблеск торжества.

— Смотрите, сеньоры.

Сначала они не видели ничего, кроме леса, такого же, как на протяжении последних дней. Затем, сквозь дрожь влажного зноя, среди этой ужасной растительности начали проявляться очертания других предметов. От них мало что осталось, но на берегу реки виднелись пригнанные друг к другу камни. Развалины пристани, руины дороги некогда царственных размеров, по которой, возможно, проходили мрачные императорские процессии — в какие смутные века мира?

Quien sabe?

Там, где росли более высокие деревья, возвышался небольшой холмик.

— Обычная усеченная бирамида, — пробормотал Мюллер, недовольно тряхнув копной светлых волос. — После брошлого года на Юкатане, Боб, это банально.

Но они замолчали, когда маленькая лодка медленно подплыла к берегу. Чьи ноги ступали здесь в последний раз и когда?

— Не слишком подходящее место для лагеря, Отто. На-

деюсь, тут безопасно?

Их руки слегка дрожали, а глаза смотрели во все стороны во мраке листвы. Они видели много подобных руин таинственных рас, но мало таких зловещих. Когда они высадились, в зарослях скользнуло и зашевелилось что-то склизкое, а лозы ползучих растений, словно ужасные мягкие руки, обвили их колени.

Росарио прорубал тропу своим огромным ножом.

— Очень злое место, — прошептал он, когда они, спотыкаясь, поднимались по камням царской дороги, — полное призраков мертвых, которых никто не помнит.

Двое белых не стали ему перечить.

— Сеньоры, вот бог. Я выполнил то, что обещал. А теперь посмотрите и пойдём.

Они глядели на то, что приняли за огромное дерево или пень, — тень, размытое пятно развалин. И из этого размытого пятна начали проступать черты, черты и жуткое лицо. Там сидел старый бог, глядя на реку из-под своего высокого головного убора с рядами перьев; его плечи представляли собой замшелую каменную глыбу; между уродливо раскинутыми руками находилась каменная площадка длиной около шести футов; с нее спускался пролет ступеней, расколотых проросшей зеленью. У бога не было ничего, кроме невозможных рук и лица.

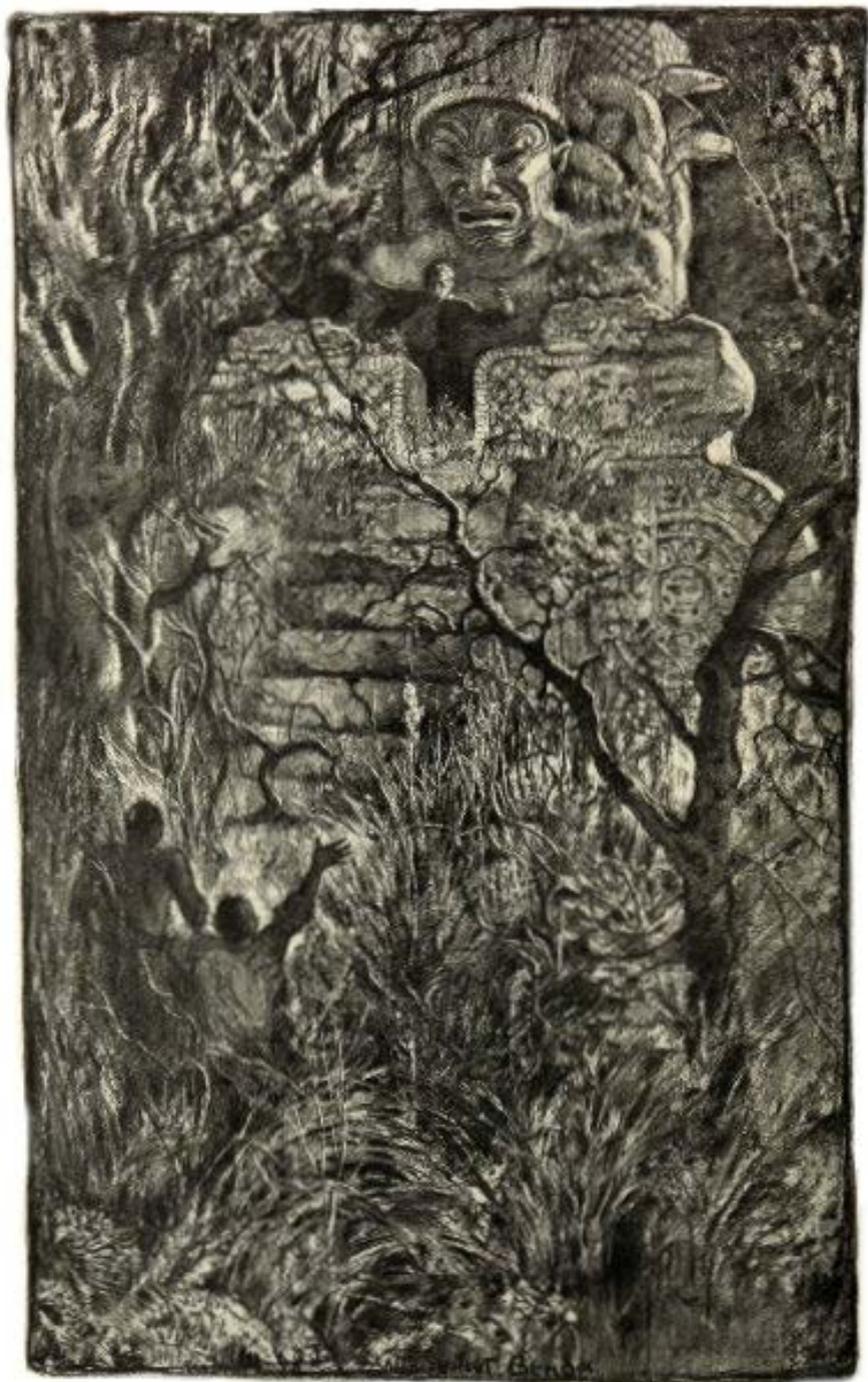
— Надо полагать, — сказал Боб Уорвик, слегка запыхавшись, — что лицо такое же чудовищное.

— Смотри! — сказал его друг.

В руках бога, на каменной платформе, рос небольшой пучок зеленых листьев и темных цветов — трехлепестковых, с длинными черноватыми тычинками, похожими на паучьи лапки. Уорвик и Мюллер на мгновение помедлили, боясь присматриваться. Затем они вместе бросились вперед.

Росарио обхватил Уорвика своими длинными загорелыми руками; в его черных глазах горел страх.

— Там гибель! — закричал он. — Ради всего святого, сеньоры, пойдёмте. Ничего не берите у бога, иначе он забрет у нас все! Он — тот, кто забирает жизни...



Мягкий испанский Росарио превратился в мешанину гортанных звуков. Возможно, на этом языке говорили его предки, когда строили пристань и придавали форму богу. Уорвик отодвинул его в сторону и последовал за Мюллером.

Мюллер карабкался вверх по разбитым ступеням, которые вели прямо в объятия бога.

— Они будут бурбурные, — упрямо ворчал он себе под нос, но сердце его сильно билось.

Странные темные цветы парили перед ним, когда он, наконец, выбрался из гущи обломков и шагнул на платформу. Он торжественно крикнул, и что-то в лесу пронзительно завопило в ответ.

Резное лицо над ним теперь производило странное впечатление, будто смотрело вниз, на площадку. Какой ужас зла, казалось, таился в этих удлинённых глазах и жестоких губах! Мюллер сдержал невольную дрожь и протянул руку, чтобы схватить орхидею.

Платформа накренилась у него под ногами. Вздрыгнув, он ухватился за камень, но не нашел опоры. В краткий миг страха он услышал крик Росарио, увидел изумленное лицо Уорвика внизу и каменное лицо с высеченной ухмылкой, нависавшее сверху. Затем каменная плита поддалась еще сильнее и сбросила его вниз, в темноту, вернувшись на место над его головой.

Он пришел в себя, изнемогая от ужаса и отчаянно цепляясь руками и ногами за длинные, покрытые слизью корни деревьев. Крутом была черная тьма, если не считать фосфоресцирующего отблеска мертвой древесины и гнили. Воздух был мертвым, тяжелым и пропахшим влагой, но не ядовитым. Он мог разглядеть старые корни, за которые цеплялся, только благодаря их призрачному серому сиянию. Все они были мертвы и образовывали сеть, дрожавшую даже от его дыхания. Когда он пошевелился, его руки заскользили по слизи. Он не ведал, на какую глубину упал и какие ужасные бездны лежали под ним.

— Боб! О, Боб! Росарио!

Они не могли его услышать, но он должен был попытаться. В этом месте даже железные молодые нервы изменяли

ему. Как, должно быть, ухмыляется это старое каменное лицо там, наверху, в солнечном свете! Он словно видел этот лик, покрытый тонкой резьбой и отмеченный злом, более древним, чем белые расы людей. Казалось, он парил в темноте, наблюдая, насмехаясь.

— О Росарио! Росарио!

Скольких несчастных сбросили в прежние времена с этого жертвенного камня?

— *Du Lieber Gott!* Я точно своими глазами вижу. Они падали вниз, вниз — куда? Что скрывается там? Тьма и старые мертвецы! Тьма и старые мертвецы! О, дорогой Боже, избавь меня! Боб, Боб!

Они лежали там, связанные и гниющие в слизи, пока от них ничего не оставалось. Ничего! Ни один крик не проникал сквозь стены этой ямы, ни одна молитва не смягчала сердец тех, кто вырезал лик бога. Тот, кто отнимал жизнь, еще не был сыт.

— Я присоединюсь к их компании, если Боб не поторопится. Корни выскальзывают из рук. Они похожи на старых мертвых змей. Все здесь мертво, мертво! Росарио! О, Росарио!

Как долго он здесь провисел? Час? Его руки свело судорогой, и тяжелое биение сердца отдавалось в кончиках пальцев маленькими толчками боли. Напряженные глаза привыкли к темноте. В фосфоресцирующем мерцании он увидел призрачные очертания камней, с которых капала слизь. Он находился в яме, выложенной хорошо подогнанными камнями. Камни выдержали натиск времени и климата. Чем выложен пол? Камнем, убивающим милосердно и быстро? Или же там грязь — ужасная, влажная грязь речных отмелей? Его мозг, казалось, затрепетал и сжался при этой мысли, а перед глазами закружились разноцветные круги. Посреди них возникло лицо старого бога, полустертое, уродливое, но живое злом, старым, как земля. Неужели они никогда не придут за ним? Не собираются ли они оставить его здесь до тех пор, пока он не упадет, присоединившись к забытым мертвецам внизу?

Белые корни медленно, очень медленно выскользывают из его отчаянной хватки. Он не осмеливался сдвинуть руки. Горячая, влажная темнота, казалось, была ему в уши ударами молотов, но это была всего лишь пульсация вен в его голове. Где-то раздавалось еще и тихое постукивание, такое слабое, что не могло исходить ни от кого крупнее ящерицы. Была ли жизнь в этой яме? Нет, ничего живого, кроме лика Забирающего Жизни.

Он словно плыл в темноте, куда бы ни посмотрел. Он закрыл глаза, но темнота осталась там. Влага — не та, что была в этой вонючей яме, — стекала по его лицу. Он застонал и задрожал с головы до ног. Время, разум — все было сметено. Остался только страх, старый, как мир, страх перед темнотой и тем, что поджидало в ней.

Неужели они никогда не придут?

— Как долго, милостивый Боже, как долго!

Он всхлипнул от страха, как ребенок, и корни выскользнули из его мокрых рук. На миг вся чернота ямы будто поднялась ему навстречу, и он закричал, как младенец.

А потом — потом страх исчез. Ибо явился свет — дневной свет, ослепительный луч, внезапно вспыхнувший на мокрых камнях, на побелевших корнях; свет падал на его напрягшиеся руки, сиял на его отчаявшемся лице. Свет! А Забирающий Жизни был всего лишь уродливым старым идиотом, вырезанным давным-давно. Он не осмеливался посмотреть вниз, но мог глянуть вверх, на квадрат небесного света и перепуганное лицо Росарио.

— Сеньор, сеньор!

— Я в порядке, Росарио. О, Боб! Поторопись, мой друг. Как долго ты собираешься держать меня здесь в подвешенном состоянии?

Росарио спустился по длинной веревке из гибкой лианы, как обезьяна.

— Я быстренько обяжу вас под мышками, сеньор. Так — и вот так! Пресвятая Дева! это выдержит вес самого старого каменного дьявола. Я больше не стану ездить в города древнего народа. Пусть остаются с миром, они, их мертве-

цы и их дьяволы. Заведу фруктовый киоск в Санта-Мария-Корона...

Росарио поднялся по натянутому канату, еще больше похожий на обезьяну. Последовал быстрый рывок. Яма, мертвые корни и непроглядная тьма начали постепенно удаляться. Яркий квадрат рос и становился все ближе. И наконец появились сильные руки Боба и рыдающий на ступеньках Росарио.

— Отто, Отто! дорогой старина! Я испугался до бесчувствия. Ты уверен, что с тобой все хорошо? Камень вращается на чем-то вроде центральной оси — никогда не видел ничего подобного. Вот, выпей немного этого. Нам понадобилось десять минут, чтобы снова открыть эту мерзкую ловушку. Как ты себя чувствуешь?

— Десять минут! Десять минут! *Du Lieber Gott!* Я умирал, друг мой, десять часов — наедине с силами тьмы.

Он с трудом приподнялся и сел.

— А оргидея?

Уорвик неуверенно рассмеялся.

— Орхидею раздавило в кашу, когда камень начал вращаться, Отто, — сказал он. — От нее ничего не осталось. И она была единственной в своем роде.

— Она оказалась бы бурбурной, — еле слышно произнес Отто. — Но дело закрыто. Мы едем домой. Мне не нравится это занятие — никакой романтиги.

Джон Блант

Ужас орхидей



Итак, мы вчетвером — Хелен Чедвик, Дюфресне, наш хозяин, Лоринг и я — отправились в оранжерею. Следовало разрешить спор, начавшийся за обедом — о том, реагирует ли чувствительное растение на дыхание так же, как и на прикосновение. Дюфресне рассмеялся и пообещал, что скоро мы увидим, насколько мы ошибаемся и как мало на самом деле знаем.

Теплая сырость оранжереи была мне немного неприятна. Я предпочел бы остаться за столом, по соседству с портвейном и сигаретами, а не участвовать в этой псевдонаучной экспедиции. Но если я поначалу лишь лениво вмешался в дискуссию, теперь мне ничего не оставалось: Дюфресне твердо вознамерился втоптать в землю мои случайные высказывания силой своих наглядных примеров.

Они с девушкой остановились у дверей оранжереи, любуясь цветущим рододендроном; я шел немного позади по вымощенной кирпичом дорожке, когда все это случилось. Ничего более неожиданного нельзя было и представить. Лоринг, обогнавший всех, внезапно повернулся и бросился к нам с отвисшей челюстью, выпученными глазами и выражением безумия на лице!

Я шагнул вперед.

— Что, во имя...

И тут он оказался рядом с ними у куста, усыпанного розовыми цветами. Дюфресне, сбитый с ног, дико взмахнул руками и со сдавленным криком скрылся из виду в водовороте шуршащих листьев кустарника. Мисс Чедвик, отброшенная к противоположному краю дорожки скольльзящим ударом Боринга в плечо, на мгновение пошатнулась, безуспешно попыталась восстановить равновесие, ухватившись за ближайший куст, затем неуклюже упала на колени во влажный суглинок.

— Лоринг! — закричал я. — Ради Бога, парень...

Быстро отступив в сторону, я протянул руку и попытался удержать его. С таким же успехом можно было пытаться задержать мчащийся экспресс. Моя рука мигом слетела с его плеча, и он огромными, быстрыми шагами направился к двери оранжереи.

Еще мгновение, и он исчез.

Ошеломленный, я уставился на дверь. Позади меня толстяк Дюфресне завозился, стараясь выпутаться из ветвей; я смутно услышал, как он наконец выбрался и подошел к де-вушке, заботливо осведомляясь о ее состоянии.

Лоринг был в здравом уме, когда вошел в оранжерею. Еще тридцать секунд назад он был совершенно здоров. А потом — сошел с ума.

Что, черт возьми, происходит?

Потом я, вздрогнув, пришел в себя. Лоринг был моим другом. Я привел его в этот дом сегодня вечером. В каком-то смысле я отвечал за него. Дьявол его побори!

И все же он поступил так не потому, что решил вдруг проявить эксцентричность. С ним что-то случилось. Что-то там, на дорожке, сильно испугало его. Что-то, достаточно ужасающее, чтобы вывести его из равновесия.

Господи, теперь он был на свободе, в переполненных гостиных дома! Что ему может прийти на ум? А я, как его друг, отвечал за него перед хозяином и хозяйкой дома.

Я быстро повернулся и вышел за дверь. Никаких следов Лоринга. Похоже, он ничем не нарушил веселья гостей в комнатах первого этажа. Я поднялся по лестнице в гардеробную,

отведенную для мужских шляп и пальто, и там нашел вещи Лоринга. Очевидно, он не выходил из дома.

— Прошу прощения, сэр! — Привратник встретил меня у подножия лестницы. — Джентльмен, который пришел с вами сегодня вечером, сэр. Я подумал, что должен вам сказать. Ушел с непокрытой головой, совсем как вы сейчас, мистер Мердок, минут десять назад. Сначала я решил, что он забыл что-то в машине, на которой вы приехали. Но он не вернулся. Я думал...

Я взбежал по лестнице, надел пальто и шляпу и через две минуты уже спускался по ступенькам крыльца. Лоринг явно сошел с ума! Что бы ни расстроило его в оранжерее, это заставило его в паническом испуге выбежать из дома без шляпы и пальто.

Я ужасно волновался. Бессознательно я направился к нашему клубу — полагаю, у меня было некое подозрение, что он мог скрыться там. Я вошел в клуб, и первым же человеком, которого я увидел, был... Лоринг!

Он сидел за столиком, ближайшим к открытой двери кафе. Фрак он сменил на смокинг; перед ним стоял стакан с каким-то напитком. Я подошел к нему сбоку. Он не поднял глаз. Внешне он выглядел, как всегда, хладнокровным и собранным.

— Ну?

Я облегченно вздохнул, опустил на стул напротив и, потеряв дар речи, уставился на этого человека. И что это был за человек! Шесть футов три дюйма, геркулесово телосложение, загорелое до цвета бронзы и гладко выбритое лицо. При взгляде на такого непроизвольно расправляешь плечи, выпячиваешь грудь и вообще пытаешься «увеличиться» — инстинктивно пытаешься соответствовать его великолепным физическим данным. Настоящий образчик мужской красоты!

И его охватил такой сильный приступ страха, что он по неосторожности сбил с ног хозяина вечера и хрупкую женщину, затем выскочил из дома и побежал по улицам, не останавливаясь и не думая об укрытии, на время утратив рассудок от чрезмерного испуга! Что могло так испугать этого

громадного человека, почти гиганта?

— Ну? — нетерпеливо повторил я. — Что все это значит?

Он ничего не сказал.

— Ты что, не хочешь поговорить? — изумленно выпалил я. — Имею я право на объяснение или нет?

Его глаза еще не встретились с моими.

— Разве ты не видишь, — процедил он сквозь стиснутые зубы, — что я пережил потрясение, и довольно сильное? Я пытаюсь держать себя в руках. Это нелегко. Я был бы тебе очень признателен, если бы ты не задавал вопросов. Во всяком случае, не сейчас.

Я откинулся на спинку стула, покусывая ус. Только самый сильный человек мог так хорошо владеть собой после того, как менее получаса назад буквально развалился на куски. И все же, если у него хватило силы воли для этого, что могло так потрясти его в доме Дюфресне? Я просто должен был удовлетворить свое любопытство!

— Так ты мне скажешь? — спросил я через некоторое время. — Что повергло тебя в такой ужас?

Он молча разорвал в клочки чек из бара, зажатый между пальцами.

— Ты увидел в оранжерее рептилию? — рискнул предположить я. — Может, на каком-нибудь пересаженном кусте прятался тарантул? Ничего подобного?

Он презрительно махнул рукой в знак отрицания.

— Ну и что, черт возьми, это было? — произнес я. — Дюфресне, девушка и я были единственными живыми существами в этом месте, кроме тебя самого. Конечно, мы не сделали ничего такого, что могло бы тебя встревожить. Ты что, совсем обезумел из-за каких-то дурацких цветов?

Наконец он посмотрел на меня в упор.

— Что бы ты сказал, — в волнении он почти шептал, — если бы я признался, что *в самом деле* обезумел из-за цветов? Кучки экзотических растений в дальнем углу помещения, которых вы не заметили, да и я тоже, однако ощутил их запах? Что именно цветы заставили меня на несколько минут сойти с ума? А?

Он откинулся назад.

— Что бы ты сказал? — продолжал он. — Тебе было бы нечего сказать, потому что ты бы не понял. Ты не знаешь моего прошлого. Рассказ будет неприятным, я тебе обещаю. Но ты должен знать. Очень хорошо. Слушай.

Девять лет назад я сидел в этом самом клубе. В то время мне было тридцать, и я реализовал все свои жизненные амбиции, кроме одной. У меня были деньги, много денег, и все они были заработаны мной самим. Располагать состоянием в тридцать лет, как ты понимаешь, означает тяжелую работу. Я усердно трудился. Полагаю, я работал больше, чем кто-нибудь другой; но я был создан для трудностей.

Единственное достижение, которого мне не хватало, — это жена. До тех пор мне не сумела понравиться ни одна женщина. Если это звучит эгоистично, помни, что финансовый успех кое в чем меня убедил. Я принадлежу к тому роду мужчин, что способны питать к женщине так называемую «великую страсть»; я хотел найти и избрать себе в спутницы девушку, которую мог бы окружить заботой и бесконечной любовью. Поэтому я ждал все эти годы, ждал ту единственную женщину.

Но я устал ждать. И в тот вечер пришел незнакомец, сел в соседнее кресло в бильярдной и подал мне надежду, что, возможно, мое ожидание закончилось. Станный он был тип. Думаю, новый член клуба. Он напомнил бы тебе труп: желтая кожа туго обтягивала скулы; на конечностях было слишком мало плоти, чтобы сделать его фигуру привлекательной для созерцания; а его глаза — мне и сейчас не нравится вспоминать о прожженных дырах в овчине.

Он не переставал расхваливать замечательную коллекцию экзотических растений, которую видел в одном доме у Вашингтон-сквер. На мои односложные выражения вежливого интереса он ответил приглашением посетить этот дом и осмотреть коллекцию. Я уклонился, заявив, что ничего не понимаю в ботанических вопросах. Это не имеет никакого значения, сказал он. Он был уверен, что осмотр коллекции доставит мне удовольствие. Кроме того, у коллекционера была дочь. Я, конечно, захочу увидеть ее.

А потом, в течение целого часа, изможденный незнакомец шептал мне на ухо описание женщины, подобного какому, готов поклясться, никто никогда не слушал с момента сотворения мира. Страстно вдохновленный своей темой, он разжег мое воображение образом своей подруги, дочери ботанического маньяка.

Я вскочил на ноги.

— Отведите меня туда! — воскликнул я. — Я хочу посмотреть... на эти чудесные растения.

Мы направились прямо к дому, большому коричневому каменному зданию старомодного типа. Оранжерея находилась в задней части здания. У меня перехватило дыхание, когда я вошел в натопленную комнату. Орхидеи и ничего, кроме орхидей. Тысячи, десятки тысяч струящихся разноцветных цветов свисали со стен и потолка. Не увидев никого, кроме слуги у двери, мой похожий на труп спутник сказал мне, что коллекционер, несомненно, в данный момент слишком занят, чтобы выйти к нам; однако он заверил меня, что это было в порядке вещей и что я мог оставаться, сколько захочу. Потом он ушел.

Стоя там и оглядывая оранжерею, я ощущал, как чувства колышутся внутри меня в такт томному покачиванию цветов, простирившихся повсюду ряд за рядом. Что это были за чувства? Я посмотрел вниз, на свою вытянутую руку. Тверда, как камень. Но все внутри моей руки — нервы, ткани, кровь, мышцы — находилось в движении, в покачивающемся движении.

Не могу сказать, как долго я стоял зачарованный, восхитительно взволнованный внутренним движением, вызванным ритмичным шевелением цветов. Возможно, прошло пять, десять минут — а может, час или два, — пока я стоял замороженный, загнипнотизированный, неспособный ни к какому другому ощущению, кроме внутреннего движения. И затем...

На моих глазах ряды орхидей раздвинулись. Медленно, с изысканной грацией: это было похоже на то, как ветер раздвигает просеку на пшеничном поле. Но в оранжерее не было ни ветерка, ни малейшего дуновения. Проход в сомк-

нутых рядах цветов стал шире. Внезапно в конце его я увидел ее — дочь коллекционера.

Человек, который привез меня туда, солгал. Она была в миллион раз совершеннее, чем можно было представить по его рассказам. Она превосходила само понятие красоты. Высокая, черноволосая, стройная, с округлыми изгибами фигуры. В ту минуту я не разглядел черты ее лица; мне запомнились только глаза и губы. Я почувствовал любовь с первого взгляда — наконец-то вспыхнула моя великая страсть! — едва посмотрев на нее, эту богиню орхидей.

Медленно, с томной грацией покачивающихся цветов, она двинулась ко мне по дорожке, образованной разошедшимися в стороны, как по мановению ее царственной руки, орхидеями. Она протянула руку. Я взял ее в свои. Слова, которые я хотел произнести, чтобы объяснить свое присутствие в оранжерее, замерли у меня на губах. Какой прок от слов — между нами? Глаза в глаза, рука в руке, как будто нас давно представили друг другу и все слова в мире были уже произнесены.

Через некоторое время мы поговорили. О чем — не имеет значения. Несколько часов спустя я вышел из дома — один. На следующий день после полудня я вернулся. Следующий день застал меня там же. Дни складывались в недели, недели — в месяц. Мы были помолвлены. Я не признавался в своей любви. У меня не было в этом необходимости. Это было ясно без слов — как и ее чувства ко мне.

— Когда ты выйдешь за меня замуж, моя Богиня Орхидей? — прошептал я.

Сначала она колебалась. Она не могла оставить своего отца; он был очень стар; она была для него всем, и он был бы несчастлив без нее. Я заметил, что он вряд ли станет долго горевать, если она уедет со мной, поскольку он никогда не проявлял достаточного интереса к ее благополучию и даже не удосужился увидеться со мной с тех пор, как я впервые переступил порог его дома.

— Ты не понимаешь, — мягко сказала она мне. — Быть может, поступки моего отца странны, но он любит меня. Я занимаю лишь второе место в его сердце после цветов. Ес-

ли он потеряет меня, он будет страдать. Я не могу причинить ему боль. Есть только один способ...

Она остановилась.

— И в чем же заключается этот единственный способ? — спросил я.

— Существует орхидея, — ответила она, — за обладание которой он отдал бы свою жизнь, если бы мог. Она так редка, что ни один белый человек никогда ее не видел; только слухи о ней доходили от туземцев в районе, где она растет. Если бы мой отец получил экземпляр этого редкого вида *Cattleya Trixseptica* — то, как ты понимаешь, он был бы так счастлив и настолько поглощен обладанием им, что не испытал бы потрясения, отказавшись от меня, а если бы и пожалел позднее, мы во всяком случае успели бы пожениться.

— Я должен привезти ему эту орхидею, не так ли? — улыбнулся я.

— Ты любишь меня? — спросила она с тревогой.

Мы сидели на парапете бьющего в центре оранжереи фонтана. Я встал и взял ее за руки.

— Ты сама увидишь, — ответил я. — Скажи мне, где растет этот цветок. Я достану его. Пока я не докажу тебе свою любовь, я снова не посмотрю в твои глаза.

Мы расстались. В тот вечер я был на обеде, устроенном в честь одного знаменитого англичанина, профессионального охотника за орхидеями. На следующий день он уезжал в Южную Америку, в ту часть континента, где, как мне сказали, произрастал искомый цветок; и я решил, что было бы неплохо убедить этого опытного путешественника позволить мне сопровождать его в незнакомые для меня земли. Понятно, что после прибытия в Венесуэлу наши пути должны были разойтись: он охотился за другими орхидеями, и мы собирались двинуться вглубь страны разными маршрутами.

Он искренне обрадовался моему предложению присоединиться к нему. Я объяснил, что хочу отправиться на охоту за орхидеями просто ради приключений. На следующее ут-

ро мы вместе сели на пароход; через неделю добрались до Южной Америки, и тут — произошла странная вещь.

К англичанину явился какой-то индеец, рассказав о поле орхидей, лежащем за Ориноко. Это было то самое место, куда я направлялся. По рассказу туземца, путь туда был рискованным и крайне тяжелым и занимал по крайней мере месяц. Но орхидеи там были очень красивые и редкие. Если охотник-профессионал захочет предпринять такую попытку...

— Послушайте, — сказал он мне, — я собираюсь попробовать добыть некоторые из этих цветов.

Удача вторично улыбнулась мне. Поскольку речь шла о целом поле этих растений, я смог, наконец, сказать правду: именно за этими орхидеями я охотился. Больше не было никаких опасений, что англичанин станет разыскивать нужный мне цветок и, возможно, опередит меня в поисках. Очевидно, орхидей хватило бы на всех, а в компании опытного охотника я мог бы добраться до места с гораздо меньшими трудностями, чем в одиночку.

— Но я не возьму вас с собой, — продолжал англичанин. — Вы сами слышали слова его превосходительства — нашего туземного вождя. Путешествие очень опасное. Вы его не выдержите. Извините, старина, но вас нельзя впутывать в это дело.

— Мне все равно, — сказал я ему. — Я еду.

И я рассказал ему о поручении, по причине которого отправился в путь.

— Вот и все, я еду с вами, — добавил я.

— Нет, — отрезал он. — Я не возражаю против того, что вы собираетесь охотиться за этим видом орхидей. Не знаю, где вы слышали о нем и что натолкнуло вас на мысль найти его. Но вы должны отказаться от этого. Вы не знаете, что делаете. Для новичка такое путешествие — верная смерть!

— А для вас? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Не могу сказать. Хотя шансов добраться до места у меня больше, чем у вас. Я более или менее привычен к таким испытаниям. И все-таки, не скрою, я предпочел бы не отправ-

ляться в это путешествие. Судя по картам и сведениям о маршруте, это будет что-то вроде броски через Гадес.

— Тогда зачем вам это нужно? — не отставал я.

— В моем случае есть стимул. За мной стоит группа коллекционеров, их сундуки открыты, и они готовы выплатить приз за все, что я найду. Так что причины ясны. Но причин вашего упрямого и страстного желания отправиться со мной я не понимаю.

Наступила моя очередь пожать плечами.

— О, — сказал он, — так дело в девушке? Вас бросила какая-то женщина, не так ли, и вы решили подвергнуть себя опасности, чтобы забыть?

— Напротив, — и я улыбнулся. — Я делаю это, чтобы доставить удовольствие девушке, которую я завоевал.

— Боже милостивый! — воскликнул англичанин, вытаращив на меня глаза. — Боже милостивый, вы хотите сказать, что девушка, девушка, которой вы небезразличны, позволила вам приехать сюда, чтобы поохотиться за трофеем в этом опасном месте? Знает ли она что-нибудь о том, как добывают орхидеи? Ах, ее отец коллекционер? Значит, она знает.

Он продолжал пристально смотреть на меня.

— Послушайте, Лоринг, — внезапно сказал он. — Не возражаете, если я задам вам вопрос? Вас ведь представил изобранию тощий, как скелет, человек с желтой кожей и глубоко посаженными горящими глазами — этаким парень, вылезший из склепа?

— Да, — вскричал я, и мои глаза расширились.

— Я так и думал, — сказал он.

И через мгновение добавил:

— Все понятно. Все та же старая игра. Я знаю женщину, которая отправила вас сюда. Все, кто связан с коллекционированием орхидей, знают ее или слышали о ней. Она помещена на цветах. Это тот же вид мании, что нападает на людей при посредстве наркотиков, алкоголя и так далее. Вы видели ее собрание? Это лучшая коллекция в мире; в ней представлены почти все известные орхидеи. Рассказать вам, как она их раздобыла? Он наклонился ко мне. — С помощью

таких же дураков, как вы, Лоринг.

Я в ярости вскочил на ноги.

— Спокойнее! — воскликнул он. — Выслушайте меня. Я хочу оказать вам дружескую услугу, старина; клянусь душой, я так и сделаю. Слушайте. Говорю вам, эта женщина — исчадие ада. Мы все ее хорошо знаем. Думаю, мне известно, каким образом она обвела вас вокруг пальца. Она говорила вам, не так ли, что ее отец никогда не будет счастливым, если она выйдет замуж и уйдет от него; что только одно может отвлечь его от такой горестной потери — некая редкостная орхидея? Именно это она снова и снова твердила другим мужчинам. Все они тоже отправились в путь, чтобы привезти ей цветы. Некоторые успешно вернулись. А награда? Она смеется над ними, а потом говорит правду. Нет никакого любящего отца. Орхидеи нужны ей для коллекции. Все, что ее волнует, — это цветы. Мужчины для нее ничто. Орхидеи дорого обходятся этим мужчинам — и она хочет орхидей.

Такова судьба людей, которые добиваются успеха. А те, кто терпит неудачу? Лоринг, кости десятка или дюжины людей, пытавшихся выполнить ее миссии, лежат сейчас в болотах и джунглях по всему миру. Только один человек не смог привезти орхидею, за которой его послали, но до сих пор жив. Знаете, кто он такой? Это тот человек, который свел вас с королевой орхидей.

Вы помните его внешность. Она поставила на нем это клеймо три года назад. С тех пор он пытается завоевать ее единственным способом, который кажется ему возможным, — через ее страсть к цветам. Он разыскивает и приводит к ней таких мужчин, как вы, больших и сильных, чтобы она могла отправить их на охоту и пополнить свою коллекцию. Он надеется, что она выйдет за него замуж, когда в ее коллекции окажется по экземпляру всех известных орхидей. Такова истинная, отвратительная правда, старина, клянусь жизнью.

Поверьте мне, вы предназначены стать жертвой, как и все остальные. Я говорю вам правду и умоляю вас повернуть назад, пока еще не поздно. Вы можете поверить мне на сло-

во и вернуться домой?

— Нет, — взревел я. — Ты, лживый пес...

В ту минуту я хотел убить его собственными руками. Но внезапно разум пришел мне на помощь. Было очевидно, что неопытному белому человеку будет нелегко в одиночку добраться до места, где растут нужные мне орхидеи. Я поклялся невесте, что привезу их. С помощью англичанина мне будет легче это сделать. Да, он осмелился опорочить женщину, которая должна была стать моей женой. Я был готов на время закрыть глаза даже на это. Позже я кулаками заставлю его проглотить всю ложь, что он мне наговорил. Видимо, ложь эта основывалась на каких-то дошедших до него слухах о дочери коллекционера, и он пересказал их мне, чтобы вынудить меня уехать и уступить ему славу первооткрывателя растения. Что ж, посмотрим!

— Прошу прощения, — сказал я, приняв по возможности спокойный вид. — Не обращайтесь внимания на то, что я только что сказал. Я очень расстроен тем, что вы рассказали мне. Я... я не сомневаюсь, что вы хотели быть со мной откровенным.

— И вы откажетесь от планов охотиться за орхидеей? — нетерпеливо спросил он.

— Нет, — ответил я и окинул его неприкрыто насмешливым взглядом. — Я еду с вами.

Его лицо покраснело.

— Как вам будет угодно, — коротко ответил он.

Последовала неделя самой напряженной деятельности. Мы закупили снаряжение, наняли носильщиков и проводников. Наша небольшая армия располагала достаточным количеством припасов. Наконец, когда все было готово, мы выступили в поход в неведомое.

Нам потребовался месяц, чтобы достичь устья Ориноко. Затем начались настоящие трудности: маршрут путешествия пролегал через непроходимые джунгли.

Не могу передать напряжение следующих двух недель. Голая хроника испытаний, выпавших на нашу долю, не отразила бы и десятой доли того, что нам довелось пережить. Нам досаждали рептилии и всевозможные отвратительные

насекомые; нас атаковали лесные дикари, вооруженные смертоносными духовыми трубками; нас мучила болотная лихорадка, но мы все шли вперед — в неизвестность — в тишине, которая с каждым днем становилась все более гнетущей. Воспоминание об этом путешествии навсегда останется со мной во всех его ужасных подробностях.

Затем умер наш главный проводник. Еще до его гибели исходное число наших туземных носильщиков и охотников уменьшилось на треть. Без проводника, имевшего общее представление о месте, где росли орхидеи, мы оказались беспомощны. Три дня спустя мы встретили группу индейцев, и в ответ на наши вопросы они замахали руками в сторону солнца, указывая направление к «ядовитым цветам». Мы двинулись дальше.

А еще через неделю в воздухе явственно почувствовался запах, который, по словам англичанина, означал, что мы приближаемся к орхидеям. С каждым днем, пока мы продвигались вперед, этот запах становился все более отчетливым. Наконец, он стал определенно неприятным, затем тревожащим и, наконец, угрожающим. Каждый вдох, который мы втягивали в легкие, казался наполненным парами ядовитого, тошнотворно-сладкого наркотика. Пятеро носильщиков упали без чувств на пятый день, когда мы приблизились к источнику ядовитого запаха.

И все же орхидей еще не было видно; казалось, они были не ближе, чем в день начала экспедиции. Прошел еще один день, и зловоние стало невыносимым. Туземцы отказались идти дальше. Мой белый спутник, профессиональный охотник, лежал без чувств. Я сам был близок к обмороку. Когда ветер нес нам в лицо этот яд с поля орхидей где-то впереди, было бесполезно думать о том, чтобы идти дальше.

Тогда, и только тогда, я поверил в истинность того, что слышал о женщине, отправившей меня в эту авантюрную погоню за орхидеями. В самом деле, она должна была что-то знать об опасностях, которым подвергало меня ее поручение. И она позволила мне уехать. Я должен был стать еще одной жертвой.

Я проклял ее до небес, там, посреди этого черного, безмолвного леса, где в воздухе витали спирали незримого ядовитого запаха. И я поклялся, что отомщу — отомщу тем, что принесу ей цветок, ради которого она отправила меня навстречу опасности.

Оставшись один, я предпринял последний рывок вперед в попытке раздобыть цветы. Они казались такими близкими, но в то же время были бесконечно далеки от меня. Мы находились, конечно, где-то поблизости от поля орхидей. Возможно, бегом, пригибаясь к земле... Но все было тщетно. Ветер окатывал мое лицо смертоносными парами, заталкивая их в горло и ноздри. Пошатываясь, полумертвый, я вернулся к остальным.

Мы сразу же двинулись в обратный путь. Мы потеряли более половины нашего отряда, не успев проделать и четверти пути назад. На полпути к побережью от первоначального отряда осталась лишь жалкая горстка. Как выжившие сумели все это пережить, остается загадкой. И, наконец, четыре изможденных человеческих призрака — двое носильщиков-индейцев, англичанин и я — вернулись к цивилизации Венесуэлы.

Но я не сдавался. После месячного отдыха я попытался организовать еще одну экспедицию. Я предполагал двинуться к цели другим путем. У меня был разработан план. Если подойти к этому невидимому полю орхидей с противоположной, подветренной стороны, можно будет добраться до цветов, не подвергаясь воздействию ядовитого запаха.

Никто не решился отправиться в путешествие со мной. Англичанин навсегда — по его словам — покончил с охотой за орхидеями. «Его мотивы теперь не так сильны, как мои», — подумал я с улыбкой. Никакие деньги не могли соблазнить его продолжать поиски *Cattleya Trixemptia*. Во мне же энтузиазм только разгорался при мысли о мести; это было все, о чем я мог думать, бодрствуя или засыпая.

Убедившись, что меня никто не будет сопровождать, я отправился к истокам Ориноко в одиночестве. На этот раз я двигался быстрее, так как не был обременен большим грузом и не должен был дожидаться отстающих. До края джунг-

лей я добрался за две с небольшим недели. Однако путешествие по лесу в одиночку заняло больше времени, чем я предполагал: раньше передо мной шли опытные спутники, расчищавшие мачете тропу. Но каким-то образом я все же продвигался к цели.

Часто, пробираясь сквозь густой, почти непроходимый подлесок высотой по пояс, я бормотал вслух: «Значит, тебя выбрали как сильного мужчину, да? Сильный, крепкий мужчина? Хороший кандидат для выполнения трудной миссии, о да... Я ей еще покажу — я привезу этот цветок!»

И наконец, сам не знаю как, я добрался до поля орхидей! Два дня в воздухе витал тот же знакомый ядовитый запах, но уже не такой ощутимый, как прежде, так как я хорошо научился подставлять ветру спину. В течение последнего часа все отравленные ароматы, заставившие нашу партию повернуть назад во время первой попытки, словно слились воедино; ошеломленный, одурманенный наркотическими испарениями почти до бессознательного состояния, я раздвинул листья впереди — и увидел конечный пункт своего путешествия!

Там были цветы — синие, голубые орхидеи! Впервые на них смотрели глаза белого человека. Трепет пробежал по мне; я чувствовал себя в тот миг коллекционером, ученым на нехоженных полях, первооткрывателем чудесного.

А потом на смену мимолетному чувству восторга пришли головокружение, вялая тяжесть и непреодолимое желание опуститься на землю и заснуть. Я должен был сорвать свой цветок, и побыстрее. Аромат этих ультрамариновых цветов, колышущихся перед моими глазами, окутывал меня с головы до ног. Быстрее! Я должен действовать быстро!

Я двинулся вперед. Шаг за шагом я приближался к самому большому скоплению кивающих, покачивающихся отравленных чашечек голубого, темно-синего и синего с голубым оттенков. Еще десяток шагов вперед. Я чувствовал себя, как курильщик опиума, который постепенно поддается влиянию наркотика и старается удержаться от полной капитуляции, чтобы продлить восхитительную агонию. Дотянуться до орхидеи, сорвать ее и уйти, пока... пока не стало

слишком... поздно...

— Боже мой, я, кажется, лечу!

Я не мог устоять перед этим всепоглощающим запахом. Я пьяно повернулся, вслепую рванулся вперед. Что-то коснулось моей щеки. Мои веки распахнулись — это была гроздь орхидей, росшая позади. С криком испуга я метнулся вбок, споткнулся о лиану и упал...

Больше я ничего не помню.

Проснувшись, я обнаружил, что ветерок, который дул над крошечной поляной с ядовитыми растениями, изменил направление. Их аромат больше не ощущался в воздухе. Я поднялся, пошатываясь. У меня болела голова, глаза горели. Как я оказался на земле?

Вспомнил! Аромат цветов одурманил меня. Я спал наркотическим сном, но перемена в направлении ветра предотвратила попадание большего количества паров в мои легкие и помогла мне прийти в себя. Теперь у меня появился шанс бежать.

Ни за что на свете я не согласился бы снова попытаться сорвать один из этих цветков, росших так близко. План местной женщине, отправившей меня в этот ад, полностью вылетел у меня из головы. Я должен был бежать, пока еще мог. Оглядевшись по сторонам, я бросился прочь.

Я мчался все дальше и дальше. Постепенно, однако, скорость моего бега уменьшалась. Не от усталости, не от изнеможения. Дело было в чем-то другом. Я перешел на шаг и наконец остановился. Обернулся. Понюхал воздух. Никаких признаков запаха... никаких следов...

В отчаянии я кинулся обратно к поляне орхидей. *Я должен был снова ощутить этот запах!* Я должен был вновь заснуть под его заклятием. Я не мог сопротивляться импульсу, вернувшему меня к ядовитым цветам, как не смог бы добровольно перестать дышать. Я ворвался на поляну. Встав на цыпочки, я дотянулся до ближайшей грозди голубых бутончиков, глубоко вдохнул ужасный, тошнотворный запах — раз... другой...

Я упал как подкошенный, побежденный, с улыбкой на губах.

Знаю, мне не суждено было вновь встать на ноги. И все же это случилось. Сколько времени прошло, я не могу сказать. Все еще было светло — или это был другой день? Я был тяжелым, вялым, глубоко подавленным. Внезапно мне стало так страшно одному на этой поляне, среди этих отвратительных, насмешливых растений, раскачивающихся вокруг меня, что я бросился на землю, крича, колотя по мху руками и ногами, обезумев от ужаса своего одиночества, своего жуткого положения.

Потом это чувство прошло. Я решился бежать оттуда — сорваться с места и бежать, не останавливаясь, пока между мной и этими кошмарными растениями не встанет во всю длину и ширь стена джунглей. Я вскочил. С диким воплем — своего рода прощанием с этим страшным местом — я ринулся в соседний лес.

На сей раз я действительно бежал до тех пор, пока физически не выбился из сил. Я опустился на поваленное, поросшее мхом бревно, пытаясь отдышаться. Я просидел там час или больше. И когда я встал... я снова заковылял в сторону *Cattleya Trixseptica*. В моих глазах горел похотливый огонек опиумного наркомана, возвращающегося в курильню, пьеницы, бредущего в свою забегаловку!

Я был пойман. Бесплезно было даже пытаться освободиться от чар. Ядовитый аромат голубых орхидей навсегда приковал меня к этому месту. Следующий промежуток времени — три дня, насколько я мог судить, — я провел в центре поляны, одурманивая себя ароматом цветов, просыпаясь и снова одурманивая себя.

Почему я не умер? Я молился о смерти, об избавлении от мучительной агонии. Я был слаб, находился на грани протрации, но все же продолжал жить. Я знал, что исхудал, превратившись в скелет из кожи и костей — я никак не мог сомкнуть губы над зубами — что был истощен от недостатка пищи, а также вредного воздействия яда, который я вдыхал, почти заменив им кровь в моих венах — и все-таки я продолжал жить.

Каким будет конец? Я испытывал лишь легкое любопытство по этому поводу и мечтал, чтобы это произошло поско-

рее. Прошел еще один день. Я совсем ослабел. Шестнадцать часов из двадцати четырех, по моим подсчетам, я провёл в наркотическом сне, лежа на спине посреди поляны.

Остекленевшими глазами я огляделся вокруг. Бросил еще один взгляд.

Неужели я наконец сошел с ума?

Передо мной стояла моя Богиня Орхидей — та, которая послала меня в этот ад!

Она медленно приближалась, бесшумно ступая по мху. Она протянула руку. Я с трудом поднялся на ноги. Похожие на когти пальцы на конце моей иссохшей руки распрямились и притронулись к ее руке — *настоящей руке из плоти и крови!*

— Выпей это, — прошептала она мне на ухо.

К моим стучащим зубам поднесли фляжку. Что-то обжигающе горячее потекло по моему пересохшему горлу.

— А теперь... обопрись на меня, — снова ее голос, удивительно мягкий.

И медленно, осторожно она начала уводить меня с поляны через джунгли. Пройдя немного, мы встретили носильщиков и проводников ее кортежа. Пока для меня мастерили грубые носилки, она стояла, а я сидел на земле, прислонившись к ее коленям. Как ни странно, теперь, оказавшись среди людей, я не испытывал тяги к дурманящему дыханию голубой орхидеи, чьим рабом я стал.

Обратного пути к побережью я не помню. Но помню, как приходил в себя в Венесуэле. Именно там женщина, спасшая мне жизнь, поведала мне о том, как искала меня.

Она действительно испытывала колоссальную страсть к орхидеям и много лет обходилась с мужчинами примерно так, как рассказывал мне англичанин. Со мной она собиралась поступить не лучше и не хуже, чем с остальными. Но случилось так, что только меня, одного из всех, она по-настоящему полюбила. Послав меня за орхидеей, она вспомнила судьбу своих многочисленных поклонников, отправлявшихся раньше в дикие места, и поняла, что не может позволить мне умереть или страдать.

Во всем этом есть одна странность. Понимаешь, она зна-

ла об опасностях, грозящих любому, кто отправился бы в джунгли за голубой орхидеей. И, зная о них, она решила спасти меня, если сможет. При всей ее любви к орхидеям, она ни разу не осмеливалась сама заняться поисками редких растений. Со мной, однако, было иначе — похоже, она сочла, что я достоин опасного путешествия.

— Итак, я полагаю, — заметил я, — что ты женился на ней и живешь с тех пор счастливо?

Он посмотрел на меня безумными глазами.

— *Женился* на ней?

И он вздрогнул.

Михаил Ордынцев-Нострицкий

Цветок раффлезии



I

Если бы хоть один случайный прохожий оказался в это утро на дороге в Арекипу, то он, несомненно, услышал бы отчетливый и резкий стук подкованных копыт по каменистой почве. Это дало бы ему возможность заключить, что в город едет не простой пастух-вакери, как можно было бы подумать по доносившемуся из-за поворота пению, а настоящий кавальери на лошади, привыкшей к мощным улицам города.

Но прохожего не оказалось, и только темно-зеленый кактус мог наблюдать за одиноким путешественником, появившимся из-за скалистого выступа и видимым теперь с ног до головы. Прохожий, которого, как я уже сказал, нигде поблизости не оказалось, наверное решил бы, что это иностранец, так как его высокую и стройную фигуру облакал безукоризненно точный во всех подробностях костюм местного асиендадо, т. е. такой костюм, которого бы не надел ни один

человек, сознающий, что никто не ошибется в определении его национальности и общественного положения...

Но эта гипотеза неминуемо перешла бы в самую положительную уверенность, если бы отсутствующий прохожий услышал песню, которую довольно сносным тенором выводил наш незнакомец:

Amice! allegre magnanimo e bevimmo,
Nfin che n'ce stace noglio a lucerna:
Chi sa s'a l'autro munno n'ce vedimmo?
Chi sa s'a l'autro munno n'ce taverna?..*

— Italiano! — решил бы наблюдатель, и проезжий утратил бы для него всякий интерес.

Быть может, темно-зеленый кактус был об этом и другого мнения, но если так, то он жестоко ошибался, потому что в это светлое утро по дороге в Арекипу ехал не кто иной, как сам синьор Паоло Паталоцци, недавно поселившийся за городом в своей асиенде, которую он купил у Косме Эредиа, как купил, правда — сильно запущенные, но все же селитряные копи у старого Бартоломео Велакеса и залежи гуано у одной английской компании.

Едва ли это понравится синьору Паталоцци, но мы прекрасно знаем и причину, принудившую его сегодня встать раньше обыкновения и предпринять такую отдаленную прогулку... Еще вчера вечером его домоправительница, донна Роза, ворчала целый час и никак не могла понять, зачем такому молодому, но основательному кавальеро жениться вообще, и делать предложение дочери Косме Эредиа — в частности... Вежливое замечание ее хозяина, желавшего осведомиться, «замолчит ли когда-нибудь эта старая чертовка», ничего не раз решило в сомнениях почтенной дамы, и вопрос оставался по-прежнему открытым...

* Дружище! пить будем мы весело оба, / Пока наша лампа горит кое-как: / Кто знает, что ждет нас за крышкою гроба? / Кто знает, найдем ли там этот кабак?..

Весьма возможно, что это приятное воспоминание и вызвало теперь улыбку на лице синьора Паталоцци, но в это время его конь споткнулся, — и всадник поневоле должен был покинуть мир мечтаний. А когда он, энергично выругавшись, опять поднял голову, то перед его глазами уже раскинулась показавшаяся из-за поворота Арекипа.

Нимало, по-видимому, не оскорбившийся мустанг почувствовал на своих боках уколы шпор, произведшие на него гораздо большее впечатление, чем нравственные сентенции его хозяина; и благодаря этому, мгновенно перейдя в галоп, он окружил себя молочным облаком известковой пыли и вместе с ним понесся по узким улицам городка...

II

Несмотря на быстроту аллюра, синьору Паталоцци беспокоиться не приходилось, — солнце уже поднялось высоко, и потому нигде не было видно ни одной живой души. Быть может, вы, читатель, и не торопили бы так своего коня, но нашему приятелю слишком хорошо были знакомы эти прямые улицы с домами однообразной архитектуры, построенными из каменных массивных кубиков. Все стены здесь сложены из вулканического туфа, беловатого и рыхлого, который уже столько веков добывается в огромных каменоломнях, расположенных неподалеку от города, у самого подножья Мисти. Он постепенно отвердевает на воздухе и приобретает от старости тот желтовато-золотистый цвет, которым так ласкают непривычный взгляд все уголки приветливого городка.

Однако же, массивные, в один этаж, дома совсем не кажутся однообразными, так как все стены их, колонны, арки сплошь покрыты бесчисленными барельефами: повсюду вьются змеи по неуклюжим каменным стволам; стоят на задних лапах тигры, ягуары, и все окружено гирляндами массивных виноградных лоз или же линиями арабесок и сталактитов, которым могла бы позавидовать Альгамбра.

По большей части все арекипские дома — квадраты, но только трехсторонние; четвертой стороной является такая же массивная стена забора, с монументальными воротами, которые до самого заката солнца раскрыты настежь, и с улиц видны **patio**, наполненные зеленью и самыми роскошными цветами, среди которых иногда звучит прозрачная струя фонтана и точно алмазы сыплет на благоухающие чашечки и лепестки.

Мелькнет там вдруг грациозная фигурка; прозвонит аккорд гитары, серебристый смех внезапно оживит всю фееричную картину и перенесет вас в глубь неведомых веков, — так это все волшебно, так непохоже на остальное существующее хотя бы и в той же Америке, строго говоря, только немного изменившей вкусы и привычки переселившихся сюда или бежавших европейцев.

Все здесь с какой-то томной грустью напоминает вам о том, что уже было и что не придет назад... Точно душа великой империи инков витает над этим изолированным кордильерским уголком и властно поработает нашу юную бесильную культуру...

Роскошные букеты деревьев и кустов, усыпанные шелковистыми цветами трепещущих мимоз, склоняются над голубым гелиотропом, над стройными кустарниками роз, над клумбами гардений, благоухающих так, что этим ароматом буквально насыщен весь дрожащий и прозрачный воздух Арекипы. Везде журчит вода оросительных канальчиков, бегущих вдоль всех улиц и посреди их или же у тех же старых золотисто-желтых стен...

III

Еще поворот — и синьор Паталоцци на всем скаку осаживает своего коня перед верандой одного из домов на главной улице «Мерседес», пересекающейся неизбежной четырехугольной площадью с собором, который гордо воз-

вышаается над величественной папертью, спускающейся к площади рядом широких ступеней.

На веранде, у боковой ее колонны, он мельком замечает обнявшуюся парочку, вероятно, влюбленных слуг, которые, ни разу не обернувшись к улице, медленно сходят вниз и исчезают в глуби разросшихся кустов и невысоких пальм... Но его теперь занимает совсем другое, — бесшумно, точно тень, выходит из *patio* пеон, принимает из рук прибывшего усталую и разгоряченную лошадь и молча же, одним только жестом руки, приглашает ее хозяина войти.

Синьору Паоло совсем не нравилась такая странная манера приглашение, повторяющаяся неизбежно всякий раз, когда он приезжал с визитом к дону Эредиа, — но изменить ее он не имел никакой возможности, — слишком уж не гармонировала темнота его происхождения со въевшейся в плоть и кровь этих слуг идеей «голубой крови»... Он мог бы, разумеется, обратиться к поддержке их хозяина, — но этот способ даже и его покладистому самолюбию казался слишком унижительным, хотя он прекрасно понимал, что дон Косме без возражений исполнил бы его желание, так как дела у старика были совсем запутаны, а все наиболее крупные векселя лежали в письменном столе того же синьора Паталоцци.

Достойный капиталист вообще не любил заниматься самообманом, свойственным натурам нерешительным, а потому нимало не сомневался и в действительных чувствах своей невесты, хорошенькой Розиты, вышедшей за него замуж, чтобы спасти остатки состояния и чести фамилии Эредиа. Трудно, конечно, допустить такое суровое сознание своих обязанностей у молоденькой девушки, почти ребенка, но если упомянуть о железной воле и непреклонности ее отца, то тогда все станет ясным и не требующим объяснений...

Должно быть, если и не такие точно, то — во всяком случае — весьма похожие мысли занимали в это время и самого синьора Паталоцци, так как по его лицу сперва пробежала тень внезапно возникнувшего подозрения, но вслед за тем сменилась самой обворожительной улыбкой, после

чего оно не замедлило принять вид самодовольного благоволения, которое, обыкновенно, на нем и удерживалось все время, пока его обладатель оставался в доме дона Косме.

— Ав... — начал было синьор Паталоцци и оборвал свое приветствие на полуслове.

И было от чего: он стоял перед небольшой цветочной клумбой, посреди которой подымалось несколько высоких розовых кустов, совершенно закрывающих скамью из тесаного камня, стоящую позади них. В существовании скамьи он твердо был уверен; настолько же твердо, как и в том, что голоса, слышанные им теперь, принадлежали: один — его невесте, а другой... Вот этот-то другой, незнакомый ему голос и был причиной того, что синьор Паталоцци неподвижно остановился на усыпанной мелким песком дорожке и напряженно стал прислушиваться.

— Нет, это слишком страшно, мой дорогой Энрико! — голос Розиты...

— Чего же ты боишься?.. Что тебя пугает?.. — мужской и даже как будто бы знакомый голос...

— Как что? Отец мне этого никогда не простит... Ты думаешь, я не боролась? О, Madre de Dios! Сколько я умоляла! сколько плакала!.. И все напрасно!

— Ну что ж, — тогда... у нас иного выхода не может быть.

— Но как отец?.. Он так надеялся...

— Да неужели же он думает, что эта итальянская собака и в самом деле пощадит его? Наивность, жалкая наивность!.. Согласись, Розита! Умоляю тебя — согласись!.. А там, с помощью Пресвятой Девы Марии, и твой отец, наконец, поймет свою ошибку.

Но дон Паоло уж не слушал, — с него было вполне достаточно; крадучись, он сделал несколько шагов и, как только убедился, что его уж не услышат, бросился по направлению к дому со всей скоростью, на какую только были способны его ноги. Не уменьшая аллюра, промчался он мимо пораженных слуг и прямо ворвался в кабинет хозяина.



IV

— Эй, дон Косме! Кто у вас в саду, а раньше — на веранде?.. — закричал он запыхавшимся голосом, не обращая внимания на изумление старика, поднявшегося навстречу гостю.

— Розита... Но что с вами, дон Паоло?.. На вас лица нет...

— А с ней? — лаконически прервал его синьор Паталоцци, не отвечая на вопрос.

— Дон Энрико, мой бывший управляющий на той самой асиенде, которую вы...

— Которая теперь стала моей... Знаю!.. Берегитесь, дон Косме, — я этого вам не прощу!..

— Но, ради Бога, что случилось?

— Что случилось... А то, что ваша дочурка влюблена в этого бродягу. Но это пустяки, — мне дела нет до ее сердечных тайн. Я их напомню ей потом, а пока... поспешите, дон Косме! Поспешите, — они там что-то затевают, чтобы расстроить нашу свадьбу... Да поспешите же, черт возьми!..

Должно быть, голос говорившего был достаточно убедителен, потому что дон Косме, ничего больше не спрашивая, оттолкнул итальянца в сторону и бросился к дверям.

— *Caramba!* — воскликнул он на бегу и скрылся.

Дон Паоло вздохнул поглубже и тоже вылетел из комнаты.

В течение минуты на обширном *patio* слышно было только тяжелое сопение и дружный топот четырех ног. Но вот все стихло, и оба кавальеро, запыхавшись, остановились перед злополучной скамейкой...

Однако, на ней не оказалось никого, и только кружевной веер, небрежно брошенный среди цветов, служил наглядным доказательством того, что его обладательница еще недавно была здесь. По-видимому, судьба на этот день самым недвусмысленным образом повернулась спиной к своему любимцу, синьору Паталоцци.

Оба преследователя стояли теперь молча друг против друга и тяжело дышали. В это же мгновение со стороны ули-

цы слышался быстро удаляющейся лошадиный топот.

— Матерь Божия! Какой же я болван! — воскликнул сеньор Паоло.

Дон Косме бросил на него неопределенный взгляд, отнюдь не отрицающий правильности последнего суждения.

— И как я только сразу не догадался, когда этот проклятый конюх, точно из-под земли, вырос передо мной... Обыкновенно ваши слуги не отличаются таким усердием... Эх, ворона вы старая!..

— Сеньор!..

— Да что сеньор! — досадливо махнул рукой Паталоцци и с внезапно вспыхнувшей яростью закричал: — Чего же вы стоите, как мексиканский истукан? Ведь они только что ускакали... Лошадей! Скорее лошадей!..

Но тут уж, наконец, дон Косме пришел в себя и со всех ног бросился к конюшням.

Прошло, однако, немало времени, пока им удалось начать свою погоню: уздечки оказывались исчезнувшими неизвестно куда; седельные подпруги зачем-то были отстегнуты от седел, а лошади, точно с намереньем, пугливо косились на пеонов и — то и дело — старались вырваться у них из рук. После получаса бесцельных криков и энергичной ругани кое-как преодолели все препятствия, — и маленькая кавалькада вихрем вылетела из ворот... Совершенно ясные следы красноречиво указывали направление, которого надобно было держаться, и потому никаких сомнений возникнуть не могло...

V.

С головокружительной быстротой мчались лошади, давно уже оставив позади себя последние дома окраин, и с каждым шагом все дальше углублялись в роскошную долину Арекипы... У асиенды Паталоцци, где к ним присоединились еще несколько слуг покинутого жениха, ненадолго остановились, после чего погоня возобновилась с уд-

военной энергией... Еще два-три часа такой же адской скачки, — и, наконец, преследователи заметили далеко впереди себя две темных точки, быстро подвигавшихся по направлению к лесу, который пушистой бахромой чернел на самом горизонте. Было очевидно, что от погони им не уйти, но покамест их отделяло от нее такое расстояние, что самый чуткий слух не мог бы разобрать немногих слов, которыми обменивались преследуемые.



— Боже мой!.. Энрико, они уж близко, — мы погибли!..
— Еще несколько минут... Скорей, скорей!..
— Но я не могу... «Кэридо» захромал и не добежит до леса...
— Пять-шесть минут выдержит...
— Быть может... Я падаю, Энрико!.. — Я па... — и шум тяжелого падения заглушил последние слова. Благородное животное, со сломанной ногой, лежало неподвижно на зем-

ле, а подле него стояла девушка, поднявшаяся на ноги в одно мгновение с тем, как ее спутник соскочил с седла.

— Да, сломана, — пробормотал молодой человек после беглого осмотра ноги упавшего коня. — Но ничего, — мой выдержит обоих...

Он сделал быстрое движение к своей лошади, но тотчас же остановился... Три или четыре всадника, опередив остальных, воспользовались задержкой беглецов и теперь уже были шагах в двухстах от них... В такие мгновения мысль работает с горячей быстротой и, повинуясь голосу инстинкта, Энрико мгновенно сорвал с седла винтовку и опустился на одно колено.

Два сухих, коротких выстрела точно слились друг с другом...

— Скорей, Розита! — воскликнул он. — Садись за мной. Держись крепче, — и, пока всадники, остановив своих лошадей на всем скаку, подымали раненого товарища и высвобождали из-под убитого коня другого, — беглецы опять помчались...

Но вот и лес... Со всех сторон сплошной стеной поднялись густые папоротники и бромелии, а стук копыт совсем был заглушен ковром густой травы. Прохладный и сухой воздух приятно освежал разгоряченное лицо, но, несмотря на эту сухость, то и дело приходилось переезжать через ручьи, или журчащие по отшлифованным камням, или разлившиеся в маленькие болотца, сплошь заросшие цветами: пестрой листвою калеоса и массой великолепных групп антурий. Подчас два-три таких ручья сольются вместе и образуют лесное озеро с бордюром светло-зеленых камышей, среди которых подымаются темнеющие рожи пышных и густых бамбуков, перерастающих деревья леса и рисующих на чистом небе дрожащие узоры своих ажурных листьев.

Вода этих озер, ярко горячая на солнце, когда оно прорвется сквозь купол окружающих деревьев, у берегов всегда покрыта густо сплетенной листвою разноцветных водорослей, по которым мелькают белые цветы огромных неньюфар и морских лилий. А неподалеку от берегов кое-где



рассыпаны бутоны еще не распустившихся раффлезий, похожие на кочни невероятной величины капусты, а иногда, как колоссальный снежный ком, на яркой зелени белеет и сам этот царственный цветок, самый большой в мире, не знающий соперников нигде.

Пять колоссальных мясистых лепестков, немного загнутых наружу, ложатся прямо на роскошную траву и, благодаря контрасту, кажутся совсем белыми, имея, на самом деле, такой же цвет, как кожа человека, а вогнутая середина и выпуклое кольцо, окаймляющее дно цветка, точно сочатся свежей кровью...

Перед одним из этих цветков, уже готовым распуститься, но с еще неопустившимися лепестками, остановилась теперь измученная лошадь... Сначала благородное животное, казалось, и не почувствовало двойной тяжести на своем хребте и с прежней скоростью продолжало мчаться все дальше и дальше от того места, где погиб его товарищ; но гладкая равнина скоро кончилась, а почва все гуще покрывалась древесными корнями, невидными в траве, — и быстрый бег замедлился.

Еще два-три перепрыгнутых ручья, — и после них покрытый пеной конь стал вздрагивать всем мускулистым телом... Продолжать скачку было невозможно, — в этом не сомневались оба беглеца. Они остановились...

VI.

Девушка молчала, подавленная сознанием безвыходности положения, а ее спутник, бормоча проклятия, как затравленный шакал, дико осматривался по сторонам. Быть может, это был слуховой обман, но им казалось, что издали уж доносился шум приближавшейся погони. Молодой человек побледнел, но мгновенно успокоился и, вынув из кобур оба револьвера, подошел к Розите и остановился рядом с ней... Но в эту минуту его взгляд опять упал на яйцевидную, полураспустившуюся раффлезию.

В черных глазах Энрико вспыхнул огонь вдруг пробудившейся надежды...

— Скорей, Розита! Скорей! — воскликнул он, бросаясь к этому цветку и отодвигая в сторону один из лепестков.

Объяснений не нужно было. Девушка быстро подошла к цветку и, мужественно преодолевая отвращение к тяжелому запаху, который он издавал, опустилась на колени и скрылась за оболочкой лепестков. Через секунду последний из них присоединился к четырем другим.

Энрико опять вскочил на лошадь и со всей скоростью, на какую она теперь была способна, помчался дальше, к асиенде своего друга, Хосе Чараля, где он мог найти десять-двенадцать человек и с ними снова возвратиться, не опасаясь больше ни синьора Паталоцци, ни его людей...

Лес точно поглотил его, и постепенно исчезли последние следы тревоги, произведенной в этой глуши появлением неожиданных гостей. Обратно прилетел целый табун белых цапель, выстроился в ряд и стал на опушке тростников, не шевеля ни одним членом и глубокомысленно глядя в воду. Появились и зашныряли между водорослями юркие нырки, большие и маленькие, черные, коричневые и красноватые. В траве засуетились стада куропаток и диких курочек, а наверху, в густой листве, своими резкими, как будто сердящимися голосами опять начали трещать вернувшиеся зеленые попугаи.

Но вдруг все голоса мгновенно стихли, и на несколько секунд воцарилась глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Где-то далеко в глубине леса послышались опять мало-знакомые, необыкновенные здесь звуки... Как по команде, подняли цапли головы, ступили два шага и, точно рядом белых флагов, взмахнув своими крыльями, поднялись и бесконечной вереницей потянули над вершинами деревьев.

— Ш-ш-ж-ж... — раздалось в густой листве.

Ярко-зеленое облачко стрелой пронеслось над озером и скрылось, а вслед за тем послышался резкий треск сухих ломающихся веток, тяжелый топот, — и через прогалину помчался небольшой отряд...

— Проклятая капуста! — выругался скакавший впереди всех синьор Паталоцци, когда его конь одним прыжком пронесся над нашим полураспустившимся цветком с довольно необычным содержимым.



«Эпико нашетъ се лежащей въ глубокомъ обморокѣ»...

Минута достаточно комичная, но бедная Розита едва ли была в силах отдать ей должное, — тяжелый запах странного цветка кружил ей голову и заставлял кровь с силой стучать в виски. Все члены ныли и болели от непривычной и неудобной позы; стоя на коленях, с согнутой спиной, чтоб занимать возможно меньше места, она довольно долго пробыла в своем необычайном заключении...

Вернувшийся Энрико нашел ее лежащей в глубоком обмороке на инстинктивно разломанном ею цветке раффлезии и, еще не пришедшую в сознание, посадил перед собой на коня.

VII.

А дальше?... Дальше вот что: бродя без цели в прекрасный летний день вдоль тихих улиц Арекипы, я зашел попросить стакан воды в один из *patio*, куда меня привлек веселый смех двух ребятишек, игравших в прятки между роскошными кустами цветущих роз. При виде незнакомого лица мальчик мгновенно скрылся, а девочка довольно мужественно выслушала мою просьбу и уже готова была ее удовлетворить, но тут моя спина подверглась энергичной атаке со стороны ее братишки. Затеялась возня, и шум ее привлек внимание матери детей, так что поневоле пришлось мне познакомиться с сеньорой Розитой Дородано и ее мужем, доном Энрико.

Появился на сцену и стакан воды, но за ним последовала «*una copita del vino tinto*»*, за ней другая, третья — и кончилось все это тем, что я до самого заката солнца пробыл в этой веселой и жизнерадостной семье... Осматривал старинный прохладный дом, пристройки, где помещались слуги, и на редкость хорошо содержимый *patio*, где глаз не знал, на что смотреть, буквально ослепленный роскошным сочетанием всех существующих оттенков и цветов... И вот,

* Стаканчик красного вина.

когда все было осмотрено, донна Розита провела меня в глубь *patio*, где на отдельной клумбе, окруженной баснословным количеством благоухающих гардений, я увидел роскошный экземпляр раффлезии.

Невероятно большой цветок вносил столь резкий диссонанс в царившую вокруг него гармонию, что я невольно поразился, и тогда хозяйка, улыбаясь, передала мне правдивую историю, которую теперь я повторил...



КОММЕНТАРИИ

Настоящая антология представляет собой второй том издания, посвященного теме растений в фантастической, научно-фантастической и приключенческой литературе.

Включенные в антологию произведения, за немногими исключениями, расположены в хронологическом порядке. Для книги не отбирались произведения, посвященные грибам. Биографические сведения ограничены сравнительно малоизвестными авторами.

А. Ш.

Р. де Гурмон. Магнолия

Рассказ вошел в авторский сб. *Histoires magiques* (1894) под загл. *Le magnolia*. Пер. С. Шаргородского.

Р. де Гурмон (1858-1915) — французский поэт, писатель, драматург, эссеист. Потомок старинного аристократического рода. Один из основателей литературного журнала и издательства *Mercur de France*, виднейший деятель символистского движения и выдающийся критик «прекрасной эпохи».

Г. Майринк. Растения доктора Синдереллы

Впервые: *Simplicissimus*. 1905. № 43. Пер. В. Крюкова*.

Г. Гарис. Растение-людоед профессора Джонкина

Впервые: *The Argosy*. 1905, август. Сокращенный пер. К. Булычева (И. Можейко) впервые: *Искатель*. 1967. № 1. Илл. Г. Кованова.

Говард Роджер Гарис (1873-1962) — американский писатель, журналист. Уроженец Бингемтона, штат Нью-Йорк. В 1910 г., будучи репортером газ. *Newark Evening News*, сочинил первую историю о кролике по имени «Дядюшка Вигтили»; с тех пор и на протяжении почти 40 лет сказки о Вигтили появлялись в каждом номере газеты, кроме воскресных, выходили в других периодических изд. и отдельными книгами и т. д. Под различными псевдонимами Гарис писал и другие истории для детей; всего их насчитывается около 15,000. В своих серийных детских произведениях Гарис нередко обращался к НФ (фантастические изобретения и путешествия в двухе Ж. Верна, повествования о «затерянных мирах» и пр.); опубликованный им в 1927 г. под собственным именем роман «Там из Пещеры Огня» — образчик палеофантастики.

О. Оливер. Серая трава

Впервые: *Tom Watson's Magazine*. 1905, апрель. Пер. М. Фоменко.

«Оуэн Оливер» — псевдоним британского писателя и высокопоставленного правительственного чиновника сэра Джошуа Альберта Флинна (1863-1933). Выпускник Кингс-колледжа и Лондонского университета. В 1880-х гг. служил в адмиралтействе и министерстве обороны, с 1904 г. финансовый советник лорда Китченера в Южной Африке, в 1916-1920 гг. финансовый директор пенсионного министерства. С 1901 г. опубликовал три романа и свыше 250 приключенческих, романтических и научно-фантастических рассказов.

Э. Уоллес. *Phalaenopsis Gloriosa*

Впервые опубликовано в 1905 г. Рассказ также публиковался под псевд. «Джон Джейсон Трент». Пер. В. Барсукова.

Э. Уоллес (1875-1932) — английский беллетрист, журналист, драматург, сценарист. Незаконный сын актрисы, вырос в приемной семье. В юности работал на фабрике, продавал газеты, разносил молоко и т. д. В 1896-1899 гг. служил в британской армии в

Южной Африке, где в 1898 г. опубликовал кн. стихов. Позднее — корреспондент агентства Рейтер и газ. *Daily Mail* во время англо-бурской войны. По возвращении в Англию работал в *Daily Mail*, начал публиковать первые триллеры. В 1907 г. как репортер освещал зверства бельгийских колонизаторов в Конго. В 1908-1932 гг. — один из самых плодовитых и популярных писателей Англии, рекламировался как «король триллеров», выпускал романы, сборники рассказов, пьесы, работал во множестве жанров от НФ до 10-томной истории Первой мировой войны. По подсчетам исследователей, в общей сложности написал более 170 романов, 18 пьес и 957 рассказов. Славился пристрастием к скачкам и неоправданно роскошным образом жизни и накопил огромные долги. В 1931 г. безуспешно пытался избраться в парламент, затем отправился в США, работал сценаристом в Голливуде. Умер от нераспознанного вовремя диабета и пневмонии во время работы над сценарием фильма «Кинг Конг».

А. Бирс. Лоза у дома

Впервые: *Cosmopolitan* (New York). 1905, октябрь. Пер. В. Бернацкой*.

Э. Блэквуд. Ивы

Рассказ вошел в авторский сб. *The Listener and Other Stories* (London, 1907). Пер. Н. Трауберг*. Илл. М. Гранта Келлермейера с сайта Oldstyletales Press.

Г. Г. Эверс. Из дневника померанцевого дерева

Рассказ вошел в первый сборник Г. Г. Эверса *Das Grauen* (1907). Анонимный русский пер. впервые: *Эверс Г. Г. Ужасы: Необычайные истории* (СПб., 1911).

С. 108. «*Quousque tandem!*» — «До каких же пор!» (лат.). Знаменитое начало первой речи Цицерона против Катилины («До

каких же пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением»).

Л. Гуревич. Живые цветы

Впервые: *Товарищ*. 1907. № 461, 30 дек.

Л. Я. Гуревич (1866-1940) — писательница, публицистка, литературный и театральный критик. Родилась в Петербурге в семье директора частной гимназии. Выпускница Бестужевских курсов. В 1891-1989 гг. редактор и издатель журн. *Северный вестник*, принявшего в это время декадентское направление. После 1905 г. стала активной феминисткой. Публиковалась в многочисленных периодических изданиях. После революции сотрудничала в театральных учреждениях Петрограда, затем Москвы, куда переехала в 1920 г., публиковала переводы с французского.

Ф. Сологуб. Отравленный сад

Впервые: *Бодрое слово*. 1908. № 1, октябрь.

Рассказ является вариацией на тему новеллы Н. Готорна «Дочь Рапачини» (см. т. 1).

Ж. Ж. Рено. В объятиях Сусанны

Впервые в авторском сб. *Le Chercheur de merveilleux* (Paris, 1907) под загл. «La Nérenthe». Анонимный русский пер. под загл. «В объятиях Сусанны» впервые: *Огонек*. 1908. № 4, 27 янв. (здесь новелла была приписана «Ф. Клемму»). Илл. Тофани.

Французский журналист, прозаик, драматург и переводчик Жан Жозеф Рено (1873-1953) родился в парижской буржуазной семье. Окончил Лицей Кондорсе (1891), бакалавр. С юности был одаренным фехтовальщиком, участвовал в летних Олимпийских играх 1900 и 1908 гг. Пропагандировал во Франции боевые искусства,

в том числе дзюдо и джиу-джитсу, написал важные для того времени пособия «Фехтование» (1911) и «Самозащита на улице» (1912), выступал также как арбитр на дуэлях и сам участвовал в многочисленных поединках. С 1897 г. опубликовал множество романов и повестей, среди которых имеются детективные, фантастические и приключенческие произведения, был вице-президентом Общества литераторов, переводил с английского, написал также несколько пьес и киносценариев.

С. 165. ...*фельянтин* — слоеное пирожное, от *фр.* *feuillantine*.

С. 185. ...*пьевру* — Пьевра — осьминог (устар.), от *фр.* *pieuvre*.

Б. Молохэн. Дерево, которое Ест

Впервые: *Chambers's Journal*. Sixth Ser. Vol. XI, 1908. Пер. М. Фоменко.

К. Лассвиц. Звездная роса

Впервые: *Lasswitz K. Sternentau: Die Pflanze vom Neptunmond* («Звездная роса: Растение луны Нептуна». Leizig, 1909). Анонимный и сильно сокращенный русский пер. (частично пересказ) впервые: *Новое слово*. 1910. № 8.

С. 233. ...*Сванте Аррениус* — С. Аррениус (1859-1927) — шведский ученый, физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1903). Среди прочего, пытался теоретически обосновать возможность панспермии.

И. Ясинский. Мертвые цветы

Рассказ вошел в авторский сб. *Фантазии* (СПб., 1910).

И. И. Ясинский (1850-1931) — чрезвычайно плодовитый прозаик, поэт, литературный критик, журналист и издатель. Выпустил десятки книг, широко публиковался в периодике, в 1890-х —

1910-х гг. редактировал газ. *Биржевые ведомости*, журн. *Новое слово*, собственные журн. *Ежемесячные сочинения* (позднее *Новые сочинения*), *Почтальон* (позднее *Беседа*) и др.

М. Пиктхолл. Черная орхидея

Впервые: *McClure's Magazine*. 1910, сентябрь. Пер. М. Фоменко. Илл. В. Бенды.

М. Пиктхолл (1883-1922) — канадская поэтесса, прозаик. Родилась в Лондоне в семье геодезиста. С 1890 г. жила с родителями в Торонто. С ранних лет проявляла литературные способности, печататься начала с 1898 г., позднее широко публиковалась в различных журналах. В 1912-1920 гг. жила в Англии, во время Первой Мировой войны работала секретаршей и садовницей, помощницей библиотекаря, пыталась выращивать овощи на продажу. В 1920 г. вернулась в Канаду. Всю жизнь страдала слабым здоровьем и умерла в 38 лет от эмболии. Пиктхолл, оставившая несколько романов, более 200 рассказов и около 100 стихотворений, в свое время считалась лучшим канадским поэтом своего поколения, но впоследствии была основательно забыта.

С. 252. *Quien sabe* — Кто знает? (*исп.*).

Д. Блант. Ужас орхидей

Впервые: *Argosy*. 1911, сентябрь. Пер. М. Фоменко.

М. Ордынцев-Кострицкий. Цветок раффлезии

Впервые: *Мир приключений*. 1911. Кн. 3, под псевд. «Клавдий Морев» и с подзаг. «Эпизод из жизни в Южной Америке». Также в авторском сб. *Волшебные сказки наших дней: Повести и рассказы из жизни Южно-Американского материка* (Пг., 1915). Илл. взяты и журнального и книжного (с. 292) изданий.

М. Д. Кострицкий (1887 – после 1941) — беллетрист, журналист. Публиковался под псевд. М. Ордынцев, М. Ордынцев-Кострицкий и мн. др. В юности уехал в Южную Америку, жил в Аргентине. В нач. 1910-х гг. был секретарем редакции журн. *Русский паломник* и *Светлый мир*. Как репортер освещал открытие Панамского канала; участвовал в Первой мировой войне. Автор многочисленных исторических романов и повестей, трех сборников новелл, включая фантастические и детективные. В 1941 г. был осужден военным трибуналом войск НКВД в Средней Азии и сгинул в ГУЛАГе.

Оглавление

Р. де Гурмон. Магнолия	7
Г. Майринк. Растения доктора Синдереллы	12
Г. Гарис. Растение-людоед профессора Джонкина	23
О. Оливер. Серая трава	31
Э. Уоллес. <i>Phalaenopsis Gloriosa</i>	50
А. Бирс. Лоза у дома	69
Э. Блэквуд. Ивы	74
Г. Г. Эверс. Из дневника померанцевого дерева	105
Л. Гуревич. Живые цветы	131
Ф. Сологуб. Отравленный сад	139
Ж. Ж. Рено. В объятиях Сусанны	160
Б. Молохэн. Дерево, которое Ест	194
К. Лассвиц. Звездная роса	206
И. Ясинский. Мертвые цветы	247
М. Пиктхолл. Черная орхидея	251
Д. Блант. Ужас орхидей	260
М. Ордынцев-Кострицкий. Цветок раффлезии	280
Комментарии	298

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.